

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://saltykov-shchedrin.ru/> приятного чтения!

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

ЗАВЕЩАНИЕ МОИМ ДЕТЯМ

Не вдруг.

Бабушка Татьяна Юрьевна недаром говаривала: «Друг ты мой сердешный, свет Николашенька (говорила покойница все слогом госпожи Кохановской, почему даже лейб-кампанцы и те ее как огня боялись), попомни ты, свет, речь мою великую: не молви ты слова, языка твоего наперед не прикусивши».

С этой поговоркой я весь век изжил и не только ни в чем не проштрафился, но даже пришел к уразумению многих других прекраснейших поговорок. Бывали случаи: смерть хочется нагрубить, так бы, кажется, и отрапортовал, да вспомнишь Татьяну Юрьевну, укусишь язык и смолчишь. Много-много, что заплачешь. Начальники знали это и всегда меня жалели. Нет-нет да что-нибудь и простят. В тридцатых годах строгий всем приказ был: картофель, вместо хлеба, на полях сеять – я не сеял, простили. В 1849 году велено было бочки с водой на домах держать – я не держал, простили. Сосед у меня был, капитан Пафнутьев, так тот, бывало, так и вскипит. Полезет это к самому начальству: «Мое ли, говорит, или ваше дело знать, какой хлеб мне на полях сеять?» А я, напротив того, приду, тихим манером доложу и, если начальство сердито – замолчу. Потом опять приду, опять тихим манером доложу и, ежели опять начальство сердито – заплачу. И что же вышло? Пафнутьев-капитан и картофель сеял, и бочку с водой на доме держал, а я сеял хлеб, заправский, государи мои, хлеб, а бочки с водой и в глаза не видал.

Слабому слов исправник у нас был. «Проси, говорит, у меня милости, – отца родного съем; а будешь, говорит, по закону требовать, а тем паче по естеству – шабаш. Потому, естество – оно глупо. По естеству тебе есть хочется, а в регламентах того не написано, – ну и бунтовщик. А ты проси милости, – и дастся».

Говорил я тоже, и не раз, этому капитану Пафнутьеву: «Пафнутий Пафнутыч! – говорю, – а вы бы простить попросили!» – так он даже зашипел на меня... за что же таких-то и любить?

Бабушка Татьяна Юрьевна так в этих случаях поступала. Придет, бывало, к ней мужик хлеба или лесу просить – она на него: «Да ты, свет, белены, никак, объелся, что меня, государыню, в боярском моем деле нудить изволишь?» И не только прогонит ни с чем, а временем даже высечь изволит. Напротив того, который мужик молчит – тому даст. И хлеба, и лошадь, и лесу на избу – всего, даже чего не нужно, и того даст. Почему? а потому, что боярское сердце ее этим веселится, а веселится оно, когда ей, государыне, самой того хочется!

И так она этой своей политикой всю вотчину устроила, что когда вступил в управление именем папенька Иван Матвейч и, по обычаю, спросил мужичков, довольны ли они и не нужно ли чего, то они не отвечали, а только лапу сосали.

Я знаю, что нынешние капитаны Пафнутьевы (много их нынче развелось, да ведь и бабушка Татьяна Юрьевна не промах была, тоже немалое потомство после себя оставила) скажут: бабушка-то ваша, видно, набитая дура была, да и грозы над собой не видала, а потому по-дурьи над всем и чудила. Однако не будет ли, господа Пафнутьевы, такое суждение ваше слишком резко?! Побеседуем, господа, побеседуем.

Начнем с того, что суждение это основано на каких-то якобы правах. Всякий человек, утверждают Пафнутьевы, имеет некоторые права, удовлетворение которых есть каждого священный долг и обязанность. На сем основании, продолжают они, будто бы так должно быть: ежели я чего хочу, то чрез минуту чтоб было исполнено, а ежели исполнения нет – сейчас бунт!!! И вот такой премудрый ихний кодекс называют они свободой.

Полно, так ли, господа Пафнутьевы, так ли?

Скажи мне, во-первых, высокоумный господин Пафнутьев, в каком ты виде от утробы матерней на свет произошел? – Ты произошел наг и беспомощен! Какие имел ты при этом права? – Никаких, кроме тех, чтобы заявлять слезами о твоей наготе и

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
беспомощности! Согласись, что права не великие, но и сии кто тебе дал?

Их дала тебе почтеннейшая твоя родительница, которая, по доброте своего сердца, не всегда для усмирения твоего к помощи розги прибегала, но по временам простирала тебе и руку помощи... тебе, нагому и беспомощному! Мог ли ты вынудить к тому твою родительницу? – Нет, не мог, ибо, как сказано выше, был наг и беспомощен. Вынудило же ее к тому собственное ее материнское благоизволение!

Итак, вот твои «якобы права» при рождении... поистине якобы права!

Пойдем далее. Ты взрос, Пафнутьев, достиг тех лет, когда подобных тебе отдают в кадетские корпуса и гимназии. Спрашиваю я тебя: имел ли ты право требовать, чтобы тебя приняли в одно из сих заведений? – Нет, не имел, да и на ум бы тебе такое право никогда не вошло, ибо ты тем временем в бабки на улице с мальчишками играл, а не об образовании ума и сердца думал! Однако ты отдан был в заведение... почему? не по праву ли? – Нет, не по праву, а потому, что заведения те, по благоизволению начальства, в потребном количестве устроены, и по благоизволению же начальства Пафнутьевых принимать в них велено. Не будь сих заведений... скажи, не остался ли бы ты свинопасом? И кичился ли бы ты тогда сим завидным твоим правом?

Итак, вот твои «якобы права» по воспитанию и образованию. Тверже ли они тех, которые якобы приобретены тобой при рождении?

Пойдем еще далее. Ты вышел из заведения и поступил на службу. Ты скажешь, что имел на то право, ибо получил при окончании наук чин? Но этот чин... кто наградил им тебя? Настоятельно спрашиваю: кто тебя наградил? – Не знаешь? – ну, так я тебе скажу: тебя наградило им начальство! Сам посуди: разве может существовать естественное отношение между твоим чином и науками? – Нет, не может! А так как тем не менее некоторое отношение (хотя и неестественное) тут существует, то спрашивается: кто, кроме начальства, установить его мог?

Итак, вот твои «якобы права» при вступлении на поприще государственной деятельности... Тверже ли они тех, которые приведены в двух первых примерах?

Пойдем ли еще далее? Поведем ли беседу о твоих взрослых летах, о старости?... О, Пафнутьев! проживи с мое и увидишь, что знаменитые твои права подлинно столь уже знамениты, что стоит человеку, даже не одаренному сверхъестественною физическою силою, ткнуть в них пальцем – и образуется тут – не права, а простая дыра!

Знаю я: положение твое нелегкое. С одной стороны, смущаемый врагами внешними – другими подобными тебе Пафнутьевыми, с другой стороны, нося в самом себе врага внутреннего – высокоумный твой разум, ты ежечасно волнуешься призраками, ежечасно мечтаешь: а что, ежели я попробую?!

Не пробуй.

Пробы твои приведут лишь к тому, что прочие Пафнутьевы над тобою же насмеются, что они же, предварительно смутивши тебя, будут, при виде твоего поражения, восклицать: фигу съел! фигу съел! А высокоумный твой разум... куда денется он тогда с своими мечтами? какие новые выдумки предложит к твоему утешению?

Но что же мне делать? спрашиваешь ты: куда деваться от врагов и недругов? как устроить колеблющуюся судьбу свою? На это отвечаю тебе: умудрись.

Из предыдущего ты убедился, что прав никаких нет, а существуют лишь «якобы права» (вижу, что на устах твоих блуждает недоверчивая улыбка, но нимало не боюсь ее); это самое должно указать тебе путь.

Прав нет; тем не менее не могу отказать тебе в том, что в сердце твоём, по временам, совершаются некоторые движения, что движения сии заставляют тебя устремляться, простирает руки и т. д. Движения сии, друг мой, на языке психологов называются желаниями, или иначе: желания суть такие предъявления твоего естества, которые, образуя совокупности личных твоих вожеланий, при осуществлении их в натуре, необходимо должны быть приведены в надлежащее соответствие. Или еще иначе: желания суть натуральные вожелания, представляемые на благоусмотрение. Посмотрим, Пафнутьев, каковы-то твои желания?

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Если бы ты, например, пожелал слона проглотить, то, как думаешь, могло ли бы такое твоё желание быть приведено в соответствие? или если бы ты, будучи младенцем, пожелал натянуть на себя штаны твоего родителя, то и этому твоему желанию, по-твоему, преград ставить не следует? или если б, будучи от рождения слабоумным, пожелал бы иметь рассуждение о предметах возвышенных... и тут, стало быть, остановить тебя нельзя?

Но нет, ты не настолько неразумен, чтоб утверждать что-нибудь подобное. Ты соглашаешься со мной, что ни слона проглотить, ни малолетнему сыну в родительские штаны одеться, ни слабоумному о возвышенных предметах рассуждать – невозможно. Дитя прикасается ручкой к раскаленному металлу и обжигается – что было бы, если б над ним не бодрствовала тайно другая рука, которая от обжиганий его оберегает и предохраняет? Была бы гибель, была бы смерть... ты это понимаешь.

Но ежели ты это понимаешь, то должен понимать и то, что желания у тебя могут быть всякие: такие, которые приносят честь твоему уму и сердцу, и такие, которые не только чести тебе не приносят, но которых исполнение может быть сопряжено для тебя даже с опасностью жизни; такие, коих осуществление благовременно, и такие, которые могут быть удовлетворены лишь завтра, или через месяц, или через год, или даже через сто и тысячу лет. Кто судья в этом деле? Кто может разделить твои желания на категории, а сии последние на роды и виды? Не ты ли? Но ведь ты только можешь желать, а не анализировать... Кто же? Ответ на этот вопрос заключается в том определении, которое дано мною, желаниям вообще. Желания, сказал я выше, суть натуральные вожеления, представляемые на благоусмотрение... ужели этого недостаточно, чтоб вразумить тебя?

Не думай, однако же, чтобы я предлагал устройство особенной какой-либо канцелярии для разбора твоих желаний – нет, я далек от такой мысли, хотя, сама по себе взятая, она весьма почтенна. Я далек от этой мысли лишь потому, что канцелярия в сем разе наверное превратится в целое министерство, министерство же образует из себя пять отдельных главноуправлений, что, по нынешнему состоянию финансов, едва ли не будет для государства отяготительно. Итак, пускай канцелярия на этот случай заменится одним общим представлением о начальстве.

Ежели нет у тебя прав, а есть одни желания, ежели сии последние разнообразны и ежели, притом, канцелярии учредить невозможно, то ясно, что разбор твоих вожелений может принадлежать лишь начальству. Во-первых, оно стоит на высоте; во-вторых, одарено мудростию; в-третьих, наконец, может дать и не дать. Скажи, обладаешь ли ты хотя одним из сих качеств?

Таким образом, в конце концов пред умственным нашим оком образуются два предмета: с одной стороны – ты, Пафнутьев, предъявляющий желание, с другой стороны – начальство, могущее дать или не дать. В сих тесных обстоятельствах как должен ты поступить?

Должен ли ты последовать примеру столько раз упомянутого мною капитана Пафнутьева, который, бывало, как дорвется до начальства, так сейчас: фф... жж... зз...? или же обязываешься докладывать начальству тихо и просить себе милости?

Предлагаю тебе эти вопросы и внутренне самому себе удивляюсь. Ужели, говорю я себе, может найтись в мире человек, который бы давно сих истин для себя не решил? Или тебя в школах ничему не учили? или ты позабыл все выученное, и надо тебе оное повторить?.. Не долгие же плоды твоего учения!!

Займемся повторением.

Вначале земля наша была пуста – кто ее заселил? Звери свободно ходили из края в край – кто им надлежащие места определил? Приходили печенегы, приходили татары, мужей побивали, а жен уводили в плен – кто их победил? фабрик и заводов не было – кто их основал? Просвещения не было – кто его учредил? Люди питались злаками, самые цари изволили лакомиться уткой с шафраном – кто надлежащие к питанию средства преподал и указал? Не было ни земских, ни уездных судов, а тем паче магистратов и ратуш – откуда восприяли они начало? Не было ни общественного здравия, ни общественного благоустройства, ни общественного спокойствия, не было ни мостовых, ни паспортов, ни такс на хлеб печеный и в муке, ни разделения говядины на сорта – откуда все это явилось?

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Откуда? Кто?

Вот то-то, мой друг! Когда тебе рассуждать не следует – ты рассуждаешь; когда же, напротив того, остроте твоего ума ничто не мешает – ты оставляешь оную втуне! Не означает ли это, что ум твой развращен и пресыщен? что он, подобно желудку гастронома, требует не здоровой пищи, а пораженной тлением и разлагающейся?

Мало тебе напоминаний древнеисторических – укажу нечто из недавней, хотя и минувшей, практической твоей жизни.

Когда слугитель твой оказывал тебе неповиновение и грубость – не на съезжую ли ты его отсылал? Когда крестьянин твой не платил даней – с чьею помощью ты его к исполнению обязанностей обращал? Когда тебе нужно было что-либо утаить, кого-либо обидеть и притеснить – к кому ты прибегал?

«А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на сто тысяч, тогда как его и на сто рублей не было?» – спрашивал некто Сквозник-Дмухановский одного провинившегося купца и тут же совершенно резонно отвечал: «Я помог тебе, козлиная борода!»

Вот о чем всечасно надлежит тебе вспоминать, Пафнутьев! а не смущать себя указаниями, которые предлагает высокоумный твой разум! Подумай: ведь разум твой глуп; он рассуждает помимо практики, помимо истории; а куда же ты денешься с практикой? куда спрячешь историю?

Ты говоришь: сова усматривает лежащего в кустах зайца, мгновенно налетает и, впиваясь в него одной лапой, другую держит наотмашь. Она наперед знает, что испуганный заяц понесется с быстротой молнии, и рассчитывает, что не может остановить его неистовый скок иначе, как ухватившись простертой лапой за какой-либо встреченный предмет (для того-то она и простирает ее). Но увы! (это все ты говоришь) расчет ее не всегда верен. Случается часто, что, ухватившись за древесный сук, она не только не удерживает расказакавшегося зайца, но оставляет на суке свою лапу и впоследствии истекает кровью. Тем не менее (ты же продолжаешь), несмотря на подобные губительные последствия и несомненные свидетельства о том истории, ни одна сова в мире до сих пор не останавливается подобными соображениями, но все они продолжают производить нападения на зайцев тем самым порядком, какой указывает инстинкт.

Другой пример: волк забирается ночью в овчарню. Производя это в ночное время и потаенным образом, он тем самым явно доказывает, что предвидит в будущем нечто не вполне для себя благоприятное. А предвидит он вот что: проснется овчар и не только помешает волку исполнить задуманное, но еще намнет бока, а быть может, лишит и жизни. Так оно и бывает. Тем не менее, говоришь ты, ни предвидение, ни даже уверенность не могут удержать волка в его стремлении; несмотря на очевидную опасность, он лезет в овчарню.. и погибает!

Подобно сему, продолжаешь ты, и я, Пафнутьев, не знаю, что ждет меня впереди, но прав своих отстаивать не могу..

Прекрасно.

Стало быть, ты волк? стало быть, ты хищная сова? Ты сам сознаешь, стало быть, что идешь в овчарню не открыто и при свете дня, но прокрадываешься ночью и потаенным манером? В таком случае, напрасно же оговариваешься неведением об ожидающей тебя участи: я могу предсказать ее тебе. Ты оставишь свою руку на том самом суке, который думаешь ухватить, и получишь казнь в той самой овчарне, в которой мечтаешь быть властелином!

Того ли ты хочешь?

Любя размышление, я иногда думаю: господи, что делается, что делается на белом свете! кто скажет наверное, с кем идти, куда стремиться, кого слушаться? не слушаться – не могу (привык сызмалетства); но кого, господи! кого? кто разберет, где похвальное, где непохвальное, что на пользу, что во вред, чему радоваться и чем печалиться? И должен сознаться, что результат моих размышлений таков: ничего не понимаю.

Оглядываясь кругом себя, что вижу? Статские и действительные статские советники громко проповедают, что все сие надо уничтожить и сдать в архив, а тайные советники, внимая им, улыбаются! Почтеннейшие генералы с ужасом восклицают: как мы могли жить! как мы не задохлись! И, сказавши это, начинают в смешном и невероятном виде представлять, какая маршировка была! Пафнутьев прямо говорит, что он не Пафнутьев (кто же ты? уж не потомок ли того поджарого француза, которого в 1812 году спас от голодной и холодной смерти почтеннейший твой родитель и который впоследствии столь постыдно отплатил ему за гостеприимство?) и что ему надобно с кем-то покумиться! В одном журнале некоторый птенец (сказывают, даже дворянский сын) печатно высказался: никогда не прощу моей родительнице, ибо она уже тем меня унизила, что заставляла ребенком сосать грудь свою! На кого надеяться? В ком видеть оплот?

Заговорил ты, Пафнутьев, о правах – это так! Но подумал ли ты, о том, какую материя шевелишь? о том, например, что материя эта подобна навозной куче, которую чем более разрываешь, тем более от нее пахнет? Или ты мнишь найти в ней жемчужное зерно? Или ты обольщаешь себя мыслию: только бы мне свое получить, а насчет прочих поревную особо... Легковерный!

Бабушка Татьяна Юрьевна так на этот счет выражалась: «Положи ты мне, свет Николашенька, только один пальчик в рот, а там уж я сама всю твою ручку скушаю!» Незабвенная бабушка! сколько раз на дню я тебя вспоминаю, глядя на нынешних Пафнутьевых! Несчастные, они полагают, что как они легко покумались, так же легко впоследствии и раскумиться могут... Какая самонадеянность!

И ведь если б доподлинно жить тебе худо было – ну, тогда с богом! груби! а то вспомни, как ты проводил время, какими пользовался приятностями? Встанешь ты утром – умываться тебе подает меньший брат твой! захотел чаю – чай подает меньший брат твой! пожелал кушать – завтрак, обед и ужин готовит меньший брат твой! пришло время спать – постелю стелет меньший брат твой! одевает и раздевает – все тот же меньший брат твой. Твоего собственного труда было только – есть, пить, спать да протягивать руки и ноги. Каких же еще тебе якобы прав нужно? или ты подлинно захотел тех, которыми пользовался меньший твой брат? Так ли? точно ли ты их захотел?

Дети! нет гнуснее поступка, как отречься от самого себя. Один Пафнутьев говорит: я лыком шит; но ежели это и подлинно так, то следует ли объявлять об том всенародно? Не лучше ли было бы, если бы ты это скрыл? а если скрыть нельзя, то не умнее ли, если бы ты, не выставляя себя срамцом, напротив того, всем и каждому говорил: блаженно и лыко, которым я шит... твори, господи, волю твою! Другой Пафнутьев повествует: предки мои в крестовых походах не были, а всё тарелки подавали! Но что же делать, мой друг, ежели крестовых походов не было, а были тарелки? и следует ли из того, чтоб ставить тарелки в укор? – Отнюдь. Предки твои действительно подавали тарелки, но они делали это любя и нередко получали за то лакомые куски. Зачем же ты забываешь о лакомых кусках и помнишь лишь о тарелках? Наконец, третий Пафнутьев продолжает: черт ли в том, что я Пафнутьев, коль скоро никаких дел мне решать не предоставлено! Так, мой друг, так! А проэкзаменовать тебя, так ведь ты и дел-то никаких, пожалуй, назвать не умеешь... решитель! и куда тебя, под стекло, что ли, посадить дела-то решать! вот удивление-то будет! вот утеха! Решитель!..

И ведь всякий секретно про себя думает: сем-ка отрекусь я от самого себя, может, никто не заметит! Вот так права!

Горько. Была одна доблесть: смирение, но и та досталась как бы исключительно в предел господину Аксакову, который хотя и старается, но успеет... вряд ли!

И еще говаривала бабушка: «Обманывать, свет Николашенька, точно что грех, а потихоньку можно. Я от покойницы маменьки сколько раз потихоньку дельвала – ничего, сходило! Конечно, не без того, чтобы изредка и не потрепать, да ведь в нашем деле, свет Николашенька, за тычком и не угоняешься!»

Часто задумываюсь я над этими словами незабвенной бабушки и спрашиваю себя: ужели сия добрая хранительница моей юности, весь век свой бывшая образцом добродетелей, не только оправдывала, но и внушала ложь?.. Не может этого быть!

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
Так оно и выходит.

Если я захочу с чем-нибудь сравнить человеческую жизнь, то, конечно, лучшего примера не найду, как домашнее наше хозяйство. И та и другое до крайности разнообразны; и та и другое поглощают множество предметов самого противоположного свойства. Предметы эти, скучиваясь в одну массу, ограничиваются другими соседними предметами, утрачивают часть своих первоначальных свойств, занимают каждый свое место и в конце концов образуют так называемую гармонию. Валяется, например, на полу негодный лоскуток бумажки – добрая хозяйка поднимает его и мыслит: в хозяйстве он пригодится. И действительно, не проходит минуты, как бежит старший сын и спрашивает: «Мамаса! бумажки!» Попадаетея под руки дрянная тряпица, сальный огарок, обрывок старого мужнина носка – добрая хозяйка ничем не пренебрегает, все прибирает в особое место, ибо все это в хозяйстве может понадобиться. Маленькой Леле захотелось устроить куклу – старую тряпку и обрывок носка можно употребить на набивку ее; у маленького Пети насморк сделался – сальным огарком можно носик ему помазать! И вот таким образом в старые времена составлялись значительные состояния! Не то же ли самое замечаем мы и в жизни? – решительно то же. Есть средства, которые строгими моралистами хотя и осуждаются, но которые в жизненной экономии бывают не только пригодны, но даже необходимы. Почему? а потому просто, что средства эти, будучи употреблены во благовремении и обставлены целю совокупности других соответствующих условий, не только утрачивают свой огорчительный для моралиста характер, но даже делаются как бы вовсе непредосудительны. Так, например, обман превращается в «потихоньку», присвоение чужой собственности – в «благоприобретение», обольщение чужой жены или дочери – в модное занятие ферлакурством! Кто и когда восставал против «потихоньку», против «благоприобретения», против «ферлакурства»? Никто и никогда!

Вот первое основание неизбежности того, что добрая моя бабушка разумела под словом «потихоньку». Но есть еще второе и третье основание.

Один штаб-офицер в минуту откровенности говорил мне:

– В 18\*\* году, когда я командовал драгунским полком, то изрядно мощну свою поправил!

– Стало быть, вашество, это из казенного ящика-с? – спросил я его.

– А ты, может быть, думал, из носу? – отвечал штаб-офицер и, оставив вопрос без дальнейшего разъяснения, разразился веселым, громким смехом.

– Стало быть, вашество, секретно изволили? – продолжал я, все еще не понимая причины его смеха.

Но на это штаб-офицер даже и не ответил, а только тоненьким голосом передразнил: «Стало быть, вашество, секретно изволили?»

В то время я не понял этого изречения и долго, по простоте своей, думал: если штаб-офицер секретно лазил в казенный ящик, то, стало быть, он делал недозволенное, а ежели делал недозволенное, то, стало быть, обманывал! Теперь я все это понимаю: он просто действовал «потихоньку» – и больше ничего. Ибо что такое обманывать? Обманывать значит отрицать, говорить: «не знаю», когда знаешь, утверждать, что ты видел человека с двумя головами, когда такового отнюдь не видывал, и вообще вводить в заблуждение. Спрашиваю: вводил ли кого-нибудь в заблуждение штаб-офицер? – формально никого не вводил. Отрицал ли что? – ничего не отрицал, ибо никто у него ничего не спрашивал! Он просто говорил себе: «я теперь в таком положении, что могу соблюдать права, но так как меня могут изловить, то буду соблюдать их потихоньку!» Вот и все.

Один известнейший либерал, когда я отправлялся в губернский город Семиозерск по делу о пререканиях, дал мне такого рода инструкцию:

– Вы, mon cher, [1] – сказал он мне, – действуйте больше посредством обещаний! Promettez-leur ceci, promettez-leur cela, [2] и когда приведете их к одному знаменателю, тогда...

– Стало быть, вашество, обмануть приказывать изволите? – спросил я, совершенно позабыв о штаб-офицере.

Так либерал мой даже побагровел весь от негодования.

– Кто вам приказывает обманывать? Кто вам рекомендует «обманывать»? – наскочил он на меня. – Ему говорят: действуйте потихоньку, а он «обманывать»! Обманывать? а? обманывать! Извольте, сударь, отправляться и действовать, как вам приказано!! Обманывать?!

Это второе основание.

А вот и третье. Почему обман вреден? потому что он производит соблазн. Я отрицаю, изобретаю вымышленные повествования, словом сказать, ввожу ближнего в заблуждение; лакей мой слышит это и рассуждает: ежели барин так врет, то почему же не начать врать и мне? И начинает. С этой минуты жизнь моя окончательно отравлена. Он будет утверждать, что я обедал, тогда как я не обедал; будет с испуганным видом восклицать, что в доме пожар, тогда как пожара никакого нет; наконец прибежит и скажет, что барыня разрешилась от бремени мальчиком, тогда как никакого разрешения совсем не последовало. Кончится это, разумеется, тем, что я сокрушу ему зубы или переломлю ребро и за это, по строгим нынешним порядкам, попаду под суд. Суд, с своей стороны, приговорит меня на поселение... вот плоды!! Но этого мало: глядя на меня и на моего лакея, и другие примутся за то же ремесло, и произойдет тогда нечто необыкновенное: все мы, сколько нас ни есть, будем друг друга обманывать. «Ты, брат, солгал!» – буду говорить я своему соседу; «да ведь и ты, брат, солгал!» – будет отвечать он мне... какая же польза от этого? Какое поучение? Напротив того, ежели я делаю «потихоньку», то никто ничего не знает, а всякий думает, что я ничего не делаю. Между тем я своего-таки добиваюсь и соблазна никакого не произвожу. Вижу я, например, что некто за мной примечает, – я погожу; вижу, что он отвернулся, – я опять за свое дело. И ежели тогда мой лакей вздумает облыжно обрадовать меня рождением неродившегося сына, то я с полным достоинством ему возражу: «Опомнись, мой друг, разве ты слышал, чтобы я кого обманул? бери, братец, пример с меня!»

Пафнутьев! ты, который мнишь себя высокоумным, – размысли об этом!

Сего числа пришел ко мне старший сын мой, Петенька, с обыкновенною своею просьбой: папа, дай ляльки! Я, с своей стороны, по обыкновению, начал доказывать маленькому шалуни, что от ляльки у него животик заболит и зубки испортятся. Но неопытный младенец на сей раз перехитрил опытного старца. «Мне бы, папаса, эту ляльку только в ручках подержать!» – сказал он мне, и едва лишь я успел удовлетворить его невинному желанию, как маленький хитрец эту самую «ляльку» мгновенно в моих глазах проглотил!..

Подивись, о Пафнутьев! практической мудрости невинного младенца!

В прежние времена жили мы между собой очень дружно. Никаких этих «якобы прав» не знали, а знали только, кому что принадлежит. И сообразно с этим обставали.

В то время все беды от нашей неукротимости на нас насылались. Виноваты мы были. Не то чтобы словом или ласкою, а больше все кулачищем этим да арапником... Однако и за всем тем средства изыскивали.

Начать с того, что все мы друг дружке либо родня, либо кумовья были. Хлобыстовские родня Дракиным, Дракины в свойстве с Расплюевыми, а Расплюевы чуть ли не приходятся внучатными самому Гвоздилову. Вот они стена стеной и стоят. Прощтрафится, бывало, Дракин – сейчас к Расплюеву.

– Так и так – беда!

– Опять изувечил?

– И всего-то одну плюху... не понимаю даже, что с ним случилось: как закатился!

– Ладно.

Едет Расплюев к Хлобыстовскому, от Хлобыстовского к другому Дракину, от другого Дракина к Гвоздилову, всем говорит: так и так. Посудят, порядят между собой и

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru определяют: стоять.

Сейчас наведут это на них пушку – стоят. Пустят врассыпную картечью – стоят. Науськают шавок таких, что и в уши, и в нос, и в глаза вцепятся, – стоят. На все про все один ответ: знать не знаем, ведать не ведаем, а должно полагать, случилось с ним это от нетрезвой жизни. (Ты скажешь, Пафнутьев: ведь вот же, обманывают! а я тебе отвечу: нет, не обманывают, а оказывают лишь временное укрывательство проштрафившемуся сочлену.) Что ж бомбардиры-то наши? А вот что: попалят, попалят, увидят, что втуне, и разойдутся!

А прав не было.

Вторым обстоятельством, скреплявшим нас, было родство, так сказать, духовное. Все мы были люди, все человеки, все чувствовали свои слабости. Если виноват Хлобыстовский, виноват Расплюев, виноват Гвоздилов – могут ли они друг перед другом нос задирать? Ну, и выходила у нас тут дисциплина, не та дисциплина, которая нынче: слушай, дескать, меня не потому, чтоб резон тебе слушать, а потому, что я так вздумал, – а настоящая, естественная, так сказать, дисциплина. Потому как мы все во гресех равны, то если бы кто и пикнул – сейчас ему зеркало: смотрись! А так как смотреть нечего, то большею частью тем и оканчивалось, что пошумят, пошумят между собой, а потом и определяют: стоять! А почему стоять? а потому, государи мои, что тронь из нас одного, куда ж бы девались все прочие?

Ну, и опять наводят пушки, опять напускают шавок – не шелохнемся, все как один! что ж бомбардиры-то наши? а вот что: попалят, попалят, увидят, что втуне, – и разойдутся.

А прав не было.

Третье: не было в нас строптивости никакой. Как чувствовали мы себя во всем виноватыми, то моды-то эти надобно было бросить. Ну, и начальство тоже видело: люди, дескать, грешные, виноватые, что с них возьмешь! А мы между тем кто с барашком в бумажке, кто с поклонцем, кто со слезами... И так, государи мои, наплачем да наслюнявим, что не бывало, кажется, дела такого, которого бы мы на свой лад во всех статьях не обделали.

А прав не было!..

Так бывало в старое время. Посмотрим, каковы-то порядки завелись нынче.

Для сего стоит только оглянуться кругом. Оглядываюсь и что же вижу? вижу раздор, вижу распри, вижу рознь!

На днях иду по улице, встречаю Пафнутьеву дочь. Идет, это, стриженная, словно в старину наказанные девки хаживали, идет и под мышкой книгу-Бокль держит. Досадно мне, знаете, сделалось, потому что все-таки своя... Пафнутьева!!

– Ну-с, – говорю, – сударыня, гуляете-с?

– Гуляю-с, – говорит.

– Мамашенька с папашенькой как-с? либеральничают-с?

– Да что, – говорит, – мамаша с папашей! Вот крепостное право уж упразднили – может быть, и их скоро упразднят!

Какова-с?!

Иду далее, встречаю Пафнутьева сына; этот, напротив того, совсем как козел лохматый. Еще досаднее стало.

– Ну-с, – говорю, – гуляете-с?

– Гуляю-с, – говорит, а сам дерзко-предерзко в глаза мне смотрит.

– Как, – говорю, – папаша, в своем здоровье? либеральничает?

– Нынче, – говорит, – такими-то либералами заборы подпирают, а не то чтобы что...



Каков-с?

Это по части родственных уз.

А вот и по части сословной.

Завелась у нас эта эмансипация. Начальство ее придумало, оно же и приказать изволило – не спорю! Надо, стало быть, исполнять. Кто исполнители? – Пафнутьевы. Каковы исполнители???

Не могу продолжать.

И после таких-то поступков поднимать речь о каких-то якобы правах?!

Сего числа был у меня отец Порфирий, прихода нашего иерей. Разговорились о нынешних обстоятельствах.

– Доложу вам, сударь, вот хоть бы насчет этих самых прав, – сказал мне почтенный иерей. – Сидели мы однажды у господина Дракина за столом, и как была у нас тут изрядная топка, то я, признаться, за этим самым столом и уснул. И что ж бы, вы думали, господин Дракин надо мной сделали? Припечатали-это к столу мою бороду и в ту ж минуту над самой моей головой из пистолета выстрелили... Так я, сударь, две недели после того собственныя своя слюны не мог глотать!

А прав не было!!

Из-за чего ты бьешься, Пафнутьев? из-за чего целоваться лезешь? – Поистине, это сюжет для меня отменно любопытный!

Поди сюда и давай беседовать.

Станешь ли ты служительские должности исполнять? – нет, не станешь. Для чего же ты утверждаешь и всенародно говоришь, что служительские должности не суть постыдны? – ты молчишь!

Станешь ли ты с служителями обедать, будешь ли служительскими лакомствами лакомиться, примешь ли участие в служительских удовольствиях, посадишь ли служителя с собой рядом в карету? – нет, не станешь, не будешь, не примешь и не посадишь. Для чего же ты говоришь, что сообщество служительское не есть гнусно? – ты молчишь!

Согласишься ли ты охотой идти в солдаты? чинить мосты и дороги? исправлять подводды? – нет, не согласишься. Для чего же ты твердишь, что это есть всякого прямой долг и обязанность? – ты молчишь!!

От дальнейших вопросов воздержусь.

Но, быть может, ты скажешь: все сие будут исполнять другие, а я только буду направлять?... Так тебя и пустили!!

Да, дети! вы не знаете, какое время, какое ужасное время переживают ваши отцы! Вы даже не поверите, чтобы могло когда-нибудь такое время существовать:

Чтобы дети не уважали своих родителей.

Чтобы служители не слушались господ, а, напротив того, грубили им и даже дразнились.

Чтобы члены одной и той же семьи, вместо того, чтобы подать руку помощи, высывывали друг другу языки.

Чтоб мелких денег не было.

Чтоб крупных денег не было.

Чтобы вдруг целая масса людей оказалась ни на что не годною, кроме раскладыванья

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
гранпасьянса.

Спите, милые! И пусть ангел-хранитель оградит даже сны ваши от представления тех горестей, которые, подобно ядовитейшим насекомым, изъязвляют и поядают отцов ваших.

А все ты, Пафнутьев! ты, ты, ты!

Ты начал с того, что не хотел бочки с водой на доме твоём поставить, – смотри же теперь, любуйся на дела рук твоих! И если бы ты еще доподлинно эту бочку не поставил, а то ведь только накричал, нашумел!.. Что ж вышло? А вот что. Первое, служители твои слышали, как ты кричал и шумел, и заключили, что, стало быть, шуметь и кричать можно. Второе, слышавши твои крики, они в то же время видели, что на тебя все-таки никто не посмотрел, а из этого заключили, что ты сечешь, и рубишь, и в полон берешь, а вперед, брат, не подвигаешься! Что малый-то ты, стало быть, дрянь! И первое взяли себе к руководству, а второе к соображению.

Другие-то, другие-то, покорные-то, за что тут страдают?

Верь, Пафнутьев, мне самому тяжело обращаться к тебе с упреком. Я знаю, что ты все-таки Пафнутьев и что твоя бабушка моему дедушке кумой была. Но я вынужден к тому, и вынужден следующим, совершенно несносным обстоятельством.

На днях мы с женой обедаем. Подают суп (стерляжьеи уши, брат, мы нынче уж не едим: достатки не те), в супе волос.

– Это что? – спрашиваю я своего Личарду.

– Волос-с, – отвечает Личарда, да так ведь, каналья, любезно, как будто бы этому делу так и быть надлежит. Стерпел.

Подают жаркое, к жаркому салат (только сию роскошь себе и позволяем, да и то потому, что свои оранжереи есть), в салате червяк ползет.

– Это что? – спрашиваю я опять.

– Червяк-с, – отвечает Личарда.

– Червяк-то червяк, да зачем он сюда попал?

– Попал-с, – отвечает Личарда. Опять стерпел.

Подают пирожное, в пирожном мочалка.

– Это что?

– Мочалка-с.

– Зачем мочалка?

– Да что вы ко мне пристали!.. – Не стерпел...

На другой день следствие.

И таким образом каждый день. Скажи, Пафнутьев, статочное ли дело так жить?

Я добр; но ежели мне с намерением не дадут есть – я свирепею.

Я добр; но ежели встречаю в своей постели битое стекло – я свирепею.

Я добр; но ежели на мое приказание истопить печку отвечают: «поспеешь!» – я свирепею.

Статочное ли дело так жить? – вновь спрашиваю я тебя.

А мы живем. Мы все, потомки бабушки Татьяны Юрьевны, так живем!

И не ропщем, а ждем помилованья.

Не далее как вчера читал я повесть о многострадальном Иове... ах, какая это книга! прочти ты ее, Пафнутьев!

Был вечер, на дворе гудела вьюга; сторожа разбежались (да вряд ли, впрочем, и приходили). Я крикнул: «чаю!» – но ответа не получил, ибо лакейская была пуста. Мы ходили с женой по опустелым комнатам нашего старого дома и рассуждали о том, сколько нужно иметь в наше время терпения, снисхождения и кротости; вдали раздавались голоса детей, укладывавшихся спать, и между ними голос старухи няньки, которая, без всякой робости, кричала: «Цыцте вы, пострелята! и то уж из милости паскудникам вашим служу!» В это время взоры наши упали на книгу об Иове.

Результатом этого чтения было то, что мы вдруг как бы помолодели. Откуда взялась бодрость, надежда, уверенность... даже об чае забыли!

– Ты видишь, мой друг, – говорила жена, – если стада отнимаются, то они же и опять посылаются; если рабы разбегаются, то они же и опять возвращаются! Стоит только подождать...

– Стоит только подождать, – повторил я в сладкой задумчивости.

И затем весь остальной вечер мы были веселы, а за ужином даже вспомнили одного веселого соседа, который всякий раз, как что-нибудь ест, предлагает себе вопрос: а ну, Петр Петров, отвечай: подлинно ли ты галантирили битое мясо ешь? И сам же себе отвечает: нет, не галантир и не битое мясо ты ешь, а ешь ты, Петр Петров, последнее свое выкупное свидетельство!

И еще утешило нас с женою вот что: Пафнутьев наш хоть о правах и толкует, однако, коли есть в надежде рубль серебра стибрить, так он тоже малый не промах. Вот хоть бы онамеднись: собрались милые люди вкупе (всё для тех же «якобы прав» своих), а об чем же сперва-наперво речь повели? А вот об чем: ты, говорит, получи жалованья тысячу рублей, и мне предоставь тысячу рублей, и ему тысячу рублей... И так это занятно у них вышло, что даже прохожие и те удивлялись: какие такие земские деятели собрались? Сказывают, иным по пятнадцати целковенькх отсчитали – и теми не погнушались, взяли... Хвалю!

За что хвалю? за то и хвалю, что, значит, молодцы, – значит, не все еще пропало... Не смотри, дескать, милый человек, что я о правах болтаю, а покажи мне десятирублевенькую...

Хвалю!

Но и за всем тем все-таки грустно. Поймут ли Пафнутьевы или не поймут, а время не ждет. Оно неумолимо посекает и виноватого, и правого, и строптивного, и покорного.

Дети, ужели оно не пощадит и вас?

НОВЫЙ НАРЦИСС,  
или

ВЛЮБЛЕННЫЙ В СЕБЯ

Целый месяц город в волнении, целый месяц нельзя съесть куска, чтобы кусок этот не был отравлен – или «рутинными путями, проложенными себялюбивою и всесосущею бюрократией», или «великим будущим, которое готовят России новые учреждения». Кажется, будто у всякого человека вбит в голову гвоздь. Люди скромные и, по-видимому, порядочные – и у тех глаза горят диким огнем, и те ходят в исступлении. Один говорит о попах, другой – о мостах, третий – о «всеобщем и неслыханном распространении пьянства», четвертый – о наидешевейшем способе изготовления нижнего белья для лиц гражданского ведомства, пользующихся в местной больнице; всякий за что-нибудь ухватился, всякий убеждает, угрожает, и так как все говорят вдруг, то никто ничего не понимает, никто никому не внимает и никто никому не отвечает...

Даже лица так называемого «постороннего ведомства» увлекаются общей тревогой и тоже начинают говорить о мостах, о попах и об изготовлении нижнего белья.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Редактор местных ведомостей выскреб целую статью под названием «Сеятели и деятели», в которой выразил твердую уверенность, что вопрос о снабжении местной больницы новыми и хорошо вылуженными медными рукомойниками получит наконец надлежащее разрешение. Полицеймейстер, который сначала ожидал невесть какого волнения и даже мечтал о том, как он, во главе пожарных, ворвется, рассеет и расточит, теперь этот самый полицеймейстер, узнавши, что дело идет о рукомойниках, охотно пристаёт к диспутирующим и говорит: «Гм... да... рукомойники... хвалю!» Председатели, заседатели, заведующие отдельными частями, управляющие – все открыто выражают удивление: как это им никогда даже в голову не зашло рассмотреть вопрос о нижнем белье как в его сущности, так и в отношении к тем последствиям, которые из сего проистечь должны. Словом, нет того живого дыхания, которое не принимало бы живейшего участия, не оказывало бы содействия, не удивлялось, не хвалило..

Представьте себе, что вы приглашены на раут, на один из тех раутов, где еще вчера вы были уверены встретить столь известную картину нашего провинциального гостеприимства: столы, покрытые зеленым сукном, и те интимного свойства разговоры, которые в особенности веселят сердца дам. Что сделалось с этим раутом? Где глубокомысленные споры о короле сам-друг и о короле сам-третьей, где веселый смех, раздававшийся во всех углах, где интимные разговоры?

– А у нас сегодня «комиссию» выбрали! – говорит полицеймейстеру молоденькая дамочка и вдруг задумывается, как будто нечто ущемило ее ничем дотоле не тревожившееся сердечко.

Полицеймейстер вздрагивает, ибо все еще опасается волнения.

– Комиссию-с, какую же это комиссию-с? – ловко выпытывает он, стараясь скрыть подозрительное выражение своих глаз.

– Мы еще сами... то есть, конечно, мы знаем, но наши *messieurs* не условились еще, как ее звать...

– Некоторые из наших *messieurs* предлагали назвать ее иностранным словом «ревизионная», но мой *Alexandre* положительно сказал им: *messieurs*, вы забываете тысяча восемьсот шестьдесят четвертый год! – вмешивается другая дамочка, которой очень хочется показать, что она не чужда «Московских ведомостей».

Полицеймейстер окончательно убеждается, что тревожить пожарных надобности не предстоит.

– Господа! да скажите же, чем заменить это поганое французское слово «материал»? – мучительно вопиет кто-то из «сеятелей», обращаясь к окружающим.

В ответ вдруг налетает заблудившееся где-то облако исконно русской веселости и раздражается ливнем.

– Сапожный товар! – предлагает один.

– Мусор! – остроумничает другой.

– С позволения сказать! – советует третий.

– Никак не называть, а действовать обиняком, – решает четвертый.

– Позвольте, господа, рассказать вам один анекдот насчет этого самого «обиняка»...

Начинается неудобный для печати рассказ, который на минуту успокаивает взволнованные умы. Но это спокойствие кратковременное; чрез мгновение вновь начинается рознь, раздор и галденье.

– Нет, вы не можете себе представить, что такое эти попы! – говорит один собеседник другому.

– Позвольте! – отвечает другой собеседник, – итак, я им говорю: господа, говорю я, вы не имеете никакой идеи о том, что происходило в нашей больнице, пока мы не приняли ее в свое заведование! Это, говорю я...

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
– Я представляю факты; попы, говорю я...

– Вот простой факт, говорю я: однажды вечером я прихожу в больницу, разумеется, секретно, и вижу рукомытники...

– Один поп дошел до такой дерзости...

– Где же вода? – спрашиваю я. – Отчего нет воды?

Сеятели крепко держат друг друга за пуговицы, взаимно обдают себя брызгами, негодуют, волнуются, иронизируют, хохочут и никак не понимают, что каждый из них ораторствует, негодует, иронизирует единственно для самого себя.

– Давеча зашел у нас разговор о мостах, – ораторствует между тем другой сеятель, – предлагаю я, знаете, этот сбор, чтобы с каждого, значит, воза по силе возможности... и вдруг это Петр Иванович: «А позвольте, говорит, приняли ли вы во внимание, что в сём разе расходы взимания могут превысить доходы поступления?» Я, знаете, туда-сюда – куда тебе, так и сыплет словами! «Вы приняли ли, милостивый государь, во внимание, что при каждом мосте необходимо будет поставить сторожа, что для каждого сторожа необходимо будет выстроить хижину, ибо в нашем климате...» И пошел, и пошел! И так он меня, старика, обидел, что я слова не придумал ему в ответ...

– Хорошо-с, – вступается третий сеятель, – сбор с мостов – это можно. Но приняли ли вы, почтеннейший Николай Степаныч, в соображение вот какую штуку. Теперича, вы едете...

– Еду-с.

– Позвольте, не в том штука, что вы едете, а в том, что у вас в кармане нет денежного знака менее... ну, положим, хоть двугривенного...

Присутствующие начинают смекать, в чем дело, и лица их несколько проясняются.

– Ну-с, приехали вы к мосту, подходит к вам сторож и требует две копейки. Хорошо-с. Вы вынимаете двугривенный, он отвечает, что у него сдачи всего три копейки!

Спрашивается: как поступить в этом разе: пропустить ли вас без платежа денег или же заставить возвратиться до ближайшего селения, чтоб разменять ваш двугривенный на менее ценные денежные знаки? А если в ближайшем селении всех капиталов в совокупности три копейки с половиной? а если у вас не двугривенный, а целый рубль?

Сеятель постепенно поднимается, поднимается с места и, наконец, взвизгивает во весь рост.

– Заставить ли вас, – уже не говорит, а гремит он, – заставить ли вас совершить ваш путь обратно? А если и на обратном пути такой же мост? Заставить ли вас жить между двумя мостами неопределенное время?!

В виду такого множества вопросов присутствующих прошибает пот.

– Нет, вы выслушайте меня, да ради же Христа выслушайте меня! – раздается среди всеобщего хаоса голос еще одного сеятеля, который, по-видимому, до того уж надоел, что все от него убежали.

– Только уж эти мне попы – вот они у меня где сидят!

Хозяин дома только ходит и отдувается. Ему смерть хочется поместить и свою лепточку в общую сокровищницу вопроса о рукомычниках, но он видит, что тут уж не до него, и потому слоняется из угла в угол, как оглашенный, и самым любезным образом всем улыбается. Подойдет к одному – один обрызжет, подойдет к другому – другой обрызжет. «Видно, только в этом и раут весь состоять будет!» – восклицает он мысленно и клянет ту минуту, когда посетила его голову ужасная мысль о созвании сеятелей.

Вот правдивая, хотя и довольно грустная картина нашего современного

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) провинциального существования. Конечно, сеятелям хорошо; они, как молодые рыбки, резво плещутся в безбрежном океане словоизвержений; но каково другим? каково тем, во-первых, кои, за недостатком семян, к сеянию не призываются, и, во-вторых, тем, коим угрожает в ближайшем будущем быстрое обсеменение? Какую роль должны играть эти люди в происходящих перед их глазами словесных турнирах? Должны ли они ожидать предстоящего оплодотворения с смирением и кротостью или обязаны озаботиться приисканием мер, чтобы сделать это оплодотворение взаимным, то есть со временем, в свою очередь, обсеменить самих сеятелей?

Но пуще всего достается тут бюрократам. С ними обходятся или совсем бесцеремонно, то есть напрямки объявляют, что час ликвидации для бюрократии настал, или же пренебрежительно-снисходительно, как будто говорят: «Э, любезные! куда уж вам решать вопросы о рукомоиниках!» И никто, положительно-таки никто не хочет признать за бюрократией никаких заслуг... даже в прошедшем; никто не хочет сообразить, что не с неба же свалились все эти вопросы о рукомоиниках, а были вызваны на свет, поставлены и разработаны все тою же бюрократией...

И что всего замечательнее, бюрократы не только не протестуют, но, напротив того, понуривают головы и поджимают хвосты, как бы говоря: «Что с нас взять! известно, мы народ отпетый!» Удостоверятся ли они, что время постепенно ошипывает их, провидят ли, что история, в деле ошипыванья, никогда не останавливается на половине пути, но всегда покажет сначала цветочки, а потом уже ягоды и плоды?

Вообще вопросов возникает множество. Признаюсь, однако, что я отнюдь не встречаю затруднений в разрешении их. Я твердо убежден, что в конце концов теория взаимного оплодотворения восторжествует и тогда сразу и сами собой прекратятся все недоумения. Образуются одни обширные объятия, которые заключат в себе и сеятелей, и сеемых, да кстате прихватят и бюрократов. И будет тогда радость великая; бюрократ укажет на сеятеля и скажет: «весь в меня!», сеятель укажет на бюрократа и скажет: «вот моя опора!», сеемые, с своей стороны, будут в умилении приплясывать и приговаривать: «Concordia res parvae crescunt», [3] что в русском переводе означает: «Вот они! вот наши благодетели!» И тогда-то воистину разрешится вопрос о нижнем белье, который ныне лишь бесплодно волнует умы и поселяет в обществе раздор, анархию и чуть не братоубийство.

Не могу сказать, чтоб с моей стороны были какие-нибудь препятствия к появлению сеятелей. Напротив того, я очень рад. Я знаю, что для многих сеятели хуже ножа вострого, но убежден, что мнение это совершенно ошибочно и имеет источником кажущуюся заносчивость некоторых из них. Какой-нибудь алармист, взирая, как у иного сеятеля пена из уст клубится, готов воскликнуть: «Пожар!» Я же, напротив, при этом виде восклицаю: «Плоть от плоти! кость от костей!» – и затем только утешаюсь и окриляюсь. Я знаю, что пена в этом случае служит сама себе и поводом, и содержанием, и целью, что стоит только обтереть губы сеятеля платком, чтоб увидеть, что, с исчезновением пены, более ничего не осталось. Никаких этаких порывов или поползновений... ей-богу, никаких! Из-за чего же тут волноваться? Из-за чего трепетать? Из-за каких-нибудь «рутинных путей»? Из-за какой-нибудь якобы предстоящей «ликвидации»? Да боже меня упаси!

Надо же наконец понять, что никакая пена в мире не может обойтись без так называемых ораторских движений и что все эти «рутинные пути» и «ликвидации» не больше как удобная формула, к которой прибегает оратор, дабы выразить в самом лучшем виде парение своей души. Душа парит – кому и когда бывал от того вред? Решительно никому и никогда, а польза, напротив того, большая. Душа парит – следовательно, ораторское искусство неуклонно идет вперед; душа парит – следовательно, отечественная литература ежедневно обогащается новыми терминами; душа парит – следовательно, отечественная история украшается новыми подвигами, отнюдь не уступающими таковым же старым...

Надо смотреть вглубь, милостивые государи! надобно смотреть вглубь!

Смотрю вглубь, и что вижу?

Какой вопрос прежде всего занял умы сеятелей? – Вопрос о снабжении друг друга фондами. Мне тысячу, тебе тысячу – вот первый вопль, первое движение. Спрашивается: когда и какой бюрократ имел что-нибудь сказать против этого? Когда и какой бюрократ не изнывал при мысли о лишней тысяче? Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) закусывать? – Никакой и никогда.

Каким образом достать эти тысячи? Как устроить, чтоб бумажный дождь падал в изобилии и беспрепятственно? Ответ: сходить в карман своего ближнего. И практично, и просто. Но спрашивается: когда и какой бюрократ предлагал что-либо иное? – Никакой и никогда. Напротив того, не были ли они все и всегда на сей счет единодушны?

Чем заявить миру о своем существовании? Чем ознаменовать свой въезд в дебри отечественной цивилизации? Ответ: пререканиями по делу о выеденном яйце. Спрашивается: когда и какой бюрократ не облизнул себе губы при слове «пререкания»? Когда и какой заскорузлый понытик не сгорал жаждой уязвить другого, не менее заскорузлого понытика? – Никакой и никогда. Помилуйте! да в пререканиях-то именно и таится самая настоящая бюрократическая сладость!

И затем мириадами, как тучи комаров, выступают вперед вопросы о рукомыльниках, вопросы о нижнем белье, вопросы о становой приставе, позволяющем себе ездить на трех лошадях вместо двух... Спрашивается: когда и какой бюрократ не скорбел этими вопросами? Когда и какой не чувствовал священного ужаса при мысли о невычищенной плевальнице, о ненатертых, как зеркало, полах? – Никакой и никогда.

А потому я не только не озлобляюсь и не огорчаюсь, но радуюсь...

Я радуюсь, потому что ничто окрест меня не изменилось, что хотя из всех щелей вылезают запросы, но запросы эти мне словно родные, да и ответы на них тоже словно родные. Выходя из дома, я, как рыбак рыбака, издали усматриваю моего милого сеятеля и кричу ему: «Ау!» И хотя он ни под каким видом не хочет ответить на мой оклик, но я нимало не обижаюсь этим, ибо знаю, что он, как малый конфузливый, еще не приобик.

Я радуюсь потому, что сеятель не перевернул вверх дном моего отечества, что он сразу понял, что возмущать воду, коей поверхность гладка, не следует, что вызывать наружу раны, кои скрыты, не полезно; что вообще соображать, испытывать, исследовать – голова заболит. Он принял то самое наследство, которое я ему оставил, и лезет из кожи, чтоб сохранить его неприкосновенным и неизменным.

Если он поднял (и именно в укор мне поднял) вопросы о рукомыльниках и нижнем белье и если он пользуется этими вопросами, чтобы наглядно показать мою неспособность и поразить меня – я прощаю ему. От него я охотно снесу всевозможные укоризны и поражения и положительно ни одним словом не отвечу на них. «Винovat! недосмотрел!» – вот единственное оправдание, которое я могу допустить в свою пользу на скользком поприще рукомыльников. И твердо верю, что сеятель, в свою очередь (хоть и не скоро!), простит меня.

Ты мне мил, сеятель! ты мне родствен, а потому я радуюсь, утешаюсь и надеюсь. Всюду, куда ни обращаю свои взоры, я вижу свое собственное отражение, и так как я очень высокого понятия о моей деятельности, то весьма естественно, что мне приходит на мысль: если я один столько дел наделал, то чего не предприму, чего не совершу в согласии с такими ребятами!

И тем не менее, о сеятель! я замечаю в тебе некоторый порок, который может со временем погубить тебя. В чем заключается этот порок – ты увидишь из следующего за сим рассказа.

Вот, наконец, и последний акт драмы. В городе предсказывают нечто необыкновенное. Выжившая из ума, но все еще принимающая деятельное участие в политических раздорах бабушка Татьяна Юрьевна (она же в просторечии именуется Наиной) торжественно уверяет, что готовится «лекведация».

Резвые девицы-внучки подхватывают это выражение и трунят над бабушкой.

– Как, бабушка, как? «лекведация»? – пристают они и, обращаясь к одному из вечно слоняющихся франтов-сеятелей, продолжают, – слышите, мсье? бабушка уверяет, что сегодня будет «лекведация»!

– «Лекведация»! charmant! [4]

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) – «лекведация»! `impayable!` [5]

– Да, мои миленькие, «лекведация»! – шамкает бабушка, – сегодня братец Сила Терентьич победит братца Терентья Силыча!

(Несмотря на то что первый – обер-сеятель, а последний – обер-бюрократ, прозорливая бабушка продолжает называть их «братцами».)

С почтительною осторожностью вхожу я на хоры той самой залы, в которой, по словам сеятелей, изготавливается великое будущее России. Тихо. И публика, и сеятели – все смолкло под гнетом впечатления, произведенного заключительною речью одного из ораторов, смелая мысль которого, по поводу вопроса о возобновлении верстовых столбов, успела, в какую-нибудь четверть часа, облететь все страны Европы, сходить в Америку, окунуться в мрак прошедшего и приподнять таинственную завесу будущего. В воздухе колом стоят и «рутинные пути», и «великое будущее», и «твердые упования», и «светлые надежды» – словом, все, чем красна речь всякого благонадежного сеятеля. Сидящие на хорах дамы обмахиваются веерами и встречают мое появление с видимою недоверчивостью, как будто подозревают, что я хочу «смутить веселость их». Но так как я ни на чью веселость не посягаю, а хочу только поучиться, то и пробираюсь себе полегоньку вперед, в тот укромный уголок, где привитает добрая бабушка Татьяна Юрьевна, окруженная резвушками-внучками.

– Что, родной, много ли сегодня душ по миру пустил? – спрашивает меня бабушка, как только замечает, что я стремлюсь пристроиться поближе к ней.

В сущности, она любит меня (я знаю довольно много скандальных анекдотов, которые, по временам, сообщаю ей и до которых она страстная охотница); но с тех пор, как случилась известная «катастрофа», милая бабушка глубоко убеждена, что каждый бюрократ поставил себе за правило ежедневно «пускать по миру» по нескольку душ «неповинных», и потому, при всякой встрече, считает полезным напомнить мне об этом.

– Да человека с четыре! – скромно отвечаю я и с удовольствием вижу, что ответ мой производит весьма приятное действие на внучек-вострушек.

Однако внизу что-то позамялось. Слышится шепот, образуются кружки; некоторые из сеятелей спешат сходить в буфет и возвращаются оттуда значительно приободренными. Бабушка впадает в забытие и, словно в бреду, спрашивает, скоро ли будут палить.

– Слышите, мсье? слышите? – подхватывают внучки, – бабушка спрашивает: скоро ли будут палить?

Я начинаю доказывать, что бабушка не совсем права и что ежели взглянуть на предмет с точки зрения переносной, то, пожалуй, окажется...

– Шт... – внезапно раздается по зале. Я умолкаю, бабушка просыпается, внучки превращаются в слух. Сеятели скучиваются в одну группу.

Сила Терентьич требует слова. Но, с непривычки, он так сильно сконфужен, что некоторое время только шевелит усами. Он сознает, что ему, как сеятелю из сеятелей, предлежит сказать комплимент, но в седой его голове, кроме «милости просим откушать», ничего не слагается. Наконец чувство долга оказывает свое действие, из уст почтенного старца вылетает ожидаемый комплимент.

– Итак, господа, – говорит он, – слава богу, все кончилось. С божьей помощью, мы наше дело сделали. Во-первых, назначили нашим будущим деятелям приличное содержание; во-вторых, кого следует обложили соответствующими сборами. В эту минуту нет почти ни одного благородного дворянина, который бы не получал содержания, и нам остается только разойтись и принести домой приятные впечатления. Себя не хвалю. Если и есть у меня заслуги, то они не мои, а моих благородных господ сослуживцев. Мне оставалось смотреть и радоваться... и в особенности благодарить. Да-с, благодарить-с (Сила Терентьич низко кланяется, касаясь рукой земли). Я очень понимаю, господа, что труда было довольно, что на нас были обращены взоры целой губернии и что, несмотря на это, мы превозмогли. То есть превозмогли мои благородные сослуживцы, я же, с своей стороны, могу только радоваться и благодарить. Да-с, благодарить-с. Может быть, я не литератор



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) и не все выразил, но скажу: губерния видела, и час этот пробьет в потомстве. Милости просим откушать!

Сила Терентьич обходит сеятелей и поочередно со всеми целуется. «Благодарю!», «Милости просим откушать!» – вот лестные звуки, которые льются из уст его и которые, казалось, должны бы тронуть даже каменные сердца. Но, увы! мельница спущена, затвор потерян, вода бежит – и жернов мотается как угорелый на своей оси, изумляя и огорчая вселенную беспутным досужеством.

На этот раз роль жернова берется выполнить *Woldemar* Кочкарников. Он лихо выступает на середину, вставляет в глаз стеклышко, выворачивает голову назад и вообще старается придать своему туловищу тот самый вид, который, во дни юности, составил ему репутацию на балах у Кессених. Между сеятелями Кочкарников слывет умником. Он считается специалистом по части железных дорог, потому что езжал по николаевской дороге, специалистом по части кредита, потому что закладывал свои имения в опекуновском совете, специалистом по части народной нравственности, потому что держит около десятка кабаков, специалистом по части мостов и перевозов, потому что не далее как прошлой весной единолично и собственноручно разбил наголову целую армию перевозчиков за то, что они замешкались подать ему паром, и наконец специалистом по части больниц, потому что видал-таки на своем веку виды. Поэтому когда, при обсуждении какого-нибудь дела, сеятели становятся в тупик, то обыкновенно кладется резолюция такого рода: «сеятелю Кочкарникову, как специалисту по части такой-то, поручить озаботиться о безотлагательном устройстве в нашей губернии железных дорог и о неотложном усовершенствовании народной нравственности». И затем сеятели успокоиваются, в твердой уверенности, что железные пути будут безотлагательно устроены, а народная нравственность неотложно усовершенствована.

Понятно, что появление такого человека должно произвести некоторый трепет в публике. Дамочки колышутся, демуазельки мечутся и без толку лепечут на все стороны: *ah, ma chère, ah, ma chère!* [6] Одна барыня на сносях втихомолку молится богу, чтоб будущий плод ее был похож на Кочкарникова; бабушка просыпается и думает, что вокруг нее происходит «воспоминание баталии при Гангеуде».

– В мое время тоже в колокола звонили... да! а лгали как... ужаси! – обращается она ко мне и тут же опять засыпает.

– Позвольте мне, господа, сделать небольшую поправку к приветствию нашего почтенного представителя, – начинает Кочкарников среди общего молчания. С свойственной ему скромностью он умолчал о тех трудах, которые подняты им лично на пользу общественного благоустройства, развития и процветания...

Но так как оратор с утра ничего не ел, то в эту минуту перед глазами его внезапно проносятся: майонезы из дичи, майонезы из рыбы, уха из стерлядей, отпоенная добела телятина, одним словом, вся сласть, которую, через какой-нибудь час, ему, вместе с прочими, предстоит обонять, ощущать и смаковать. На душе его становится горько. Зачем он начал болтать? К чему он добровольно отдаляет от себя миг блаженства? На секунду он даже останавливается в нерешимости и думает, не наплевать ли. Прозорливейшие из зрителей начинают беспокоиться, ибо провидят борьбу, которая происходит в ораторе. Но оратор уже сбросил с себя иго кухонного материализма; он вздрагивает и полегоньку трясет головой, как бы освобождая свою мысль от ненужных примесей. Через минуту он по-прежнему свеж и бодр и, как ни в чем не бывало, продолжает выбрасывать из себя потоки.

– Да, господа, – говорит он, – это было отрадное и отчасти грустное время. Это было время борьбы с бюрократией и всею ее темною свитой. Окрылялись молодые надежды, развивались молодые упования, росли и крепили в тиши молодые силы. Кровавое знамя социализма пряталось. Чувствовалось жутко и, вместе с тем, легко и отратно. Как путник, застигнутый в степи бураном, прислушивается, не донесется ли до него звук колокола родной колокольни, так и мы, в нашем святом деле, среди тех великих задач молодого возрождения, которые нам предстояли, прислушивались... чутко прислушивались...

Опять проносятся майонезы и супремы, а белоснежная телятина, словно живая, так и глядит в глаза. Оратор с трудом, но превозмогает.

– И вот, – продолжает он, – среди этих надежд, среди этих молодых усилий и молодых упований, в самом жару битвы, наша алчущая мысль, наше жаждущее чувство

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru были внезапно удовлетворены самым блистательным, даже, можно сказать, самым неожиданным образом. Да, «неожиданным», смело повторяю это слово, – ибо никто не мог и не имел права ожидать ни той полноты, ни той беззаветности! («Майонезы! майонезы!» – словно злой дух какой шепчет на ухо.) Среди этих трудов, видов и предположений, в виду открывавшихся кругозоров, мы встретили, милостивые государи, руководителя! («Майонезы!») Мы были путниками – и перестали быть ими; мы были отданы на жертву стихиям – и приобрели надежный кров, под сению которого наши молодые упования могли окрыляться, наши молодые силы – укрепляться и развиваться. Наша мысль не блуждала, ибо нашла для себя надлежащую руководящую нить; наша рука была прямо, целила верно, ибо опорой ей был твердый оплот. Если мы на первых порах могли еще на минуту усомниться насчет размера следующего нам содержания, то сомнения эти, милостивые государи, рассеялись, подобно туману, удручающему в осенние дни поля земледельца...

«Майонезы! майонезы!» Оратор изнемогает.

– Сила Терентьич! – с трудом дотаскивает он свой груз, – с свойственною вам скромностью, вы хотели умолчать о трудах своих! Вы хотели всю честь нашего молодого возрождения приписать нам, вашим слабым сотрудникам...

– Прихлебателям! – вдруг совершенно явственно раздается по зале. Все глаза ищут дерзкого нарушителя общественного порядка, но виновницею оказывается старая бабушка, которая и в забытии не утратила своей прозорливости. Чтоб избежать повторения подобных сцен, ее уверяют, что давно уж отужинали, и увозят домой.

– Прихлеба... то бишь сотрудникам. Но мы этого не допустим («нет! нет! не допустим!» – гудит кругом сеятельский рой). Мы скажем вам: в первый раз в жизни вы сказали слово, не согласное с истиной! Нет, не тот действительный сеятель, который исполняет предначертания и приводит к осуществлению преднамерения! Не тот. Тот действительный труженик и сеятель, достойнейший наш Сила Терентьич (произнося эти слова, оратор снисходительно улыбается, как будто говорит: а дай-ко, я тебя пощекочу!), который эти предначертания умеет внушить, который, расширяя горизонты, изыскивает пути, тот, наконец, который, на самых этих путях, умеет найти деятелей, бодрых не дерзостью или самонадеянностью, но твердою и неуклонною готовностью следовать по указанной раз стезе. Наш труд скромнен, Сила Терентьич! наш труд невелик! Не на нас были обращены взоры целой губернии, Сила Терентьич! нет, не на нас! Они были обращены на нашего руководителя... они были обращены на вас.

– Милости просим откушать! – начинает Сила Терентьич, но тут поднимается такая суматоха, что голос достойного представителя совершенно теряется. Его окружают; кричат: «на вас! на вас!» – так что он видит себя в необходимости опять со всеми целоваться. Пользуясь этим случаем, благоразумнейшие из сеятелей успевают сбегать в буфет и подкрепиться.

«А сем-ка и я что-нибудь хлопну!» – думает между тем Сеня Накатников и, не откладывая дела в долгий ящик, тут же приводит намерение свое в исполнение.

– Господа, мы забываем достойных членов нашей комиссии! – взывает он. – Нет слова, что мы потрудились, да и достойнейший представитель наш тоже потрудились, но спрашиваю я вас: что бы это такое было, если бы у нас не было комиссии? Не забудьте, господа, что прежде всего нам надо было собрать факты, а где их взять? Где, спрашиваю я вас, отыскать факты? и как их взять? факты, говорю я, бывают разные. Есть факты подходящие, есть факты неподходящие, есть даже факты, которые совсем, так сказать, не факты... Вот это я называю: труд! Однажды я возвращаюсь в четвертом часу ночи из клуба («было мало-мало выпито!» – вдруг шепчет воскресшее воспоминание) и замечаю в доме одного из членов комиссии огонь. Слезаю, стучусь, вхожу – и что же вижу? Сидит почтенный наш сотоварищ с пером в зубах... по правую руку – счеты... по левую – кипы исписанной цифрами бумаги... вдаль – потухшая сигара! Вот это я называю: труд, потому что это факт. Что сделали бы мы без факта? что случилось бы с нашими трудами, если бы они не были основаны на фактах? Эти факты кто нам дал? спрашиваю: кто, так сказать, возродил факты из пепла? Чем мы сильны перед бюрократией, как не тем, что у нас факт, а у ней одни рутинные пути? спрашиваю: кто дал нам этот факт? – и отвечаю: нам дала его комиссия. Над чем трудился почтенный наш сотоварищ в тиши уединения? – Над фактом. Что озабочивало мысль этого истинного пустычника в столь неурочное время? – факт... После этого что же еще говорить? что еще говорить? спрашиваю я вас. Нужно ли прибавлять, какого рода фактом приличествует ознаменовать заключение нашей

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru деятельности? Если древние римляне даже гусям...

Оратору не дают кончить. Клики «благодарим! благодарим!» прерывают его речь на том самом месте, где он намеревался сделать краткую экскурсию в историю гусей. Члены комиссии: два брата Зуботыкины, один Недотыкин и один Перетыкин выступают вперед. Их поочередно целуют, но самые сладкие безе, конечно, достаются на долю Недотыкина, в котором все сразу узнали «истинного пустытника», отыскивавшего в четвертом часу ночи факт с пером в зубах.

Недотыкин человек не без дарований. Он один из всех «сеятелей» знает табличку умножения до такой степени твердо, что может во всякое время с уверенностью ответить, что  $8 \times 9 = 72$ . Сверх того, он скромн и трудолюбив. Какой-нибудь сеятель возьмется счет проверить, возится с ним, пока совсем не измаслит, и все-то у него неудача: либо приложит копейку, либо не доложит две. Сейчас к Недотыкину. Недотыкин взглянет, сообразит, поколдует («шестью шесть», «семью семь», «восемью девять» и т. д.) и смотришь – недоложенная копейка найдена и отечество некоторым образом спасено. На этом основании сеятели прочат Недотыкина в местные финансисты и опасаются только одного: что, по врожденной скромности, у него не хватит смелости, чтоб вольным духом заключать займы, через что, конечно, финансовое положение страны утратит много блеска. Что касается до меня, то я, с своей стороны, никаких препятствий к совершению Недотыкиным блестящей карьеры не встречаю, ибо нахожу равно сродным истинному финансисту: и скромность фиалки, в тиши уединения протверживающей табличку умножения, и дерзновение орла, с высот заоблачных испытующего, не выглядывает ли из чьего-либо кармана кредитный рубль, могущий послужить на пользу.

Недотыкин смущен; похвалы застали его врасплох в то самое время, когда в голове его почти совершенно удовлетворительно разрешилась задача: «летело стадо гусей», в применении к общесеятельскому делу. Тем не менее он понимает, что его целовали даром, что самый воздух, которым он дышит, заражен жадой комплимента. Скрепя сердце он начинает:

– Право, господа, я не знаю.. как член комиссии, я даже просто не вижу... Семен Семеныч говорит: «не будь комиссии», а я, напротив того, говорю: «не будь вас». Это глубокое мое убеждение, это убеждение и всех моих товарищей. Вы нас просветили, нас направили и наставили – что же нам оставалось делать? Оставалось покориться воле провидения и благодарить. Мы и благодарим, и не только благодарим, но и присовокупляем: во всякое время общество найдет нас готовыми. Позвольте же, господа, от полноты души возратить вам тот братский поцелуй, которым вы почтили меня и моих товарищей.

Недотыкин лезет целоваться. Раздаются сочные чмокания; на хорах слышится движение стульев; Сила Терентьч разевает рот, чтобы в сотый раз вымолвить: «Милости просим откушать».

– Позвольте, господа! – вдруг вопиет кто-то из толпы. – Я нахожу, что наше торжество будет неполно, если мы не сделаем участником его нашего уважаемого товарища, Владимира Тимофеича Кочкарникова. Владимир Тимофеич! Положа руку на сердце, вы можете сказать себе и вашему уважаемому семейству: да, я жил даром! я сделал все для родной земли, что было в моих силах! С вашей просвещенной помощью мы пришли к разрешению вопроса о проведении железных путей в нашем крае! Благодаря вашим неутомимым изысканиям вопрос об усовершенствовании народной нравственности для нас окончательно уяснился! Вы первый открыли ту тесную, неразрывную связь, которая существует между общественным призрением и хозяйственным способом заготовления больничного белья и вещей! По вашей плодотворной инициативе, состоялась у нас вечно памятная резолюция: немедленно принять меры к искоренению пьянства! Вы указали на опасность, которую угрожают стране непрерывные захваты алчной и беспочвенной бюрократии! Вы, наконец, подняли наш дух, подвергнув тщательной критике вопрос о взаимном самовознаграждении! Хвала вам, Владимир Тимофеич! Хвала и вечное, неугасимоблагодарное пламя сердец наших! Думаю, милостивые государи, что выражаю нашу общую мысль, говоря: Владимир Тимофеич! передайте всему вашему многоуважаемому семейству, что вы много потрудились, много поревновали для родной земли и что родная земля благодарит вас!

Кочкарников бледен как полотно; у него, что называется, дыхание в зобу сперло. Но на этот раз представление о майонезах и супремах действует так победительно, что он даже не поддается искушению болтовни и решается покончить как можно

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) скорее.

– Господа! – говорит он, – вместо ответа позвольте припомнить вам одно обстоятельство. Когда ваше высокое доверие налагало на меня новые обязанности, я сказал: господа! я силен только вами! От души повторяю это теперь, в эту торжественную минуту, и клянусь...

Кочкарников закусил нижнюю губу и умолкает, ибо желудок его окончательно отощал. Все бросаются на него и с остервенением мнут в объятиях. Стулья на хорах вновь начинают двигаться.

– А старичка! старичка-то и позабыли! – укоряет чей-то голос с хор.

Выводят под руки «старичка», отставного инженер-прапорщика Дедушкина, такого дряхлого, что он и сам сомневается, точно ли он жив. Про «старичка» рассказывают, что он получил свой чин еще при Петре I за то, что построил в селе Преображенском первую фортецию, которую великий отрок изволил потом самолично взять приступом с своими потешными.

Но инженер-прапорщику уже не до хвастовства. Он кланяется и издает слабый писк...

В зале пусто; из нор выходят крысы. Они степенно ползут одна за другой и скучиваются на середине. Поднимается писк. По-видимому, они подражают. Одна, совсем седая, с оттопыривающимися во все стороны усами, кажется, говорит: «Милости просим ко мне на сало!» Другие по очереди хвастают.

Сторож, свидетель этого противоестественного сходбища, убегает в смятении...

#### ЛЕГКОВЕСНЫЕ

Чем больше ветшает мир, тем большая накапливается в нем сумма опытности. Отношения упрощаются: сомнения уступают место уверенности; истины, до познания которых человек в былое время доходил путем нелегкой борьбы, становятся простыми аксиомами, никакой борьбы не требующими. Простодушный славянин, который некогда учил наших предков почаще повторять изречение «да будет нам стыдно», конечно, первый устыдился бы своей наивности, если б встал из гроба и взглянул на успехи своих потомков.

Во всем мы успели, во всем отрезвились. Чем дальше мы идем, тем более и более убеждения наши теряют свою призрачность и, взамен того, приобретают драгоценные качества осязательности и плотности. Гром гремит, собака лает, медные лбы торжествуют – вот те простые истины, до которых мы додумались и на которых жидется наше будущее благополучие. Мы признаем за истину только ту истину, которая бьет нас по лбу и механически поражает наши чувственные органы; мы заносим в наши летописи только тот факт, который имеет за собой привилегию факта совершившегося. Все прочее приурочивается нами к области мечтаний, а так как мечтания бесплодны (аксиома), то мы и относимся к этому «прочему» ежели не с ненавистью, то с ироническим сожалением. Откуда пришли к нам наши непреложные истины, что производит гром, почему лает собака, почему торжествуют лбы медные, а не простые, – мы над этим не задумываемся и не желаем себе объяснить; мы просто принимаем это как факт глухой и неотразимый. Заслышав гром, мы говорим: вот гром; заслышав лающую собаку, мы говорим: вот лающая собака.

Цель всех наших стремлений и забот заключается в том, чтобы навсегда освободиться от каких бы то ни было сомнений и создать для себя то положение счастливой уверенности, в котором можно было бы жить, не задумываясь и не размышляя. Каждый из нас облюбовывает себе известные рамки, прилаживается к ним и затем уже заботится только о том, как бы не переступить границы и не очутиться невзначай в области неизвестного. Впереди – мотается кусок, на который устремлены все взоры и который служит путеводною звездой в нашем странствии...

Нельзя, однако ж, сказать, чтоб эти прилаживания доставались нам без усилий, – совсем напротив! Нет ничего более хрупкого, как те рамки, к которым мы так старательно прилаживаемся, и нет ничего более цепкого, как то неизвестное, от которого мы так упорно отворачиваемся. Поэтому, чтобы удержаться в рамках и защитить их от напылява неизвестного, от нас требуется довольно подвигов и даже не мало насилий... Но положим, что мы не стоим за подвигами; положим, что наши понятия о нравственном содержании поступков, о чести и правде настолько

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) упростились, чтобы не допустить нас споткнуться в нашем рьяном стремлении к куску, – какой же собственно получится результат этих подвигов и насилий? – А вот какой: в ту минуту, когда мы уже достигаем куска, когда мы осязаем руками цель наших вожделий – оказывается, что питательность его более нежели сомнительна, что он и сам уже подвергся некоторым органическим изменениям, вследствие напора того же неизвестного, с которым мы вели такую неутомимую борьбу!

Таким образом, преследуя мечтателей, мы сами оказываемся мечтателями сугубыми и к тому же мечтателями недалёковидными, грубыми и нелепыми!

Спрашивается: для чего мы трудились, подвижничили и насильствовали?

Было время, когда в нашем обществе большую роль играли так называемые каплуны мысли. Эти люди, раз ухватившись за идейку, усаживались на ней вплотную, переворачивали на все стороны, жевали, разжевывали и пережевывали, делались рьяными защитниками ее внешней и внутренней неприкосновенности и, обеспечивши ее раз навсегда от всякого дальнейшего развития, тихо и мелодично курлыкали. Я до сих пор не могу забыть тех томных, расслабляющих звуков, которыми ознаменовалась эпоха нашего возрождения. Были в то время такие сладкие катышки, которые как только попадут в рот – так с ними и не расстанешься. Каплуны же народ добродушный, к еде ласковый и к утучнению своих тел весьма склонный. Они не только с жадностью ловили те катышки, которые бросались им чьею-то щедрою рукою, но даже охотно разрывали вольный навоз и отыскивали в нем катышки совершенно мнимые. И поднималось у них тут то равномерное, самодовольное курлыкание, которое многих, даже проникательных людей ввело в обман, дало повод думать, что, наверное, в России наступил золотой век, коль скоро в ней так изобильно развелась птица каплунов, и притом такая гладкая и так самодовольно курлыкающая.

Но само собою разумеется, что птице, обладающей таким важным изъяном, не суждено быть ни законодательницей мира, ни властительницей дум. Оказалось, что одни из катышков, которые так жадно проглатывались глупою птицей, заключали в себе отраву, другие же не могли быть переварены, по неумелости и глупости. Сверх того, однообразное и приторное курлыкание каплунов до того опротивело, до того раздражило всем нервы, что птицу наконец перестали кормить. Одним словом, птица задумалась и через короткое время вся без остатка подохла.

Где вы, воспетые некогда мною литераторы-обыватели? Где вы, непреклонные обличители исправниковой неосновательности и городнического заблуждения? Где раздастся ваше томное курлыкание, и раздастся ли оно? Или, быть может, оно облеклось в иные, более соответствующие требованиям времени формы и изрыгается, по бесчисленным закоулкам любезного нашего отечества, в виде истерического ругательства, с пеною у рта, с устремлением дланей и судорогою в искаженных чертах лица?

Как бы то ни было, но курлыкание безвозвратно смолкло, и взамен его общественная наша арена огласилась ржанием резвящихся жеребят.

Нет ничего приятнее, как это веселое ржание, особливо в поле и в летнее время на заре. В общем говоре просыпающейся природы оно выделяется какою-то особенно свежою мелодией. Да и сама по себе картина резвящегося жеребенка действует на душу освежительно. Стрелю несется молодой сосунок по необозримому полю – и вдруг он остановился, как вкопанный, потом раз, два, три взлягнул задними ногами, и опять заржал, и опять понесся. Эти лансады и курбеты, этот внезапный резвый бег куда-то вперед, это словно струей пронизывающее воздух ржание – все это, вместе взятое, представляет такое прелестное зрелище невинной необдуманности, что сердце самое огорченное невольно заражается безотчетной веселостью, и человек самый суровый, самый преисполненный гражданских доблестей нет-нет да вдруг и вскинет ногами в воздухе.

Почему нам нравится такая картина? Не потому ли, что она воскрешает перед нами идиллический и всегда любезный нам образ невинности? Что хочет выразить жеребенок своими порывистыми скачками и курбетам, своим несущимся по ветру хвостом, своим мелодическим ржанием? Очевидно, он хочет только сказать: «посмотрите, как мои прыжки безотчетны, как я волен скакать и прямо и вкось, и на гору и в овраг – всюду, куда несут меня мои быстрые ноги!» И вот наше сердце невольно влечется к этому маленькому красивому созданию; нас трогает и его

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) молодая, беспечная удаль, и ничем не объяснимая внезапность движений, и даже самая непредусмотрительность в различиях опасностей. Сравнивая эту картину безотчетно резвящейся невинности с картиною мрачного коварства людей, мы невольно восклицаем: «Ах! если бы и люди могли так носиться по полям любезного нам отечества, не злоумышляя и не коварствуя, но наполняя воздух веселым и мелодичным ржанием!»

Представьте же себе, что ваше мимолетное мечтание внезапно осуществляется; представьте себе, что идиллия, которою вы только что насладились, происходит не в необозримости полей, а на тесном пространстве Невского проспекта, Кузнецкого моста либо какой-нибудь Московской или Дворянской улицы губернского города. Представьте себе целые табуны молодых жеребят, оторванных от родных степей и резвящихся в окрестностях Кузнецкого моста или Тверского бульвара! Как сладко должно восторгаться ваше сердце при звуках веселого ржания! каким умильным огнем должны загореться ваши глаза при виде беспримерных по своей бойкости прыжков! Еще так недавно вы видели на этом самом месте нелепо переваливавшихся с боку на бок каплунов, которые топтали какие-то идейки, подобно тому как топчет бессмысленный индюк бросаемую ему рукавицу, – и вдруг какая счастливая перемена!

Бедные, ожиревшие каплуны! вы ли не старались? вы ли, с неслышанным трудолюбием, не копались на всех задних дворах нашего отечества, отыскивая всевозможные нечистоты и полегоньку заглаживая и засыпая их песочком? И что ж! вы забыты! вы презрены! Вы отданы на поругание каким-то красивым, но легким зверькам, которые пленяют одною безотчетностью прыжков и мелодичностью ржания!

Нет спора: маленький жеребчик – прелестное, превеселое и преграциозное животное; но представьте себе (в скотском быту это ведь очень возможно), что этот милый резвый жеребчик вдруг взбесился! Что может тогда произойти? Какими горькими и неисчислимыми последствиями может отозваться это несчастье на тех, которые слишком доверчиво любовались его резвыми движениями? Я был однажды свидетелем редкого и потрясающего зрелища: я видел взбесившегося клопа. В ряду вонючих насекомых клоп почему-то пользуется у нас репутацией испытанной и никем не оспариваемой благонамеренности. Оттого ли, что нравы этого слепорожденного паразита недостаточно исследованы и, вследствие того, он живет окруженный ореолом таинственности, мешающей подступиться к нему, или оттого, что мы видим в нем нечто вроде олицетворения судьбы, обрекшей русского человека на покусыванье, – как бы то ни было, но клоп взбесился, и никто из обывателей не только не обратил должного внимания на это обстоятельство, но, напротив того, всякий продолжал считать клопа другом дома. Можете себе представить, какую тьму народа перепортил этот негодный паразит, как широко он воспользовался тем ореолом благонамеренности, которым мы окружили его! Одевшись личиною смирения, он заползывал в тюфяки и перины беспечно спящих людей и нередко, в течение одной ночи, поражал ядом целые семейства. Десятки и сотни людей пропадали бесследно, а клоп все не унимался, все жалил и жалил. Он и о сю пору продолжал бы жалить, если б, с одной стороны, не истощился запас тел, а с другой стороны, не обмануло его, пораженное бешенством, собственное обоняние, наткнувшее его на рожон. Но он и теперь еще жив в своей стенной скважине, он и теперь по временам набегает на беспечных, когда благоприятствует темнота ночи...

По-видимому, стоит только протянуть руку, чтоб сделать клопа навсегда безвредным, но оказывается, что это совсем не так легко, как можно предположить с первого взгляда. Есть какая-то темная сила, которая бдит над клопом и препятствует протянуть руку именно в ту самую минуту, когда он наиболее вреден. И вот вонючий, слепорожденный паразит становится действующим лицом, и никто против этого не протестует! Мало того: он впадает в неистовство, он без разбору впивается во всякое тело, лежащее поперек его тесной дороги – и ему рукоплещут! Находятся, конечно, люди, которые взирают на это с прискорбием, но факт уже совершился, клоп забрал силу, и только случайность, такая же бешеная случайность, как и та, которая породила самое бешенство, может положить предел его слепому неистовству.

Немного нужно сообразительности, чтобы оценить положение, которое постановлено в зависимость от необузданности дрянного клопа!

Но от клоповной необузданности нет надобности делать *salto mortale*, чтобы дойти до необузданности жеребячьей. Покуда жеребята резвятся, носятся по полям и играют – они забавны; но когда глаза их наливаются кровью, когда они начинают

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) без резона брыкаться, когда ржание их принимает зловещий тон – тогда берегитесь их! Нет злыбы более неотразимой, как злоба жеребья, ибо она встает перед вами нежданно-негаданно и всегда из-за пустяков; нет злыбы более неутомимой, ибо она рвет и грызет, не различая предметов и не сознавая сама, что попадает ей на зубы.

Я знаю, размышления мои могут показаться читателю навеянными минутным мизантропическим настроением и, следовательно, односторонними и исключительными. Но попытайтесь же поискать ту границу, где оканчиваются мизантропические и могут начаться доверчивые отношения, и вы, конечно, не найдете ее. Бывают минуты в жизни обществ, когда всякая возможность подобной границы устраняется сама собою; бывают положения, к которым нельзя относиться по произволу, так или иначе, но в виду которых делается обязательным именно то, а не иное отношение. Горечь недоверия отнюдь не принадлежит к тем праздничным и нарядным одеждам, рядиться в которые составляет удовольствие; напротив того, это костюм очень стеснительный и даже невыгодный. Но что же вы будете делать, если в данную минуту это единственная одежда, которая приходится впору?

В самом деле, взгляните на предмет хладнокровно и найдите хотя малейшее разумное основание, которое объяснило бы это странное присутствие жеребят на арене человеческих действий. Допустите шансы самые выгодные; предположите, что жеребята эти заранее застрахованы от припадков бешенства и навсегда останутся теми резвыми, веселыми жеребятами, какими они представляются вашим предубежденным взорам. Но ведь все-таки это не люди, все-таки это не более как зверьки!

Да и нужна ли нам резвость? необходимо ли топтать отечественные поля? Право, это еще вопрос, и притом вопрос очень серьезный и очень сомнительный. Резвость, употребляемая на то, чтобы, распустив по ветру гриву, безотчетно носиться по полям и оврагам, на то, чтобы бесцельно рыть копытами землю и оглашать природу ржанием, – ужели можно изобрести такую гнетущую необходимость, при помощи которой представлялась бы возможность осмыслить подобную беспутную картину?

Легковесные люди – вот действительные, несомненные герои современного общества. Чем легковеснее человек, тем более он может претендовать на успех, тем более может дерзать, а ежели он весом менее золотника, то это такой завидный удел, при котором никаких препон в жизни для человека существовать не может. Законы физики торжествуют; легкие тела поднимаются вверх, тела плотные и веские остаются в низменностях. Золотники стоят триумфаторами по всей линии и во всех профессиях; они цепляются друг за друга, подталкивают и выводят друг друга и в конце концов образуют такую плотную массу, сквозь которую нельзя пробиться даже при помощи осадных орудий.

Еще очень недавно вы видели этих бесконечно малых, еще недавно вы думали, что они не больше как жужжащие комары, которые потому только и обращали на себя ваше внимание, что от них нужно было отмахиваться... Увы! теперь это не просто комары, а целая масса комаров, претендующая затмить собой солнечный свет. Их жужжание – не просто жужжание, а совокупность миллионов жужжаний, имеющая все признаки трубного гласа. И – ужас! – за этими золотниками уже виднеются десятки и сотые доли золотников, которые тоже цепляются в гору и, конечно, не заставят себя долго ждать, дабы своим бесконечнейшим ничтожеством победить бесконечное ничтожество золотников.

Было время, когда властителем моих дум был знаменитый вития и философ Феденька Кротиков. Назойливый болтун, бездонный носитель либеральной галиматии – он, по-видимому, соединял в себе все данные, чтоб сделаться героем и львом своего времени. Признаюсь, я думал, что нельзя изобрести героя более легковесного; я даже упрекал себя в преувеличении. И что же? – ничуть не бывало! Феденька оказался слишком увесист, слишком глубокомыслен и дальновиден. Он подавил золотников основательностью, бойкостью и прозорливостью своих суждений; он возбудил в них опасения шириною и солидностью своих взглядов – и вот бесконечно-малые сгруппировались, составили комплот, сговорились и свергнули-таки Феденьку с пьедестала!

Феденька приуныл и поник головою. По-прежнему в нем беспрепятственно совершается процесс болтания, но он уже сознает, что болтовня не к месту, когда все в природе вещает о подтягиваниях, подбираниях и энергических поступаниях;

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) по-прежнему он смотрит фофаном, но увы! фофаном не торжествующим, а грустным и словно приниженным.

– Ты видишь! – сказал мне этот проштрафившийся гигант, встретившись на днях со мною на улице и указывая на рой бесконечно-малых, суетившихся тут же, у наших ног, – ты видишь ли малых сих? Но подожди! то ли еще будет! Эти неизмеримомалые – великаны в сравнении с теми неизмеримо-малейшими, которые придут на их место!

Затем Феденька с головой окунулся в бездну умеренного либерализма и более уже не вылезал оттуда. Он рассказывал мне о своих подвигах на поприще постепенного преуспеяния, о том, сколько требовалось осторожности, осмотрительности и даже самоотвержения, чтобы не погубить молодые, нежные всходы общественной самодеятельности, и проч. и проч. Внимая речам его, я очень мало понял, но в то же время, в первый раз в жизни, удивился их мудрости. Меня как-то непривычно поразили звуки человеческого голоса. Я сравнил эту ровную, гладкую, словно канитель тянущуюся речь с утробным стенанием золотников и вздыхал... почти плакал! И если б у меня нашелся под руками лавровый венок, я непременно возложил бы его на чело этого пустопорожного мудреца.

Все проходит, все изменяется. Были идеи – они переродились в слова; были слова – они сменились бессвязным, любострастным стенанием. Увы! нам уж не до идей! Теперь мы с сожалением вспоминаем даже о словах, даже о тех скудно наделенных внутренним содержанием речах, которыми отягощали нам слух пустопорожные мудрецы! Мы жалеем об них, потому что в них все-таки слышались знакомые человеческие звуки. Представители бездонного красноречия становятся в наших глазах любезными, даже великими, ибо если они не обладали идеями в действительном значении этого слова, то несомненно, что у них существовали некоторые обрывки идей. Цепляясь за эти обрывки, можно было докопаться до исходного пункта, можно было хотя на время установить бродячую мысль оратора.

Увы! драгоценные обрывки мысли исчезают бесследно, исчезают в виду всех! Бессвязный гул, который издает толпа «легковесных», не только не имеет ничего общего с мыслью, но даже находится в явно враждебных к ней отношениях. Коли хотите, анализируя этот гул пристальнее, вы, конечно, рискуете отыскать в нем нечто похожее на внутреннее содержание, но это внутреннее содержание тем только и отличается от наглой бессмыслицы, что в основе его лежит доходящая до остервенения ненависть к мысли. И тут уже нечего ждать ни суда, ни разбирательства: всякая мысль, каково бы ни было ее содержание, одинаково противна золотнику уже по тому одному, что она мысль, а не похоть, не вожделение. Убеждения самые разнообразные, самые противоречивые уравниваются перед безгранично злобой похотливой легковесности; все они подлежат преследованию и казни потому только, что напоминают о существовании ненавистной мысли.

В противность указаниям теории постепенного совершенствования родов и видов, «легковесный» победоносно доказывает, что существует на свете такой вид человека, который не только чужд закону совершенствования, но даже способен возвратиться к положению первоначальной борьбы за существование. Трудно себе представить человека, который был бы вполне свободен от мысли, который мог бы чувствовать только голод, сгорать только от любострастных желаний и ощущать только физическую боль; однако такой человек существует. Это «легковесный», это герой современности. Он изгнал мысль из домашнего употребления, он свергнул с себя ее тягостное иго и на этой победе основал свое величие. Посмотрите, как он волнуется; как он ловко по временам скользит, лавирует, а по временам и перескакивает через препятствия; как он подставляет ножку другим, подобно ему бесконечно-малым, как он стремится, изгибается, цепляется... Взгляните вперед и вы наверное убедитесь, что там, где-то, вдали, мотается кусок... Вот единственный повод, который заставил вспыхнуть пожаром вожделение в этом легковесном ничтожестве, вот единственная приманка, которая могла пробудить инстинкты его бесконечно-малого существа! Не подходите к нему в это время: он в охоте, он жирует и может укусить.

Я встретился недавно с одним товарищем по школе. Ребенком он был так себе: не слишком фискалил, подсказывал довольно удовлетворительно и даже по временам курил в печку, хотя никогда не попадался. Идя разными дорогами, мы давно потеряли друг друга из виду, как вдруг я узрел его во всеоружии! Оказалось, что он уже имеет прочное общественное положение, что он заказывает платье у лучших портных, что кокотки в его присутствии пламенеют и что в будущем его,



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) несомненно, ожидает блестящая перспектива. Взгляд у моего друга детства был смелый, светлый, но ничего не выражающий, кроме пронзительности; тон голоса твердый и уверенный.

– Какие же, однако, твои цели, мой друг? – спросил я его.

– А ближайшая моя цель – съесть вот этот кусок ростбифа (дело было в ресторане), – сказал он мне и от предположения тотчас же перешел к исполнению.

– Но потом?

Он взглянул на меня, как будто изумился моему любопытству; однако ж ответил:

– А потом – мы выпьем, если хочешь, по стакану доброго лафита!

– Да... но не вся же жизнь тут... Вероятно, есть цели, есть убеждения...

Он опять взглянул на меня, но на этот раз уже не с изумлением, а с строгостью.

– Убеждения, любезный друг? – сказал он мне, – ты говоришь об убеждениях? Так я отвечу тебе на это, что убеждения могут иметь только люди беспокойные и недовольные. Мы – люди спокойные и довольные, мы не страдаем так называемыми убеждениями, а видим и признаем только долг... ты понимаешь – долг! Мы стремимся и достигаем!

Сказавши эти слова, он величественно встал с дивана, кивнул головой буфетчику и вышел из ресторана, не доевшив даже своего завтрака. Я устремился ему вослед, чтобы спросить, что же, наконец, гнусного заключается в слове «убеждение», но он был уже далеко. Я мог любоваться только, как сверкала вдали его круглая, гладкая шляпа и мелькали по тротуару проворные его ноги.

Я уверен, что с той достопамятной минуты он питает ко мне злобу непримиримую и что представься удобный случай – он позабудет все связи прошлого и отомстит-таки мне за свой неудавшийся завтрак.

Но воспоминания увлекают меня. Был у меня и другой товарищ, по фамилии Швахкопф, по ремеслу барон. Специальность его состояла в том, что он ни на одном языке не имел таланта выразиться по-человечески и всем и каждому жаловался, что у него нет в голове никакой «мизль» (мысль). Встречаю на днях и его – тоже чуть не сплошь изукрашен алмазами общественного доверия; тоже – взгляд светлый, смелый, ничего не выражающий, кроме пронзительности; тоже – голос властный, уверенный, способный выражать твердость и непреклонность.

– Ну, что, как наша «мизль»? – спрашиваю я его, по старой, закоренелой привычке.

– Мой «мизль» – нет «мизль»! – ответил он мне с таким уморительным глубокомыслием, что я не вытерпел и бросился его целовать.

Передо мной воскресло далекое прошлое. Мне вспомнилось, как этот добродушный Швахкопф натуживался и потел в поисках за мыслью, как мы, его неразумные товарищи, издевались над этими потугами и, наперерыв друг перед другом, предлагали к его услугам самые изумительные, самые беспримерные мысли. Стало быть, однако, этот человек чувствовал когда-то потребность мысли! стало быть, он сознавал, что без мысли не жить ему на свете! – И вдруг какой страшный переворот! «Моя мысль – нет мысли!» Сквозь какое горнило сугубых гнусностей должен был пройти этот простодушный субъект, чтобы прийти к такому отчаянному афоризму!

Бесстыдство как замена руководящей мысли; сноровка и ловкость как замена убеждения; успех как оправдание пошлости и ничтожества стремлений – вот тайна века сего, вот девиз современного триумфатора! «Прочь мысль! прочь убеждения!» – на все лады вопиет победоносное комариное воинство, и горе тому профану, который врежется в этот сплошной рой с своими так называемыми *idées de l'autre monde!*[7]

Таковы современные властители наших дум.

«Легковесный» встречается всюду, во всех кружках так называемого общества. Вы

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) его можете узнать по наглости взгляда, по искусственной развязности поступи, по плотоядному выражению улыбки, по растленной беззастенчивости речей. Жаргон этой современной *jeunesse dorée*[8] не просто ничтожен, но посрамителен для человеческого слуха. Это какой-то каскад нескладных слов, не соединенных между собою никакою внутреннею связью и возбуждающих в собеседнике не ответную работу мысли, а поползновения похоти.

«Легковесный» ленив, несмотря на свою юркость; неспособен, несмотря на то что за все берется; невежествен, несмотря на то что никогда не краснеет. И за всем тем он успевает. Он нагл и угодлив в одно и то же время и своею открытой враждой к мысли зарекомендовывает себя с наилучшей стороны. С этим скудным запасом он забирает все вверх и вверх, ничего не видя, ничего не понимая, не имея даже никаких целей, кроме самого процесса забирания вверх. «Ты взялся за дело, – говорите вы ему, – но ведь ты понятия об нем не имеешь, ты даже в первый раз услышал об нем в ту минуту, как взялся за него!» Но он не удостоит вас даже ответом на такую речь; он просто посмотрит на вас с своим простодушным бесстыдством, как бы говоря: «Чудак! да разве нужно понимать дело, чтобы браться за него!»

Единственное ремесло, по части которого «легковесный» искусен, – это ремесло подтягиванья, подбирания вожжей и изготовления ежовых рукавиц. Это ремесло простое, не требующее особенной расточительности умственных богатств, но потому-то оно и оказывается по плечу «легковесному». «Подтягивай!», «поддавай!», «держи наготове рукавицы!» – словно волнами несется из легковесного лагеря, и делается вчуже страшно за эту безграничную пустыню, которая так легко передает из края в край всякие бессмысленные звуки!

– Mon cher! – говорил мне на днях один из самых решительных подтягивателей, – mon cher! все это так расползлось, распустилось, что подтянуть следует непременно.

В этой речи нет ни одного слова, которое было бы не праздну, которое имело бы определенный смысл, а между тем вы слышите ее чуть не на каждом шагу. Она говорится одними, подхватывается другими, и вот в воздухе образуется густой столб подтягивательного смрада, смысла которого вы не можете объяснить, но который потому-то и страшен, что к нему нельзя подойти ни с какой стороны. «Ужели Россия – это и есть та самая скотина, которую следует подтянуть?» – с изумлением спрашиваете вы себя.

Но это-то именно и несносно в «легковесных». Очень уж они невразумительны. Говорят всё какие-то заштатные, упраздненные слова, а объясниться по поводу их не могут. Не столько обидно самое предполагаемое подтягиванье, сколько неопределенность угроз и посулов. Неизвестно оружие, неизвестно требование, неизвестно ни время, ни место – все это опутывает каким-то мраком, все поселяет безотчетное опасение. Пронесет или не пронесет? Помилует ли бог или не помилует? – вот трудные вопросы, над которыми мы ломаем многострадальные наши головы и в зависимость от которых становится человеческое спокойствие.

Само собой разумеется, что подобное положение не может быть названо ни особенно блестящим, ни особенно твердым, ни особенно радостным. Трудно себе представить что-нибудь более уродливое, нежели жизнь, составленную от одних подтягиваний! трудно выдумать нигилизм более бессодержательный, нежели этот диковинный подтягивательный нигилизм! Неужто не все уже достаточно подтянуто? Ужели подтягивательная практика не завершила своего цикла?

Нет зрелища более уморительного и в то же время более жалкого, как зрелище «легковесных», когда они примутся рассуждать о принципах. Да, и у них есть принципы, и даже «великие принципы» – excusez du peu![9] что это за «принципы»? – это принципы! что за «великие принципы»? – это великие принципы! – Вот все толкование, которого вы добьетесь в ответ на ваши запросы. Это просто заколдованный круг, в котором подлежащее так же легко ставится на место сказуемого, как и сказуемое на место подлежащего. Это заштатные, упраздненные слова.

– Господа! принципы – прежде всего! – вопиет один «легковесный».

– Господа! надо спасти принципы! – вторит ему другой «легковесный».

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – Господа! надо ясно поставить принципы! – приглашает третий.

«Принцип, принципа, в принципе, о принципе» – так и сыплется со всех сторон и изо всех уст. О тайна российского празднословия! Кто разгадает тебя?

Нам не в первый раз встречаться в жизни с упраздненными словами, не в первый раз томиться под игом их. Не мало таких слов произнесли в свое время каплуны мысли, не мало произносится их в настоящую минуту, не мало предвидится этого добра и в будущем. Но странно, что слова эти час от часу становятся глупее, неожиданнее и даже односложнее. Каплуны размазывали фразисто и угнетали с помощью многоэтажных периодов; теперь мы слышим легковесно-отрывистые восклицания: «поддавай! натягивай! подбирай!» и проч. Ужели в будущем мы осуждены на односложные звуки?

Одна из самых замечательнейших способностей «легковесного» – это способность проникновения. Он не изобретателен, не глубокомыслен, не обладает познаниями, и, при всем том, нет профессии, в которую не забрался бы этот духовный недоросль и в которой не оставил бы он легкой погадки. Готовность и развязность заменяет ему всевозможные качества; он ни над чем не задумывается, ни перед чем не останавливается и неуклонно стопой шествует в храм славы с единственной целью сневежничать в нем. Существуют легковесные публицисты, легковесные романисты, легковесные администраторы, легковесные экономисты, моралисты, финансисты и т. д. Сколь разнообразны вольные художества в Российской империи, столь же разнообразны и профессии легковесных.

Призовите «легковесного» и велите ему написать роман на тему: «Она приподняла подол»; он настроит двадцать печатных листов и ни разу, на всем пространстве этой трудной, многострадальной путины, не сойдет с своей темы. Он не засмотрится в сторону, не увлечется ни умом, ни добродетелями своих героев; он исполнит заказ в точности, и когда принесет свое произведение, то вы, не читав его, уже почувствуете, что от него пахнет подолом.

Призовите «легковесного» и велите ему написать курс астрономии на тему: «Пускай астрономы доказывают» – он и это исполнит в точности. Он докажет, что существует на свете даже астрономия легковесная, в силу которой солнце восходит и заходит по усмотрению околоточных надзирателей, и когда принесет свое сочинение, то вы, не читав его, почувствуете, что от него пахнет будкою.

Он докажет, что можно быть администратором на тему: «По улице мостовой», финансистом – на тему: «Нет денег – перед деньгами», экономистом – на тему: «Бедность не порок», моралистом – на тему: «Избраннейшие места из сочинений Баркова». Нет для него недоступного, нет той трудной задачи, которую бы он не растлил легковесностью.

Это качество считается у нас драгоценным; на него указывают как на вернейший залог того, что русская земля не оскудеет деятелями. Без сведений, без приготовления, с одною развязностью, мы бросаемся в пучину деятельности, тут таянем, там ляпнем... И вот, при помощи этого бесценного свойства, в целой природе нет места, в котором бы мы чего-нибудь не натяпали!

Полюбуйтесь, как играет на солнце эта разноцветная мошкара. Ни на мгновение она не остается спокойною, но все кружится, все жужжит. Если вы думаете, что это мошкара празднующая и бездельничествующая, то ошибаетесь; нет, это мошкара подвижничествующая и занятая, это мошкара, без усталости безлепствующая на тему: «По улице мостовой» и неуклонно морализирующая на тему: «Она приподняла немного подол». Поймите, сколько должно быть у нее труда и забот! И какие потребны нечеловеческие усилия, какой нужен кропотливый надзор за собою, чтобы ни разу в продолжение целой жизни не промолвиться ни одним живым делом и не отступить ни на волос от заказной темы!

И после этого выискиваются огорченные субъекты, которые позволяют себе уверять, что у нас недостаток в деятелях! Помилуйте! да у нас их такое обилие, что если всех спустить с цепи, то они в одну минуту готовы загадить все наше будущее!

Пойдите во всякое время на Невский проспект – как они шаркают и гремят, как пронзительно испытуют пространство, как гордо несут свои головы! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущего!

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) Загляните в Михайловский театр во время представления «La Belle Héléne» – как они стонут, как плещут руками, как визжат при малейшем неосторожном движении, обнажающем корпус г-жи Девериа! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущего!

Прислушайтесь к жужжанию наших литературных захоlustьев – как они клеветают, как развязно формулируют всевозможные обвинения! Кто эти «они»? Это они, это строители нашего будущего!

Везде, где пахнет разложением, где слышится растленное слово, – везде «легковесный» является беспримерным трудолюбцем и неутомимым строителем будущего.

Ужели и сего не довольно? Ужели мы имеем повод опасаться, что Русь когда-нибудь оскудеет деятелями?

Нет, этого не будет. Родник, который источает нам «легковесных», так богат ключами и бьет такой сильной струей, что нет ни малейшего повода ожидать, чтоб он когда-нибудь истощился. Это правда, что «легковесные» – плотоядны и в этом качестве охотно поедают друг друга, но, с другой стороны, их наготовлено так много и сами они так легко зарождаются, что возлагать какие-либо упования даже на их плотоядность было бы величайшею опрометчивостью.

Нет никакого сомнения, что один порядочный мороз может разом погубить бесчисленное множество комаров; но это не дает права надеяться, чтобы комариный род изгиб на веки веков. Увы! достаточно одного пасмурного, влажного дня, чтоб воинство восстановилось во всем своем составе, и даже более полным и сильным, нежели когда-либо. Что нужды, что это будут иные, новые комары – все-таки это будут не орлы, а комары, и интересоваться тем, как называются они по имени и отчеству, может только праздное любопытство.

Так точно и «легковесные». Они могут временно пропасть, но изгибнуть не могут. В ту самую минуту, когда вы считаете воздух навсегда очищенным от них, они уже где-то зарождаются, где-то зыграли, где-то роятся. Еще мгновение – и они уже носятся по полям и оврагам, они брыкаются и кусают, и победоносно гремят неизменную песнь о подтягиванье, которую повторяет за ними тысячеустое эхо...

#### ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Один из самых характеристических признаков современности – это совершенно особенное положение литературы в русском обществе. С некоторых пор наше общество до того развилось и умудрилось, что уже не оно руководится литературой, но, наоборот, литература находится у него под надзором. Завелись соглашения, наблюдатели, руководители и вдохновители, но более всего развелось равнодушных, которых нельзя подкупить ни приятным словом, ни даже талантливостью, и в глазах которых литература есть одна из тех прискорбных и жалких потребностей, которые, подобно домам терпимости, допускаются в обществе как необходимое зло.

Было время, когда литература заявляла претензию на монополию мысли – это, конечно, было с ее стороны несколько затейливо; но, по крайней мере, затейливость эта ставила звание литератора на известную высоту. Нынче на литературном рынке оказывается так много продающих и так мало покупающих, что прежние высоты у всех на глазах превращаются в несомненнейшие низменности, а бывший горделивый монополист мысли все больше и больше приобретает отличительные качества зайца.

Каких-нибудь четыре, пять лет времени – а как многое изменилось! Сколько умолкло, сколько поникло головами! Сколько, напротив того, выползло на свет божий таких, которые и не надеялись когда-либо покинуть те темные норы, в которых они бессильно злоумышляли!

Не подлежит никакому спору, что ремесло русского литератора вообще не может похвалиться блестящим прошедшим. Мы все еще помним то время, когда мысль находилась под гнетом столь несомненных ограничений, что читателю потребно было не мало усилий и изворотливости, чтобы победить ту темноту и запутанность выражения, на которую осуждено было слово. Это было, конечно, не поощрительно, но, по крайней мере, писатель того времени знал, что у него есть публика, которая ищет его понять, знал, что нет в России того захоlustья, в котором бы не

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) бились молодые сердца, не пламенела молодая мысль под впечатлением высказанного им слова. Быть может, это была случайность, но случайность, во всяком случае, благоприятная. Вспомним Грановского, Белинского и других, которых имена еще так недавно сошли со сцены; вспомним то движение мыслей и чувств, которому было свидетелем современное им поколение, вспомним увлечения, восторги, споры... Вспомним все это и, взирая на современное умудрившееся общество, скажем: да! увлечения бесплодны, увлечения легкомысленны, увлечения больше всего преждевременны!

Современный литератор всего меньше «властитель дум», современный литератор – это пария, это почти прокаженный. Это существо забитое, вечно жмущееся к стороне; существо, коснеющим языком и с бесконечными оговорками сознающее в своем ремесле. Его терпят, на него смотрят с снисходительным состраданием потому единственно, что литература в целом мире признается как одна из функций общественного бытия. Известно, что когда общество создается, то в основание его, по заведенному порядку, полагается множество разного рода материалов, из коих одни должны служить краеугольными камнями, другие – орнаментами. Предполагается, что общество не может существовать без благоустройства и благочиния, без народного продовольствия и народной нравственности, без справочных и сложных цен (сии суть краеугольные камни), но, с другой стороны, невозможно также допустить, чтоб общество могло обойтись без наук и искусств (сии суть орнаменты). План начертан и апробован, и не исполнить его нет никакой возможности. Этот план, разделенный на множество клеток, включает в каждой из них либо краеугольный камень, либо орнамент, причем строжайше наблюдается, дабы камни не смешивались ни между собою, ни с орнаментами, так как подобное смешение может нанести ущерб отделке плана. Заключенный в свою клетку, со всех сторон окруженный краеугольными камнями, что может совершить бедный, беспомощный литератор? на какие подвиги он может отважиться?

Очевидно, что подвиги эти не могут быть ни особенно интересны, ни особенно разнообразны. Как бы мы ни украшали клетку, все же из нее ни под каким видом не выйдет вселенной; как бы мы ни уподобляли поэта или публициста, сидящего в клетке, орлу парящему или соловью, в трелях изнемогающему, все же это будет только орел или соловей, то есть в обоих случаях птица, которой и свойственны подвиги птичьи, а не человеческие.

Но это – то несомненно и имелось в виду при устройении общества по предначертанному плану. Предполагалось, что каждая клетка сохранит свою чистоту во всей ее первобытной беспримесности; что поэты, отнюдь не прикасаясь к краеугольным камням, будут воспевать красоты природы, поздравлять с именинами и писать мадригалы, акrostихи, триолеты и буриме, прозаики же, ораторы и публицисты предъявят образцы недерзостного красноречия с оттолчкой (одно из соловьиных колен) и усугублением. Затем общество, с своей стороны, за каждую удачную оттолчку, за каждый ловко скомпонованный триолет будет жаловать по двугривенному. Понятно, что задуманная в таком виде клетка литературы и искусств не могла изображать ничего иного, кроме клетки, из которой слышалась по временам трель соловья, а по временам свист скворца. Но, с другой стороны, общество, платившее по двугривенному за мадригал, также не могло не заметить, что, как ни приятны для слуха оттолчки, усугубления и трели, но, во всяком случае, они далеко не столь увесисты, как те бульбунчики, кои именуются краеугольными. Спора нет, хорош триолет:

Лизета – чудо в белом свете... – но, в сравнении с «учреждением губернских правлений», он далеко не выдерживает даже снисходительной критики. Смекнув это, общество, естественно, пришло к заключению, что ремесло поэта, оратора и публициста есть ремесло пустое и легкомысленное, необходимое лишь для наполнения праздной клетки, во всех же других отношениях бесполезное.

Этот взгляд на литературу до такой степени укоренился в обществе, что и до сих пор большинство его очень неподатливо на уступки в этом смысле. В сущности, большинство цивилизованное и большинство нецивилизованное разнятся на этот счет очень немного. Если нецивилизованная толпа называет литератора «физиком голландским», то толпа цивилизованная видит в нем нечто вроде трактирной арфистки, вечно голодной и потому вечно и умиленно кривляющейся. Это его существенное назначение, это девиз той клетки, в которую он посажен, и, покуда он не выходит за пределы этого девиза, покуда он поздравляет, акrostишествует и изнемогает в трелях, толпа терпит его и даже смотрит на его эквилибристические

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
усилия с сострадательною благосклонностью.

Но за пределами девиза начинается ненависть.

Бывают такие минуты в жизни обществ, когда краеугольные камни вдруг приходят в движение и перемешиваются как бы под влиянием волшебства. Для орнаментов это моменты самые опасные и соблазнительные, и благоразумнейшие из них именно так и взирают на это дело. Они еще глубже забиваются в клетку и все старания свои употребляют на то, чтобы как-нибудь пропеть совсем по-соловьиному. Не так бывает с орнаментами юными и неопытными: они не понимают опасности и прельщаются только соблазном. Видя, что большинство краеугольных камней сдвинулось, они уже ни о чем больше не думают, а открыто присоединяют свои голоса к хору обывательских голосов, празднующих победу. Странное зрелище являет тогда природа: птицы, простые, ошипанные птицы начинают изрекать человеческие глаголы, тыкают носами в кучу и извлекают оттуда не червей навозных и прочую благопотребную снедь, а какие-то вопросы! Можно себе представить, какое действие производит это зрелище на толпу, при укоренившемся в ней убеждении о бесполезности и негодности птиц ни к какому разумному делу!

Надо сказать правду: способность петь по-соловьиному и парить по-орлиному является здесь как нельзя более кстати. Никогда, никакой хор цивилизованных подьячих не пропоет с такою ясностью песенки о значении того или другого краеугольного камня, с какою сделает это любой птице-литературный хор. Там, где подьячий недоумевает и путается в приискивании надлежащих формул, птица-литератор не только отыскивает самую суть булыжника, но тут же начертывает и образ, который наиболее для этой сути приличествует. Это последнее качество в особенности повергает толпу в беспредельное изумление. Толпа всегда и везде лицемерна; она сидит, крепко уцепившись за свои булыжники, и, закрывшись ими, как щитом, думает, что, исполнив этот обряд, она исполнила все, что предписывается законами ходячей нравственности. Сверх того, она убеждена, что ее никто не видит. И вдруг выискивается целый хор лиходеев, который бесцеремонно проникает в самое капище нашего потаенного разврата, который делает подробный инвентарь нравственному хламу, накопившемуся на дне капища, и, совершив все это, начинает беззастенчиво взирать на нас теми самыми глазами, которыми мы, и только мы одни, взирали на себя в те редкие минуты, когда в нас пробуждалась совесть. И кто же эти лиходеи? Кто эти бесстрашные исследователи нашего домашнего хлама? Это птицы, простые, ошипанные птицы!

Толпа протирает глаза и не может прийти в себя. Ей некоторое время кажется, что она слышит все те же поздравительные стихи, но только в новой, не совсем привычной для нее форме. Это время для птиц самое льготное. Они щелкают, заливаются и свистят на все лады и на всей своей воле; они оперяются – оперяются, вспархивают, машут крыльями и вдруг взмывают вверх, очаровывая зрителей смелостью полета и обширностью описываемых в воздухе кругов. Ничто не удовлетворяет их: ни конопляное семя, ни манная каша, ни жеваный хлеб; «мало! еще!» – свистят они, разыгравшись. О, незабвенное зрелище! о, сладкие минуты птичьих надежд!

Но вот в толпе начинается говор и слышится сдержанный ропот. Ее будущее казалось так светло – и вдруг она усматривает в нем только птиц, без толку наполняющих воздух щебетанием. Она начинает совещаться, переговариваться и злоумышлять; она знает, что птицы бесхитростны и беспечны, что они никогда не умели отличить корм вольный от корма, рассыпанного кругом силков. В надежде на эти птичьи качества, она ждет...

И действительно, случайно напущенный птицами мрак мало-помалу рассеивается, и свет снова и безвозбранно вступает в права свои. Случая, простого случая достаточно толпе, чтобы по-прежнему занять те позиции, с которых она была временно сбита. И чем дряннее этот случай, тем радостнее хохочет толпа, тем неистовее плещет руками. «Птица-то! птица-то! смотри, какого напустила туману!» – вопиют современные фарисеи, все еще ощупывая себя и не веря глазам своим, что бока у них невредимы.

– Ату его! ату-у-у-у! – вдруг раздается победный глас по всей линии.

С той минуты, как раздался этот зловещий клик, скоротечное торжество литературных птиц уже кончилось. Захваченные врасплох, светозарные одежды падают

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сами собою, и перед изумленными взорами любопытствующих предстоит простая птица, в том виде, в каком она должна быть в самый цветущий период линяния, с слегка пораженной головой и с надломанными крыльями. «Ты не оправдал моего доверия! ты злоупотребил моим добродушием!» – тычет в укор толпа, и как ни темно подобное обвинение, но на сей раз обыватели достаточно остроумны, чтобы не только постичь его, но и развить во всей ужасающей полноте.

Нет ничего горчее и в то же время нет ничего комичнее, как положение бедной, ощипанной птицы, которую упрекают в том, что она не оправдала доверия.

– Помилуйте! да я кружился, играл... я... – лепечет смущенный зяблик-литератор.

– Врешь! ты не оправдал моего доверия! ты злоупотребил моим добродушием! – продолжает кричать толпа, не внемля никаким оправданиям.

И вот, на помощь этой толпе, из самой среды зябликов, отделяются опытные охочие птицы и помогают управиться с злополучным пернатым воинством. «Мы не литераторы, – кричат они бойко и весело, – мы не имеем с литературой ничего общего! Мы пели и свистали в то время, когда литература сочиняла поздравительные стихи; теперь же мы просто благонамеренные обыватели, приобретшие некоторую опытность в формулировании обвинений!»

Для толпы подобные охочие птицы – сущий клад. В самом деле, возьмите любого из наших обывателей; пойдите во всякое время на Невский проспект и отделите от этого празднующего стада какого хотите субъекта, – что вы получите? – вы получите извозчика по убеждениям, извозчика по развитию, извозчика по надеждам и стремлениям! Какое дело извозчику до литературы, до умственного труда вообще? Может ли интересовать его что-нибудь, находящееся вне самого простого брюшного материализма? Могут ли эти первоначальные организмы, эти сектаторы брюхопоклонничества, чем-нибудь тревожиться, особенно в те ликующие минуты, когда двери ресторанов открыты настежь, а камелии и кокетки так и шмыгают по торцовой мостовой? Ежели они и подозревают, что в движении мысли скрывается нечто для них злобное, то подозревают это смутно, формулировать же и даже изглаголовать свои опасения не могут. Понятно, как кстати являются тут на выручку охочие птицы. Иные из них за двугривенный, другие – просто за сладкий пирожок, одни – с сугубым ехидством, другие – просто по неведению, но, в окончательном результате, каждая и во всяком случае может подать деловой совет, каждая укрепит и наставит, каждая сумеет сформулировать против чего угодно и какое угодно обвинение.

И вот начинается спешная и деятельная работа; охочие птицы устраивают гласные и негласные гнезда и, засевши в них, с прилежностью и азартом приступают к делу обстреливания литературы...

. . . . .

Но отвратим взоры от этого плотоядного зрелища и спросим себя: ужели в самом деле двугривенный или сладкий пирожок имеют столь значительную внутреннюю ценность, чтобы за сию мзду стоило отдавать на поругание дело мысли?

И виновата ли мысль в том, что она не останавливается, что она обладает способностью проникновения, что она ищет постичь и усвоить себе явления жизни?

Или забыты все предания? или понятия о литературной честности и приличиях до такой степени упростились, что нет более ни препятствий, ни преград для подвигов благоустройства и благочиния?

Ужели и с каких именно пор мысль приобрела свойства разрывной бомбы? Ужели, не шутя, от нее следует ожидать не обновления, а обветшания и смерти общества?

Ужели, наконец, охочие люди не понимают, что, ругаясь над мыслью, отдавая ее на пропятие, они косвенным образом ругаются над самими собою, ибо и они, хоть в прошедшем, хоть в детски-поздравительных формах, а все-таки были причастны делу мысли?

Ужели все это не сказка, не безобразный сон, а горькое свидетельство голой действительности?

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Но будем снисходительны к двугривенному; эта монета, хотя и малая, все-таки доступна для понимания, ибо представляет собою известное число фунтов хлеба. Для здорового соглядатая, которого желудок снабжен жерновами, требующими непрерывной работы, и который, сверх того, обязан моционом, это обстоятельство очень важно. Бедность и сила аппетита одни могут в этом случае определить меру человеческих подвигов, одни могут провести ту черту, за которую начинается вменяемость. Но что сказать о тех износившихся, но сытеньких старичках, которые каверзничают и предают из-за сладенького пирожка? Ужели они не понимают, что у них даже зубов нет, чтобы съесть этот лакомый кусок?

Повторяем, толпа не имеет надобности в обвинительных органах – их в достаточном количестве выделяет сама литература. Подвижники этой нового рода благонамеренности в совершенстве понимают свое ремесло и приступают к нему с осмотрительностью и знанием дела, заслуживающими лучшей участи. С одной стороны, они вполне знают, чего именно хочет толпа и какого рода обвинения соответствуют мере ее роста; с другой стороны, им небызвестны и некоторые провинности литературы, которые, будучи приведены в соответствие с ростом толпы, могут дать пищу свойства несомненно уголовного. И так это удобно устроивается, что толпе остается только изрекать приговоры и приводить их в исполнение.

Насытившись зрелищем поднимания ног, посрамивши слух соответствующую беседу, толпа любит поговорить о нравственности, о том, какой она представляет важный рычаг в обществе и как она в особенности необходима... в простом классе.

– Для них ведь это одно утешение! – мудрствует один.

– Не столько утешение, сколько узда! – изрекает другой.

– И утешение-с, и узда-с! – решает третий.

Что нужды до того, что рассуждения эти своею азбучностью напоминают знаменитое изречение Подколесина: «да, брат, жениться – это не то, что: эй, Иван! сними сапоги!» – охочая птица очень хорошо понимает, что хочет толпа, что она хлопочет собственно об охране нравов... в простом классе! и, сметив это, спешит обвинить литературу в безнравственности.

Наругавшись до отвала над русским именем и у себя и за границей, наговорившись всласть о безнравственности, невежестве и грубости русского мужика, толпа охотно предается на досуге словесным излияниям о сладостях патриотизма, о том, как это чувство возвышает душу и как, в особенности, необходимо развивать его... в простом классе.

– О родина святая!

Тебя я вижу вновь! –

гремит цивилизованная толпа, кстати припомнив куплет из водевиля «Матрос».

– A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère! – вторит хором другая, такая же цивилизованная толпа.

– Да-с, для них-с, для этих sauvages![10] – это единственная узда-с! – решает какой-нибудь нищий духом, исправляющий на время должность мудреца.

Охочая птица слышит это и начинает уразумевать, что толпе почему-то желательно распространение патриотических чувств... в простом классе. Не ясно ли, что тут как нельзя более кстати обвинить литературу в пропаганде космополитизма?

Изворовавшись вконец, изнемогая под бременем неправых стяжаний, толпа с удвоенным удовольствием беседует о сладостном чувстве собственности, о том, что в нем заключается единственное твердое основание всякого общества, о том, как грустно, как неутешительно, что такое высокое чувство так мало укоренилось... в простом классе.

– А ведь это единственная узда! – вещает общественный мудрец, в арсенале которого, по-видимому, накоплено столько узд, что ими легко можно взнуздать целую вселенную.

Охочая птица, сейчас только получившая двугривенный, конечно, не может не разделять этих сожалений. Опасаясь за целостность своей подачки, она трепещет,



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) волнуется, негодует. Результатом этих волнений оказывается обвинение в неуважении к собственности и в распространении пагубного коммунизма.

Нужно ли продолжать этот перечень плодов досуга толпы и тех напастей, поклепов и обвинений, которые возникают из них для литературы?

Каждая новая минута приносит новое обвинение, новую кляузу на голову бедной литературы! Устрашенные и убежденные, брюхопоклонники роют копытами землю, сверкают глазами, скрежещут зубами и показывают кулаки.

– Га! – урчат они, – так вы вот как! так-то воспользовались вы нашим доверием! вы хотели посягнуть на священные принципы семейства и собственности! вы хотели отдать на поругание святое пламя любви к отечеству! так мы же сумеем поставить вас в надлежащие границы! сумеем привести к одному знаменателю.

И затем наступает эпоха приведения литературы к одному знаменателю, которая собственно и составляет наш золотой век наук и искусств.

– Куда исчезли таланты? – спрашивают уцелевшие там и сям ревнители литературы. – Приведены к одному знаменателю. – Куда девалась бодрая и смелая русская мысль? – Приведена к одному знаменателю. – Куда скрылось живое, образное русское слово? – Приведено к одному знаменателю! И что это за прелестное, для всех одинаково ясное выражение! С какою простотою оно устраняет все возражения, разъясняет все сомнения!

Журналы, бывшие некогда проводниками и возбудителями русской мысли, хиреют и чахнут; те редкие книги, какие появляются, свидетельствуют о полнейшей несамостоятельности русской мысли.

Пристыженный и сконфуженный, писатель сам начинает сомневаться: не обманул ли он и впрямь доверия публики? Действительно ли было дано ему это доверие и на что уполномочивался он им? Оказывается, что доверия никакого и никогда не было, что ежели он одно время кружился и взмывал, то это было просто дело случая – и ничего больше. Откуда же эти упреки? откуда это злобное урчание? В виду всякого рода западней и ловушек писатель невольно стусевывается, изменяет прежней искренности, делается робок, не знает, на какую ногу ступить. Что ни шаг, то улика; что ни слово, то подвиг благочиния. Поневоле мысль теряет всякую бодрость и, в отчаянье, даже пробует стать на стезю рутини. Но здесь новая неудача: рутиня поражена смертью, рутиня противна; нет средств приступить к ней, не рискуя наложить руку на собственную свою деятельность. Что ж остается? остается проникнуться теми отличительными свойствами зайца, о которых говорено выше.

Но чем смиреннее становится бедный писатель, чем запутаннее и робче выступает его мысль, тем обширнее представляется поле для подозрений и инсинуаций. У брюхопоклонника, между множеством постыдных слабостей, есть одна очень пагубная – это убеждение, что он хитер и что его не проведешь ни под каким видом. Это общая слабость людей недалеких и неразвитых, которые весьма часто, задавшись подобною мыслью, поступают наперекор не только здравому смыслу, но и собственным своим выгодам. Одержимый опасением, что его хотят надуть, брюхопоклонник заранее видит во всяком писателе человека, начиненного разрывным составом, и ежели ему докладывают, что писателей больше нет, а есть быстроногие зайцы, то он совершенно основательно возражает: «эге! меня, друзья, не проведешь! я-то ведь очень хорошо понимаю, что все это львы, инкогнито жуирующие в маскараде под личиною зайцев!» Затем никакие дальнейшие уверения ни к какому результату привести не могут.

И снова начинается поставление в надлежащие границы, снова проповедуется теория приведения к одному знаменателю, подкрепляемая, для большей убедительности, теорией ежовых рукавиц, теорией макаров, где-то телят не гоняющих, и ворон, куда-то костей не заносящих...

Казалось бы, при такой обстановке, давно бы сгнуться и пропасть следовало – так нет! Есть какая-то нелепая живучесть в этом постылом литературном ремесле, есть в нем нечто такое, совершенно неуловимое и необъяснимое, что так и манит вперед и вперед, как манит какого-нибудь прохожего праздная куча народа, собравшегося на мосту. Продирается бедняга сквозь толпу; мнут ему бока, обзывают нелегкими именами... и вот он, наконец, у цели! Смотрит вниз, а там вода и на поверхности ее – пузыри!

Зачем он шел?

Да; никогда еще литература не была так принижена, так покинута, как в настоящее беспутно-просвещенное и бесцензурное время. «Довольно!» – кричат со всех сторон общественные мудрецы, и такова решительная сила этого оклика, что никому не приходит даже на мысль отнестись к нему без внимания.

– Да помилуйте же! – могут нам возразить, – что же читать? чем увлекаться? Старые литературные силы подорвались сами собою, новых, свежих талантов не нарождается – не поощрять же литературу из-за того только, что тут примешалось название литературы!

Совершенно справедливо; литература действительно обновляется слабо и медленно; она не представляет в настоящую минуту ни особенно сильных деятелей, ни увлекающих толпу талантов. Но не оттого ли происходит это, что в публике исчез даже самый вкус к литературе? не оттого ли, что публика все предпочтения свои направила совсем в другую сторону, едва ли не совершенно противоположную интересам и сущности литературного дела?

Вспомним сороковые годы; вспомним, что и тогда литература наша, с формальной стороны, была далеко не в белом теле, что тогда даже существовали для нее такие ограничения, которых теперь и в помине нет, – и что же? она все-таки делала свое дело; не чувствовалось недостатка в деятелях, слово не было поражено бессилием и вялостью, мысль работала и протеснялась наружу, несмотря на непрерывную цепь силков. Отчего же в то время мог существовать подобный факт? А оттого, милостивые государи, что публика относилась к литературе сочувственно, и, ввиду этого сочувствия, бессилие поражало не литературную профессию, а те ограничения, которые были против нее направлены. Нет сомнения, что это же сочувственное отношение публики обуславливало и появление новых литературных деятелей, ибо деятели не нарождаются внезапно, но появляются или не появляются в прямом соответствии с запросами публики.

Ныне ограничение, даже сравнительно слабое, падает на писателя двойным гнетом: во-первых, как ограничение, а во-вторых, как предмет издевок и потех для разгулявшейся публики. Писатель в беде! да это такое лакомое увеселительное зрелище, с которым может разве сравняться зрелище канканирующей «Belle Hélène».

– А посмотрим, как-то ты теперь запоешь! – урчат одни расхолодившиеся брюхопоклонники.

– Посмотрим, как-то ты станцуешь? – вторят другие.

– Поджаривай его! поджаривай! – вопиют третьи.

Согласитесь, милостивые государи, что при подобных поощрениях может быть речь только о самосохранении, а отнюдь не о новых литературных подвигах.

Нередко случается слышать, что современному обществу не до литературы, что внимание его поглощено интересами иного, высшего рода, что оно устраивается и собирается, что в нем беспрерывно становятся на очередь вопросы, разрешение которых, по необходимости, стоит на первом плане, так как с этим связано обеспечение будущей организации общества.

Похвально. Никто не будет спорить, что ежели общество занято устройством своего будущего, что ежели думы его направлены к тому, чтобы начавшееся в этом смысле движение не осталось, по его беспечности, бесплодным, то само собой разумеется, что интересы литературного дела должны... но нет! почему же, однако, они должны отойти на второй или, лучше сказать, на последний план? Почему же литературе не сказать и свое слово об этих иных, важных интересах, которые занимают общество? Почему участие ее в этом деле признается излишним и чуть ли не вредным? Почему уровень мысли литературной считается более низменным, нежели уровень мысли обывательской? Вот, милостивые государи, те вопросы, на которые естественно наталкивается мысль и которые мы охотно предлагаем вашему премудрому разрешению.

С своей стороны, следуя указаниям простого здравого смысла, мы имеем некоторое основание думать, что участие литературы не только не должно мешать обществу в

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) его заботах об организации, но даже способен оказать ему существенную в этом смысле помощь. Обыватели вообще легко успокоиваются; нередко случается даже, что они хватаются за свалившуюся к ним с неба манну для того единственно, чтобы приобрести в ней приличный предлог для успокоения. «Ах, как мы заняты! даже пот градом льет!» – охотно повествует обыватель, изыскивая тысячу хитросплетенных маневров, чтобы скрыть от слишком любопытных взоров, что он занят совсем не делом, а успокоением. И затем, выставивши однажды напоказ свои труды и заботы, утвердивши между всеми брюхопоклонниками свою репутацию трудолюбца, он уже не стесняется постановкой дальнейших вопросов, вроде нижеследующих: «да помилуйте, до того ли нам!», «да увольте! разве вы не видите?» и т. д.

Занятие, заключающееся единственно в тревоге о занятии, труд, заключающийся в заигрывании с трудом, – вот та сладкая, неоцененная штука, к которой искони стремится обыватель всеми силами души своей. Это счастливейшее из всех возможных разрешений той неразрешимой задачи о вечном, невозмутимом покое, которая с детства составляла предмет его пламеннейших мечтаний. Если я сегодня, ложась на ночь, в блаженном самодовольстве восклицаю: «Господи! что за время! что за тревожное время! и сколько предстоит впереди труда!» – то кто же может воспретить мне и завтра, ложась на ночь, предаться подобным же блаженным восклицаниям? Таким образом игра в труд может продлиться бесконечное время, и труда все-таки не будет. «Устраиваемся! организуемся! хлопот полон рот! занятий по горло!» – вот твердокаменная крепость, неприступнее которой даже гению Вобана изобрести трудно. Подите, вытаскивайте оттуда обывателя, однажды как он забрался в нее! Кто обладает клещами достаточно для того цепкими? Кто может совершить такой подвиг?

Этот подвиг способна и может совершить одна литература. Там, где обыватель только тревожится и сомневается один на один с самим собою, литература формулирует свою мысль ясно и во всеуслышание; там, где обыватель видит только предлог, чтобы поплотнее вылежаться, литература усматривает возможность дальнейшего движения и развития и указывает на нее. Что в силах совершить разрозненные, полусонные единицы, ежели у них нет арены, на которой могла бы свободно выработываться общая руководящая мысль? Что могут эти единицы даже в том случае, если у них и есть такая арена, но арена односторонняя, зараженная ненавистью, нетерпимостью и исключительностью? Очевидно, что им будет предстоять только без конца восклицать: «Господи! сколько дела! сколько дела!» Но ежели между ними найдутся люди добросовестные, то они наверное к этому восклицанию прибавят: «и ничего-то ведь я не делаю, ни к чему-то не приступаюсь, да и приступиться, признаться, не могу!»

Таким образом, отсутствие руководящей мысли, бедность и недостаточность разработки, боязнь анализа – вот совершенно достаточные причины для объяснения того повального равнодушия, которое точит наше общество даже относительно самых близких ему интересов. Да; не к одной литературе безучастно наше общество, но и к тому делу организации, о котором оно так беспрерывно и надоедливо толкует. Скажем больше: очень может статься, что и литературу постигло общественное равнодушие именно потому, что область, которую постепенно захватывает последнее, сделалась до того несоразмерно обширною, что в нее неминуемо попадает все встречающееся на дороге. Говорят, что старые порядки слишком туго поступаются, что горячая деятельность в этом тугоуступленном была бы равносильна устраиванию бури в стакане воды, что самолюбию обывателя нелестно устраиваться там, где уже все устроено без него, и т. д. Но где же, однако, видано, чтобы старые порядки поступались щедро и даже помимо заявлений обывателей? Где видано, чтобы прекрасная пословица «по Сеньке шапка» прилагалась наоборот? Где найдется пример, чтобы прежде устраивали шапку, а потом прилаживали к ней Сеньку? Очевидно, что ничего подобного нигде не видано и не слыхано, что оболванивать Сеньку по шапке противно даже всем правилам человеколюбия. Очевидно также, что все эти объяснения причин общественного индифферентизма суть не что иное, как недобросовестные извороты, направленные к защите чего-то другого, в чем нам неудобно всенародно сознаться.

В сущности, мы защищаем одно – нашу исконную беспечность и праздность. В этом заключается вся загадка нашего бессознательного индифферентизма, все объяснение, почему этот индифферентизм, относительно литературы, возвышается по временам до ненависти. Но даже и эта ненависть не может претендовать на название силы, несмотря на то что иногда она действует бесспорно язвительно. Это просто-напросто сила бессилия.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Теперь понятно, почему нам так противна литература. Она претит нам потому, что ей самой, как представительнице мысли, противно наше умственное бессилие, наша праздность, наши со дня на день оттягаемые посулы деятельности. Мысль не может иметь в глазах наших особенной привлекательности уже по тому одному, что, забравшись однажды в голову, она тревожит и понуждает. «Буря в стакане воды!» – да ошибемся же хоть раз правдою и ответим искренно: сами-то видим ли мы что-нибудь далее этого стакана? И можем ли мы, по совести, отрицать, что этот стакан воды не есть единственное, внутреннее море, которое доступно нашим силам и нашему кругозору?

Литературное ремесло окажется еще более невыгодным, ежели мы примем в соображение, что в понятии толпы слово «литератор» есть не что иное, как глухой псевдоним. Толпа, вообще и везде, не отличается прозорливостью; она с трудом отличает друзей от недругов и в большинстве случаев даже не понимает, каким образом между ею и литературой могут образоваться отношения доброжелательные или злокозненные. У нас это явление обнаруживается в формах еще более ярких и решительных. У нас и так называемая цивилизованная толпа не всегда умеет определить физиономию писателя, даже если б он пользовался и известностью, и ее благоволением (конечно, мы говорим здесь о массе общества, а не о тех газетно-журнальных ищейках, которые вникают в деятельность писателя даже сверх необходимой пропорции).

Но это было бы еще не важно, если б недостаток проницательности касался исключительно личности того или другого писателя; это было бы только прискорбно для его самолюбия – не больше. Но очевидно, что тут идет речь совсем не о личности писателя, а именно о мысли, которой эта личность служит представительницею. Очевидно, что тут прежде всего не понимается мысль, а затем уж утопает в тумане и физиономия писателя. Спрашивается: возможно ли, при такой туманности представлений, ожидать преданного отношения к мысли? возможно ли надеяться, чтоб общество когда-нибудь заявило о своей устойчивости в интересах мысли?

Первое естественное последствие такой шаткости отношений обнаруживается в том, что писатель, не имея в виду данных для определения, к кому именно обращается его слово, почти всегда действует наудачу. Может случиться, что слово это падет на почву добрую и возрастит плод добрый; но может случиться и так, что слово падет в навоз и возрастит крапиву. Тут, стало быть, уж не до прозелитизма, когда дело идет об отсутствии даже той простой понимающей среды, без которой деятельность писателя есть деятельность, вращающаяся в пустоте. А второе естественное последствие вот какое: когда писатель, случайно или не случайно, подпадает опале общества, когда его настигает невзгода, то тут уж не только нет речи о друзьях или недругах, но просто-напросто все обыватели безразлично сливаются в один хор и все едиными устами вопиют: ату его! крепче! крепче! вот так! И таким образом выходит, что человек сей, который наивно мнил, что защищает чьи-то интересы, отстаивает чье-то человеческое достоинство, нередко оказывается переее всего поруганным от своих естественных клиентов!

Результат нежеланный, но далеко не столь неожиданный, чтоб его нельзя было предвидеть заранее.

Торжество силы еще отнюдь не утратило, в глазах толпы, решительного своего влияния. В сущности, ей очень мало дела до внутреннего содержания торжества; ей нравятся его внешние декорации, ей нравится тот блеск и шум, которыми, по принятому обычаю, сопровождаются всякие потоптания, подавления и поругания. Труба трубит, штандарт скачет, а затем Гарибальди или Франциск въезжает в Неаполь – толпа одинаково зевает, одинаково плещет руками. Но ежели уже в этих, так сказать, парадных случаях толпа безразлично относится к предметам своих восторгов (благо есть торжество), то понятно, каковы должны быть эти восторги при виде торжества всецелого, торжества без промаху, торжества, не испытывающего даже возражения! И что нам Древний Рим с его Сципионами, Цезарями, Катонами? Разве у нас мало найдется своих Цезарей, своих Катонов... вскормленных на лоне управы благочиния!

Этих без пороху палящих Цезарей, этих Катонов, клянущихся гибелью новому Карфагену – литературе, развелось ныне даже более, нежели указывает потребность самая прихотливая. Нет того ничтожнейшего гранителя мостовых, который бы не сверкал глазами, не чувствовал прилива негодования, которого уста не изрыгали бы

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) хулу при одном упоминании о литературе. «Литература – это развратный дом; литература – это систематическая пропаганда анархии; литература – это организованное посягательство на жизнь и спокойствие общества!» – вот что вещают новые Катоны-чревоутолятели, и толпа, внимающая этим мудрым вещаниям, не только не задается вопросом: каким же образом, однако, мы живы? – но любит подобных глашатаев истины, благоговеет перед их безотпорным мужеством и нанимает охочего зяблика-гимнославателя, который, за умеренную плату, готов петь и славу и срам своего отечества.

Толпа не только раболепна, но и труслива. Писатель, который, по самому свойству своей деятельности, может влиять на нее только нравственно, прежде, нежели всякий другой, убеждается в этой истине. Еще вчера он был чем-то вроде баловня фортуны, еще вчера около него теснился кружок людей, громко заявлявших о сочувствии, – и вот достаточно одной минуты, чтобы поставить его в то нормальное одиночество, из которого, при известных условиях жизни, ему не надлежало и выходить. Эту минуту – вы можете не только предугадать, но даже почти осязать. Она идет на вас в образе доносительно-прожорливой щуки, при виде которой, подобно брызгам, брызнут во все стороны развешивающиеся вкуче пискари.

Местность, над которою разразился подобный щучий погром, делается на долгое время неспособною для произрастания иных злаков, кроме волчцов и крапивы. Обыватели злопамятны; они из поколения в поколение передают рассказы о мученической смерти, постигшей окуней, и остерегают птенцов своих от общения с литературой. Мыслебоязнь становится лозунгом не только настоящего, но и будущего; она всасывается с материнским молоком; она, подобно злокачественной сыпи, передается наследственно.

А так как подобных местностей нам не занимать стать, то делается отчасти даже холодно при мысли о той силе, которую, с течением времени, должны забрать волчцы.

Итак, с одной стороны, неустойчивость как следствие непонимания мысли и неимения поводов привязаться к ней; с другой стороны, та же неустойчивость, как следствие природной податливости и рыхлости обывательских нравов... невольно спрашиваешь себя: какую же цель имеет существование литературы? Кому она нужна? что она может?

И между тем все-таки сдается, что литература нечто еще может. Самая живучесть ее дает повод думать, что будущее принадлежит ей, а не брюхопоклонникам.

Что торжество брюхопоклонников есть факт совершившийся и не подлежащий спору – это так; но прежде, нежели выводить какие-либо заключения, взгляните ближе в это явление, вслушайтесь пристальнее в эти ликующие клики и вы убедитесь, что тут уже кроется какой-то изъян. Лица победителей не поражают тою полнотою самодовольства, какая приличествует лицам действительных триумфаторов; торжественные их гимны отличаются шумом и восторженностью, но истинной, проливающей в душу безмятежие, гармонии все-таки не дают. Ясно, что современный триумфатор еще не считает своего дела законченным, что он еще чувствует потребность кой-кого ушипнуть, кой-кого уязвить, кой-кого умертвить. Он мрачен и даже по временам, уподобляясь разъяренному самцу гориллы, плотоядно щелкает зубами. Он боится, чтоб у него как-нибудь не отняли то мясо, на которое он заглядывается; он боится, чтобы между ним и тою растленной наготою, которая одна в состоянии пробуждать его вожделения, не опустился, сверх ожидания, занавес. Все это заставляет заключать, что материал исчерпан еще не весь...

Если бы на сцене были одни триумфаторы, тогда живописцу оставалось бы только бросить свои кисти, или же нарисовать на полотне пятно и подписать под ним: «Мрак времен». Но оказывается, что дело совсем не так просто; что рядом с триумфаторами усматриваются и побежденные и что шумные и восторженные клики первых удачно оттеняются голосами стенящих, алчущих и вопиющих. Таким образом, общий голос торжества утрачивает до известной степени томительное свое однообразие и является полною музыкальною пьесой. Побежденные еще налицо; они изранены, искалечены, но не изгиблены.

Как хотите, а это все-таки признак. Ежели еще не вполне устранилась потребность озираться, преследовать и подозревать, стало быть, не все еще предано беспробудному сну, стало быть, еще живо в обществе нечто такое, что не допускает

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) его окончательно обрюзгнуть и умереть. Конечно, время, которое мы переживаем, и тревожно, и тяжело, но все же оно подчиняется известным определениям и, следовательно, не может быть названо мраком времен в полном значении этого слова. Осмотритесь кругом и вы увидите, что уже найдены некоторые рамки для более правильного течения жизни, а этого одного достаточно, чтоб осветить будущее лучом надежды. Положим, что рамки эти пришли к нам как будто со стороны, что общество тут ни при чем и даже нередко высказывает по поводу их чувство явно враждебное; но утешимся тем, что это рамки такого рода, которые, будучи раз поставлены, сдвигаются с места гораздо труднее, нежели даже прилаживаются к нему. Говорят, что отыскать рамки для задуманного дела уже значит наполовину обеспечить успех его, – и это вполне справедливо. Важно уже то, что брюхопоклонник видит перед собой эти рамки и привыкает к ним; привычка – великое дело; и если она однажды приобретена, то человек даже закоснелый начинает мало-помалу усматривать выгоды, которые представляет для него лучший порядок вещей. Необходимость ограничивать свои желания желаниями других, необходимость смягчать дикость инстинктов – вот та великая школа, которой суждено в будущем покорить вредную секту брюхопоклонников.

Если б не было побежденных, не было бы и триумфаторов. Ежели мысль содрогается при виде ходячих крашенных гробов, то та же самая мысль сумеет, даже сквозь сплошную массу живых могил, провидеть иные сферы, иные интересы и требования, иную температуру, иную жизнь. Как ни обширно кладбище, но около него ютится жизнь. История не останавливается оттого, что ничтожество, невежество и индифферентизм делаются на время как бы законом и обеспечением мирного человеческого существования. Она знает, что это явление преходящее, что и под ним и рядом с ним, не угасая, теплится правда и жизнь.

#### СЕНЕЧКИН ЯД

Прежде нежели приступить к предмету настоящей статьи, я считаю нелишним определить, что такое благонамеренность.

Признаюсь откровенно, обязанность эта застаёт меня несколько врасплох, ибо слово «благонамеренность» произошло на свет так недавно, что даже значение его не вполне определилось в сознании общества. Толкуют его больше фигурами и уподоблениями. Так, например, если я вижу человека, участвующего своими трудами в «Северной пчеле», в «Нашем времени», в «Северной почте», – я говорю себе: это человек благонамеренный. Если я вижу человека, посещающего балы гг. Марцинкевича, Заллера, Наумова и других, – я говорю себе: это человек благонамеренный. Почему я так говорю – я не знаю, но чувствую, что говорю правду, и всякий, кто слышит меня говорящим таким образом, тоже чувствует, что я говорю правду. Совсем другое дело, если я вижу человека, таинственно пробирающегося в редакцию газеты «Голос»; тут я прямо говорю себе: нет, это человек неблагонамеренный, ибо в нем засел Ледрю-Роллень. И напрасно Андрей Александрыч Краевский будет уверять меня, что Ледрю-Роллень был да весь вышел, – я не поверю ему ни за что, ибо знаю стойкость убеждений Андрея Александрыча и очень помню, как он, еще в 1848 году, боролся с Луи-Филиппом и радовался падению царства буржуазии.

Но отвратим наши взоры от этого печального зрелища и будем продолжать фигуры и уподобления. Прежде всего, благонамеренный человек должен обладать хорошим поведением. Хорошее это поведение состоит в следующем. Утром благонамеренный человек встает и читает «Северную почту» и, узнав оттуда, в чем должна заключаться сегодняшняя благонамеренность, отправляется побеседовать с г. Старчевским, который сообщает ему, что подписчики «Сына отечества» будут уплачивать за пересылку этого журнала не по три рубля, как подписчики прочих газет, но по одному рублю в год. Под влиянием этой беседы благонамеренный заходит к Доминику, где съедает три пирожка, а буфетчику сказывает, что съел один. Затем до обеда он гуляет по Невскому, потом обедает в долг у Дюссо, а вечером отправляется в Михайловский театр и день оканчивает блистательным образом на бале у гостеприимных принцесс вольного города Гамбурга.

Если вы спросите меня, каким образом я во всех описанных выше действиях нахожу благонамеренность, я могу истолковать вам это. Сколько я мог понять из объяснений людей сведущих, слово «благонамеренность», в современном его значении, имеет смысл весьма ограниченный и притом совершенно специальный. Человеку, который решает стать в ряды благонамеренных, стоит только сказать себе: «друг мой! ты можешь, если хочешь, заимствовать платки из чужих карманов, ты можешь читать «Сын отечества»; но в вознаграждение за это ты обязан иметь

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «хороший образ мыслей». Отсюда другая черта благонамеренности – хороший образ мыслей. Что такое этот «хороший образ мыслей» – этого я объяснить не умею, потому что это выражение скорее чувствуется, нежели понимается.

Тем не менее, если судьба заставит вас потолкаться некоторое время между людьми благонамеренными и если вы возьмете на себя труд вдуматься в их речи и действия, вы поймете и это. Вы поймете, например, что отличительный признак хорошего образа мыслей есть невинность. Невинность же, с своей стороны, есть отчасти отсутствие всякого образа мыслей, отчасти же отсутствие того смысла, который дает возможность различить добро от зла. Не размышляйте и читайте романы Поль-де-Кока – вот краткий и незамысловатый кодекс житейской мудрости, которым руководствуется современный благонамеренный человек. И благо ему. Если он утаил о двух излишне съеденных пирожках, то это простится ему, потому что от этого нет ущерба ни любви к отечеству, ни общественному благоустройству. Одно только может повлечь для него за собой неприятность: это если факт утаения вызовет за собой протест; но и тогда Доминик ему только заметит, что на будущее время он должен быть осмотрительнее, то есть скрадывать пироги ловчее и глотать их быстрее. И более ничего. Потому главное все-таки в том заключается, чтобы не размышлять. Танцуйте канкан, развлекайтесь с гамбургскими и отчасти ревельскими принцессами, но, бога ради, не увлекайтесь. Посещайте Михайловский театр, наблюдайте за выражением лица г-жи Напताल-Арно в знаменитой ночной сцене пьесы «Nos intimes», следите за непрерывным развитием бюста г-жи Мила, ешьте, пейте, размножайте человеческий род, читайте «Наше время», но, бога ради, не увлекайтесь. Если же вам непременно нужно мыслить, то беседуйте с «Сыном отечества», ибо мысли, порождаемые этими беседами, не суть мысли, но телесные упражнения...

Таким образом, с помощью фигур и уподоблений, мы догадываемся наконец, что такое этот «хороший образ мыслей», который в последнее время пустил такие сильные корни в нашем обществе. Сидите ли вы в театре, идете ли вы по улице – вы на каждом шагу встречаете людей, которых наружность ничего иного не выражает, кроме того, что их отлично кормят. Тут не может быть речи об убеждениях, а тем менее о недовольстве кем и чем бы то ни было: в этих ходячих могилах все покончено, все затихло. Самый добродушный из них на ваши приставанья ответит: «Mon cher! qui est-ce qui en parle!» [11], но менее добродушный фыркнет и огрызнется, как пес, к которому неосторожно подойдут в то время, когда он ест. Следовательно, благонамеренность не исключает и некоторого остервенения, которое, таким образом, составляет третью характеристическую черту ее.

Какая причина этого остервенения, где источник этой благонамеренной плотоядности? Устали ли мы от политических потрясений? Испытали ли мы на себе бесплодность и вредоносную силу утопий? Разочаровались ли мы? Очаровывались ли когда-нибудь? Где та сирена, которая нас, гибнущих плователей, соблазнила сладкогласным своим пением?

Странное дело! мы не можем указать на какие-либо политические потрясения (слава богу!), мы не можем сослаться ни на какие утопии (ух, слава богу!) и в то же время не можем скрыть, что сирена все-таки существует. Многие даже видели ее и уверяют, что она ходит в вицмундире.

Увы! пение сирены отразилось даже на литературе нашей. Из загнанной и трепещущей она превратилась в торжествующую и ликующую, из скептической в верующую, из заподозренной в благонамеренную и достойную доверия. Деятели, целую жизнь дразнившие и уськавшие общественное мнение, всенародно бьют себя в грудь, всенародно раздирают на себе одежды и признают себя удовлетворенными. «Мальчишки!» – стонет на все лады один; «нигилисты!» – подвизгивает ему другой. И хотя это обвинение есть единственное, которое успела ясно сформулировать кающаяся русская литература, но, вероятно, оно признается достаточно капитальным, если журналы серьезные и, по-видимому, благонамеренные решаются настаивать на нем.

Вновь спрашиваю я: что за причина такого беспримерного наплыва благонамеренности в нашу литературу?

Увы! я просто думаю, что всему причиной четвертак, тот самый четвертак, об отношении которого к русской литературе и ее деятелям так остроумно выразился московский публицист М. Н. Катков: четвертака, дескать, при них плохо не клади – стащат! «Как! – воскликнет читатель, – эта самая русская литература, которая так много тщеславилась своею гордою неприступностью, которая так строго преследовала

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Булгарина за его легкие нравы, – вдруг соблазнулась на четвертак!» Да-с, так именно рассказывают сведущие люди, и, к сожалению, некоторые признаки заставляют сознаться, что они не неправы.

Но положим, что сведущие люди ошиблись; положим, что не буквально же четвертак соблазнил нашу литературу, что эта мелкая монета служит лишь фигурой уподобления, – тем не менее это обидно. Это обидно, потому что слово четвертак представляет здесь идею дешевизны; это обидно, потому что четвертачество, претерпевавший доселе в русской литературе постыднейшее крушение, несмотря на гигантские, в своем роде, усилия Ф. В. Булгарина, начинает приживаться в ней именно в такую минуту, когда всего менее можно было этого ожидать. Тут еще не было бы дива, если б во времена Булгарина четвертак обладал обаятельной силой: тогда и провиант был дешевый, да и политические интересы сосредоточивались исключительно на разъяснении вопроса, откуда произошла Русь. Ясно, что это были интересы четвертаковые и что защищать за четвертак происхождение Руси от норманнов было и не предосудительно, и не обременительно. Но и за всем тем наша литература выказывала ироизм неслыханный: защищала норманнское происхождение Руси даром. Напротив того, теперь, когда, с одной стороны, жизненные припасы поднялись в цене необычайно, когда, с другой стороны, политический горизонт с каждым днем расширяется, литература, вместо того чтобы быть на страже, оказывает малодушество беспрецедентное и выделяет из себя публицистов, которые за четвертак поют хвалебные гимны всему без различия и призывают кару небес на мальчишек и нигилистов!

Что сей сон значит?

Или мы были героями во времена Булгарина потому только, что перед глазами нашими не блистал заманчиво четвертак? – Может быть.

Или мы были так слабы и ничтожны в то время, что нам и четвертака никто не считал за нужное посулить? – Может быть.

Или наша изобретательная способность до такой степени притупилась об варягов, что, когда настало наконец время для вопросов более серьезных и жизненных, мы не отыскивали в себе никаких ответов на них и потому нашли для себя более покойным и выгодным дуть в нашу маленькую дудочку на заданную тему? – Может быть.

Или же наконец тут имеется с нашей стороны тонкий расчет и мы думаем, что со временем наши фонды поднимутся? – Может быть.

Я не решаю этих вопросов, а только излагаю их. Я считаю себя летописцем; я даже не группирую фактов и не выжимаю из них нравоучения, но просто утверждаю, что в нашу общественную жизнь, равно как и в нашу литературу, проникла благонамеренность. С одной стороны, общество убедилось окончательно, что оно таки подвигается; с другой стороны, литература, удачно воспользовавшись этим настроением, начала сочувственно и весело строить целые системы на мотив: чего же тебе еще нужно?

Я уверен, что известие это в особенности порадует провинциального читателя. В самом деле, видя, какой переполох царствовал в наших журналах до 1862 года, какими словесными подзатыльниками угощали в них друг друга россияне, бедный, удаленный от света провинциал мог и невесть что подумать. Ему могло показаться, что старому веселью конец пришел, что хороших людей моль поела и что на месте их неистовствуют все мальчишки да нигилисты... Ничуть не бывало! – утешаю я его, – все это было до 1862 года, но в этом году россияне вступили в новое тысячелетие... Как же тут не созреть, как не пойти в семена!

Из всего сказанного выше явствует, что один из существенных признаков нашей благонамеренности заключается в ненависти к мальчишкам и нигилистам. Что такое нигилисты? что такое мальчишки?

Слово «нигилисты» пущено в ход И. С. Тургеневым и не обозначает собственно ничего. В романе Г. Тургенева, как и во всяком благоустроенном обществе, действуют отцы и дети. Если есть отцы, следовательно, должны быть и дети – это бы, пожалуй, не новость; новость заключается в том, что дети не в отцов вышли, и вследствие этого происходят между ними беспрестанные реприманды.

Отцы – народ чувствительный и веруют во все. Они веруют и в красоту, и в истину,



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) и в справедливость, но больше прохаживаются по части красоты. Они проливают слезы, читая Шиллерову «Resignation», они играют на виолончели, а отчасти и на гитаре, но не остаются нечувствительными и к четвертакам. Да, люди, о которых я докладывал выше, как о поддавшихся обаянию четвертака, – это всё отцы. Вообще это народ легко очаровываемый. Когда-то они были друзьями Белинского и поклонниками Грановского, но, по смерти своих руководителей, остались, как овцы без пастыря. Очарования их приняли характер беспорядочный, почти растрепанный; с одной стороны – Laura am Clavier, с другой – тысяча рублей содержания, даровая квартира и несколько пудов сальных свечей – вот две мучительные альтернативы, между которыми проходит их жизнь. Тем не менее надо отдать им справедливость: Лаура с каждым днем все дальше и дальше отодвигается на задний план, и все ближе и ближе придвигается тысяча рублей содержания. Способность очаровываться осталась та же, но предмет ее изменился, и изменился потому, что нет в живых ни Белинского, ни Грановского. Будь они живы, они, конечно, сказали бы «отцам»: цыц! и тогда, кто может угадать, чем увлекались бы в настоящую минуту эти юные старцы?

В противоположность отцам, дети представляют собой собрание неверующих.

– Вы не верите ни во что... даже? – вопрошает Базарова один из Кирсановых.

– Даже, – отвечает Базаров, вовсе не заботясь о том, что он делает этот ответ в доме Кирсановых и что, по всем правилам гостеприимства, гость обязан говорить хозяевам лишь приятные и угодные вещи.

Не верит в «даже», а верит в лягушек! Соблазняется красивыми плечами женщины и при этом не содрогается при мысли, что красивые плечи составляют лишь тленную оболочку нетленной души. Кроме того: а) на красоту вообще взирает с той же точки зрения, с какой г. Семевский взирает на русскую историю; б) не тоскует по истине, ибо не признает науки, скрывающейся, как известно, в стенах Московского университета; в) эстетическими вопросами не волнуется, на виолончели не играет и романсов не поет и г) обаятельную силу четвертака отвергает положительно... Спрашиваю я вас: как назвать совокупность всех этих зловредных качеств? как назвать людей, совокупивших в себе эти качества? Я знаю, госпожа Коробочка назвала бы их фармазонами, полковник Скалозуб назвал бы вольтерьянцами; но Кирсанов не захотел быть подражателем и назвал нигилистами...

Как бы то ни было, но «благонамеренные» накупились на слово «нигилист» с ожесточением; точь-в-точь как благонамеренные прежних времен накидывались на слова «фармазон» и «вольтерьянец». Слово «нигилист» вывело их из величайшего затруднения. Были понятия, были явления, которые они до тех пор затруднялись, как назвать; теперь этих затруднений не существует: все это нигилизм; были люди, которых физиономии им не нравились, которых речи производили в них нервное раздражение, но они не могли дать себе отчета, почему эти люди, эти речи производят на них именно такое действие; теперь все сделалось ясно: да потому просто, что эти люди нигилисты! Таким образом, нигилист, не обозначая собственно ничего, покрывает собой всякую обвинительную чепуху, какая взбредет в голову благонамеренному, и если б Иван Никифорыч Довгочун знал, что существует на свете такое слово, то он, наверное, назвал бы Ивана Иваныча Перерепенко не дурнем с писанною торбою, а нигилистом. Человек, который ходит по улице без перчаток, – нигилист, и человек, который заявит сомнение насчет либерализма Василия Александрыча Кокорева, – тоже нигилист. «Он нигилист! он не верит ни во что святое!» – вопят благонамеренные, и само собой разумеется, что Василию Александрычу это нравится. Одним словом, нигилист есть человек, непрерывно испускающий из себя какой-то тонкий яд, от которого мгновенно дуреют слабые головы мальчишек!

Это переносит меня к далеким дням моей молодости. Знал я тогда одно семейство, жившее очень почтенно и патриархально и состоявшее из большого числа членов, между которыми были и старики, и взрослые, и подростки. Семейство наслаждалось тишиною и блаженствовало: оно имело тот форменный взгляд на нравственность и человеческие обязанности, который составляет счастье людей, желающих прожить свой век без тревог и волнений. Конечно, так и прожили бы эти добрые люди, если бы, к несчастью, не замешался тут Сенечка.

Сенечка был просто добрый малый, живший большею частью в отдалении от родных и потому несколько отвыкший от этого бесшумного, обрядного жизненного строя, который царствовал в его семействе. Нельзя сказать, чтоб его не любили домашние;

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru напротив того, на него возлагались даже какие-то честолюбивые родовые надежды, так как он один из всего семейства состоял на государственной службе и обещал когда-нибудь чего-нибудь достигнуть и тем прославить род Горбачевских. Тем не менее оболечение было непродолжительно; за Сенечкой, во время побывок его в родном доме, стали замечаться какие-то прорухи, какое-то не то чтобы озлобление, но полное равнодушие к родным интересам.

Но это все бы еще ничего: оказалось, что Сенечка разливает яд и действует посредством его на подростков.

Выходит из института невинная девица, внучка и дочь семейства, и поселяется у родных. Она уважает дедушку, боготворит бабушку, целует ручки у папеньки и маменьки, беседует и спорит по вечерам с приходским батюшкой насчет того, действительно ли существовали на свете Лазарь богатый и Лазарь бедный, или это только так, притча? Одним словом, родные не налюбуются милым ребенком и все в один голос кричат: что за милое, что за невинное создание! Но вот приезжает в побывку Сенечка... Он привозит с собой несколько французских романов – наша институтка слышит это верхним чутьем; она украдкой от родных бегаёт в Сенечкину комнату и читает... Сенечка рассказывает, на каких он балах в Петербурге бывает (он бывает исключительно у Марцинкевича), какая в Петербурге опера и в какие неслыханные платья облекается г-жа Напताल-Арно, изображая маркиз. Институтка слушает это сначала одним ухом, потом обоими; потом она задумывается, потом ей плохо спится ночь... В одно прекрасное утро она начинает плакать и не хочет диспутировать с батюшкой; она не называет бабушку «божественной» и после обеда забывает поцеловать руку у папеньки. Мало того: она вдруг начинает резвиться и бегать по комнате; она садится за фортепьяно и не то чтобы играет, но как-то беспорядочно стучит по клавишам; наконец она открыто называет родных тиранами, желающими заесть ее молодые годы.

– Это Сенечкин яд! – шепчут родственники, – это все Сенечкин яд действует!

– Помилуйте, маменька! – оправдывается Сенечка, – какой тут яд! просто-напросто Катеньке повеселиться хочется! просто-напросто молодая кровь в ней играет!

– Нет, это твой яд! – твердят хором родственники и спешат удалить Сенечку.

Приезжают на каникулы дети-гимназисты; бабушка осматривает их и говорит: молодцы! папенька спрашивает, какие у них отметки, и получает ответ, что всё пять да четыре. Петров пост; дети кушают постное, вместе с Катенькою и прочими членами семейства; они делают это даже с охотою... И вдруг приезжает Сенечка.

– Дяденька! у нас постное! – спешат сообщить ему гимназисты.

– Стану я постное есть! – огрызается Сенечка и объявляет, что будет есть скоромное.

Декорация меняется. На другой день, за обедом, все едят постное, одному Сенечке подают скоромное. Гимназисты едят плохо.

– А что, друзья, вкусно? – подшучивает Сенечка, видя, как они заглядываются на его котлетку.

Родитель гимназистов слегка бледнеет; бабушка строго посматривает на Сенечку. Но дело уж сделано, гимназисты плачут; Катенька вторит им; жаренный в постном масле картофель так и уносят обратно нетронутый.

– Это Сенечкин яд! – шепчут родственники, – это все Сенечкин яд действует.

– Помилуйте, маменька! – оправдывается Сенечка, – какой тут яд! просто-напросто детям есть хочется, потому что они растут.

– Нет, это твой яд! – решает семейный ареопаг и спешит как-нибудь удалить Сенечку.

Все, даже рабы и рабыни, находятся под влиянием Сенечкина яда. Кормили их прежде, например, кислым молоком, и они не жаловались, и вдруг дернула же нелегкая Сенечку спросить у Ионки-подлеца:

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
– А что, брат, с кисло-то молока, чай, живот подвело?

И вот на другой день история: кислое молоко рабы в помойную яму вылили, и хотя господу все-таки ничего другого не дали, однако огорчились.

– Это все Сенечкин яд! – шепчут родные.

– Да помилуйте, маменька! чем же я виноват, что у вас люди голодны? – оправдывается Сенечка.

– Нет, это твой яд! – решает семейный ареопаг и спешит как-нибудь освободиться от Сенечки.

Подобно этому Сенечке, нигилисты обязаны выносить на себе все грехи мира сего. Тявкнет ли на улице шавка – благонамеренные кричат: это нигилисты подучили ее; пойдет ли безо времени дождь – благонамеренные кричат: это нигилисты заговаривают стихии! Этого мало: летом 1862 года, по случаю частых пожаров в Петербурге, ходили слухи о поджогах – благонамеренные воспользовались этим, чтоб обвинить нигилистов; образовалась какая-то неслыханная потаенная литература – благонамеренные возопили: это они! это нигилисты! Злорадство дошло до той степени безобразия и нелепости, что благонамеренные готовы были, чтоб у них самих снимали головы, лишь бы иметь право сказать: это они! это нигилисты!

Я совершенно согласен, что люди, поджигавшие Петербург, суть нигилисты, но в таком случае какой же резон слово «нигилист» смешивать с словом «мальчишки»? Допустим, что слово «нигилист» выражает собой совокупность всех возможных позорных понятий, начиная от ненашения перчаток и кончая отрицанием кокоревского либерализма, – чем же тут виноваты мальчишки? Посредством какого адского сцепления идей приплетаются они к нигилизму? Умышленно ли это делается или неумышленно?

Прежде всего, примем в соображение, что слово «мальчишки» имеет смысл нарочито презрительный. И действительно, сила заключается не в слове, а в том понятии, которое оно выражает; «мальчишки» же выражают собой еще более, нежели «нигилисты». Нигилистом может быть человек всякого возраста; так, например, Аркаша Кирсанов покидает ремесло нигилиста тотчас же, как только собственным умом доходит до убеждения, что никакие нигилизмы на свете не стоят ничего перед теми положительными утехами, которые может доставить ему соединение с милой Катей (сестра г-жи Одинцовой). Стало быть, по этой теории, ничто не мешает быть нигилистом Н. Ф. Павлову, хотя, быть может, у него от преклонности ни одного волоса на голове нет, и благонамеренным – г. Чичерину, хотя он еще очень молодой человек. Напротив того, слово «мальчишки», так сказать, подрывает будущее России, ибо обращается преимущественно к молодому поколению, на котором, как известно, покоятся все надежды любезного отечества. Под этим словом подразумевается все, что не перестало еще расти; М. Н. Катков взирает на П. М. Леонтьева и говорит: вот мера человеческого роста! и затем всякий индивидуум, который имел несчастье родиться двумя минутами позднее г. Леонтьева, поступает в разряд мальчишек. Не хитро, но зато просто и удобно.

Таковы физические условия мальчишества; в чем же должны заключаться условия нравственные? Очевидно, в том же, в чем и нравственные условия нигилистов, то есть в отсутствии всяких нравственных условий. Мальчишки не верят в науку, ибо не читают статей г. Молинари, мальчишки не верят в искусство жить на свете, ибо не читают статей г. Юркевича; мальчишки – это, по счастливому выражению «Времени», «пустые и безмозглые крикуны, портящие все, до чего они дотронутся, марающие иную чистую, честную идею уже одним тем, что они в ней участвуют; мальчишки – это свистуны, свистящие из хлеба и только для того, чтобы свистать, выезжающие верхом на чужой украденной фразе, как верхом на палочке, и подхлестывающие себя маленьким кнутиком рутинного либерализма...».

Одним словом, мальчишество есть нечто вроде греха первородного; мальчишка уже тем виноват, что он мальчишка; мальчишка фаталистически обречен на нигилизм.

Он не может ни серьезно мыслить, ни серьезно думать – потому что он мальчишка; он не смеет ни о чем иметь своего суждения – потому что он мальчишка; его мысль, его телодвижения, все его существо, одним словом, необходимо должно заключать в себе нечто озорное, имеющее особый пасквильный смысл, – потому что он мальчишка. «Угодно вам папиросу?» – спрашивает мальчишка у благонамеренного, и

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) благонамеренный фыркает и злится, потому что думает: «га! это он неспроста мне папироску предлагает! он хочет этим показать, что я до такой степени ослаб, что даже папироску выкурить не в состоянии!» Каждое слово мальчишки подвергается толкованию самому инквизиторскому, в каждом его действии видится поползновение протанцевать карбонарский канкан.

Ожесточение благонамеренной прессы, а за нею и благонамеренной части общества доходит до того, что если мальчишка умирает, то никому не придет в голову сказать: вот погибает человек жертвою.. ну, положим, хоть заблуждений! но всяк говорит: вот погибает мальчишка, то есть негодяй, то есть нигилист, то есть человек, не различавший своего от чужого! Откуда это проклятое «то есть»? Отчего если оно не всегда выражается, то всегда подразумевается? А просто оттого, что дело идет об «мальчишках» – и все тут!

Мальчишество – это преступление, за которое уличенный в нем лишается даже права апеллировать. Благонамеренный не станет и разговаривать с мальчишкой; «это мальчишка», – скажет он и самодовольно пройдет себе мимо...

Да, горько родиться «мальчишкой», но как же, с другой стороны, и не родиться-то им?

Всякий мужчина, как бы он росл ни был, имел свой период мальчишества, только не всякий это помнит. Иной думает, что он так-таки и вышел из головы Юпитера, как Минерва, во всеоружии; иной забыл, что он не далее как в 1861 году был еще мальчишкой; иной и не забыл, и даже не скрывает, что не забыл: «ну да, говорит, я был мальчишкой, покуда не коснулась меня благодать благонамеренности... что ж из того? а если меня опять коснется благодать мальчишества, я опять буду мальчишкой... что ж из того?» Таким образом, одни действуют по беспамятству, другие – потому, что дело это торговое и завсегда в наших руках состоит.

К последнему разряду деятелей я не обращаюсь; я знаю, что они еще не раз в своей жизни будут и мальчишками, и благонамеренными, смотря по тому, где больше поживишки. Это паразиты, которые обращают внимание исключительно на то, чье тело представляется более пухлым и лоснящимся, чтоб угнездиться именно там, где более обеспечено еды. Я обращаюсь к людям просто забывчивым и спрашиваю: неужели вы в самом деле забыли? неужели вы дошли до состояния опресноков без всяких тревог, без всякой борьбы? неужели вы не метались и не кипели? неужели вы сошли на путь благонамеренности так же случайно и безразлично, как заходят современные франты в тот или другой танцкласс? Нет, это невероятно. Это невероятно, потому что нет того человека, которого заплесневелая душа не умилилась бы перед воспоминанием о давнопрошедших, сладких днях молодости; нет того дряхлого, тупого старика, которого голова не затряслась бы сочувственно, которого морщины не осветились бы лучом радости, когда на него хоть на мгновение, хоть случайно пахнет свежим ароматом навсегда утраченной весны жизни. Ибо, каково бы ни было содержание молодости (положим, что оно было беспутно, с вашей нынешней точки зрения), все же оно говорит о силе, говорит о надеждах, о жажде подвига, говорит о той книге жизни, которая когда-то читалась легко и которая туго и тупо дается осторожно-каплуньему пониманию старчества.

Да не подумает, однако ж, читатель, что я взываю о сожалении к мальчишкам, что я для того обращаюсь к памяти благонамеренных, чтобы сказать им: и вы были молоды, и вы заблуждались, так имейте же снисхождение к молодости и заблуждениям других! Нет, я просто становлюсь на историческую почву и говорю благонамеренным: вспомните то время, когда вы были мальчишками, и поищите в своей памяти, не было ли и тогда «благонамеренных»? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить их покраснеть.

Нет, я не прошу для мальчишек ни сожаления, ни даже снисхождения. Я нахожу, что мальчишество – сила, а сословие мальчишек – очень почтенное сословие. Самая остервенелость вражды против них свидетельствует, что к мальчишкам следует относиться серьезно и что слова «мальчишки!», «нигилисты!», которыми благонамеренные люди венчают все свои диспуты по поводу почтительно делаемых мальчишками представлений и домогательств, в сущности, изображают не что иное, как худо скрытую досаду, нечто вроде плача Адама об утраченном рае.

В чем же собственно дело? Где побудительная причина тех ожесточенных походов, которые поднимаются «благонамеренными» против «мальчишек»? Какие, наконец, права «мальчишек» на общее внимание?

Ответ на эти вопросы не так затруднителен, как это кажется с первого взгляда. Нельзя не сознаться, что общий уровень жизни изменяется; многое, с чем мы сжились, оказывается несостоятельным; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознается, что нет существа живого, которое могло бы сказать, что ему живется хорошо. Мы, благонамеренные, также это чувствуем, и в то же время не можем ничего выдумать к облегчению наших собственных болей!

И вот, в то самое время, когда мы вздыхаем и недоумеваем, где-то вдали, в каком-то непризнанном захолустье зарождается нечто новое; миазмы мало-помалу разрезаются, жизнь становится и приветнее, и светлее. Откуда этот успех?

Увы! Как ни мал успех, но источник его все-таки не столько в нас, благонамеренных, сколько в мальчишестве, в той освежающей силе, которую оно представляет. Из того, что практическое осуществление новых жизненных форм большею частью зависит от нас, благонамеренных, и производится нами, вовсе не следует, чтобы от нас же исходила и инициатива их...

. . . . .

Итак, если мы видим, что жизнь сделала шаг вперед, если мы самих себя сознаем лучше и чище...

Мы клянем мальчишество, мы презираем его и в то же время, неслышно для нас самих, признаем его силу и подаем ему руку. Не будь мальчишества, не держи оно общество в постоянной тревоге новых запросов и требований, общество замерло бы и уподобилось бы заброшенному полю, которое может производить только репейник и куколь.

Я мог бы привести тысячи примеров из практики в доказательство справедливости моего положения, и если не делаю этого, то единственно из опасения, чтоб из того не вышло какой-нибудь нелитературной полемики. Дозволю себе один казенный вопрос: давно ли называлось мальчишеством, карбонарством, вольтерьянством все то добро, которое ныне в очию совершается? И нельзя ли отсюда прийти к заключению, что и то, что ныне называется мальчишеством, нигилизмом и другими более или менее поносительными именами, будет когда-нибудь называться добром?

#### РУССКИЕ «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ» ЗА ГРАНИЦЕЙ

Сомневаюсь, чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и, с какими бы намерениями вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо. Не говоря уже о том энергическом, беспощадном остроумии, которым обладали великие юмористы, подобные Гоголю, – остроумии, относящемуся к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым, даже такой незлобивый, невинный сатирик, каким был, например, Загоскин, – и тот находил возможность относиться к этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мере, искренно и весело. Говорят, будто Гоголь имел намерение изобразить впечатления русского воина старых времен, путешествующего за границей. Действительно, трудно себе представить что-нибудь соблазнительнее, грандиознее подобной темы! Тут было целое стройное мирозерцание, хотя не имевшее с внутренней стороны строго человеческого характера, но наружными своими признаками не позволявшее сомневаться, что обладатель его принадлежит к человеческой семье; одним словом, тут было нечто такое, что носило на себе человеческий образ, но мысль имело не человеческую; тут воочию повторялся миф сирены, только наоборот, то есть брался человеческий хвост и приставлялась к нему рыба голова. Задача величественная и для сатирического пера весьма лестная.

Я не бывал за границей, но легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людям посмотреть. Все-то ему ново, всего-то он боится, потому что из всех форм европейской жизни он всецело воспринял только одну – искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковин. Всякий иностранец кажется ему высшим организмом, который может и мыслить, и выражать свою мысль; перед каждым он ежится и трусит, потому что кто ж его знает? а вдруг недоглядишь за собой и сделаешь невесть какое невежество! В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он пересел в вагон и не знает, как и перед кем излить свою благодарную душу. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать его в

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) плечико (потому что ведь, известно, у нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!); он заговаривает со своим *vis-à-vis* и все-то удивляется, все-то удивляется, все-то ахает! «Я россиянин, следовательно, я дурак, следовательно, от меня пахнет», – говорит вся его съезжившаяся фигура.

– Vous êtes russe, monsieur?[12] – спрашивают его.

– Oui-c; да-с! – бормочет сконфуженный россиянин. – Ne désirez-vous pas du champagne?[13]

И рад-радехонек, если предложение его принято, ибо тут представляется ему случай предпринять целый ряд растленных рассказов о том, что Россия – страна антропофагов, что в России нельзя жить, что в России не имеется образованного общества, и проч., и проч. И откуда что ползет! откуда явятся и юмор, и игривость, и развязные манеры! Да назовите самого заклятого врага, посулите ему какую угодно награду за то, чтоб изобразить гнусность, – никто, ей-богу, никто не устроит этого так живо и осязательно, как путешествующий, ради бездельничества, россиянин. Эти господа из ёрничества умеют создавать художественную картину; они прилгут, прихвастнут даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы никто и сомневаться не смел, что они действительно гнусны и растленны. Послушать их, так все они сплошь курицыны дети, что на этом зиждутся их политические принципы и что это же служит краеугольным камнем их союза семейственного и гражданского.

– Я курицын сын – куда же мне с этакой рожей в люди лезть! – резонно размышляет вояжер-россиянин и, в силу этого рассуждения, извиняется, лезет целоваться и потчует шампанским.

Многие объясняют это явление отчасти легкостью и общительностью славянской природы, отчасти живою потребностью самооплевания, которая будто бы составляет основную черту россияна; но я, с своей стороны, думаю, что, помимо двух этих признаков, имеется еще и другая, более глубокая причина, заставляющая наших путешествующих соотечественников пребывать, так сказать, в непрерывном стыде. Я согласен, что общительность есть в своем роде похвальное качество, но не в силах себе представить, чтоб она могла возвышаться до перенесения побоев и пощечин, потому что тут даже и общительности-то никакой нет. Я согласен также, что и потребность самооплевания есть очень живая и притом законная потребность, но не в состоянии вообразить себе, чтоб она могла доходить до наслаждения своим безобразием и до привлечения к такому же наслаждению лиц совершенно посторонних. Не вернее ли видеть в этом явлении некоторый протестующий писк, некоторую самолюбивую, но застенчивую мысль, что «я-то, дескать, парень лихой, а вот соотечественники-то мои – куда плохой народ!». Но об этом я поговорю впоследствии, а теперь расскажу те факты, которые навели меня на изложенные выше размышления.

Меня навело на них письмо г. Касьянова, напечатанное в 16 № «Дня» и рассказывающее несколько весьма характеристических черт о способах времяпрепровождения русских гулящих людей за границей. Представьте себе, оказывается, что эти ребята ездят за границу совсем не затем, чтобы людей посмотреть и ума-разума набраться, а затем единственно, чтоб стыдиться самих себя и своего отечества! Даже немец, даже какой-нибудь гессен-филиппсталь-баркфельдец, говорит г. Касьянов, и тот скажет вам с гордостью, ткнув себя пальцем в грудь: *hier rocht ein hessen-philippstahl-barkieldsches herz*, [14] а русский гулящий человек не только не говорит этого, не только не тыкает себя в грудь, но даже не чувствует в этом ни малейшей потребности, ибо, по-видимому, уверен, что там, в этой груди, у него заключается не сердце, а что-то вроде голубиной погадки. Скромность мрачная и даже не имеющая в себе ничего отрезвительного; но если подобная скромная уверенность уже есть, если она однажды уже засела, то я не вижу ничего удивительного в том, что гулящий человек не тыкает себя пальцем в грудь: во-первых, незачем, во-вторых, замараешь палец...

И представьте себе, за такую-то скромность гулящие люди не только что наград не получают, а, напротив того, довольствуются оплеухами и подзатыльниками! И где же? в столице всемирного просвещения, в том самом Париже, который русские гулящие люди до сих пор совершенно наивно принимали за второе и даже чуть ли не за первое свое отечество, ибо Россия... что такое Россия? Россия – это не что иное, как несносная и прискорбная оболочка, горьким насильством судеб накинута

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) на просвещенного гулящего человека, тогда как Париж... Париж!

Русских обвиняют в космополитизме; по крайней мере, наши публицисты уже несколько лет сряду убиваются, доказывая, как это вредно и как это стыдно, но убиваются, как кажется, с успехом довольно сомнительным. Я не беру на себя права судить, в какой степени справедливо это мнение относительно большинства русских, я думаю даже, что оно совершенно голословно и безосновательно, однако относительно гулящих русских людей в нем есть известная доля правды. То есть не то чтобы люди эти были космополитами в серьезном значении этого слова; гораздо будет правильнее, если мы скажем, что глаза у них прожорливые и завистливые: где бы ни увидели хорошую еду или по части юпок угоды привольные, так туда сейчас и прильнут. Прильнут туда таким образом, что никак их оттолкнуть и не отскоблишь: ни физическими репримандами, ни нравственными подзатыльниками. Это космополитизм желудочно-половой, имеющий в предмете кровавый ростбиф, Шеве, Вефура и всех стран лореток, и совершенно чуждый какого-либо политического оттенка. То есть, коли хотите, он и есть, этот политический оттенок, но исключительно направленный в одну сторону: в сторону целования плечиков. Был во Франции Карл X – русский гулящий человек называл его королем-рыцарем и боготворил; был король Людовик-Филипп – гулящий человек называл его образцом семейных добродетелей и боготворил; наконец, теперь есть император Наполеон III – гулящий человек называет его великим племянником и боготворит. Тут идет речь совсем не о политике, а о том, чтобы около кого-нибудь потереться. Говорят, многие из гулящих людей, ценою невероятных усилий, проникали даже до Гарибальди, и я этому совсем не удивляюсь. Тут вся штука в том, чтобы около кого-нибудь потереться – это уж такое особенное удовольствие.

И после таких-то сверхъестественных доказательств сочувствия к великим принципам цивилизации вдруг потерпеть поражение самое постыдное, и потерпеть его даже не в Париже, а в самом Баль-Мабиле, этом третьем и едва ли не самом любезном отечестве русского гулящего человека! Вот что пишет об этом предмете корреспондент газеты «День» г. Касьянов:

«Баль-Мабиль очень сочувствует полякам – очень; все гризетки преклоняются пред общественным мнением, вся канканирующая и неканканирующая публика повторяет, как истину, о которой уже и не спорят, что Франция, *toujours si liberale, si g n reuse*, [15] должна помочь «народу-мученику» и освободить его от варваров... Варвар! Чего ни делали мы, чтоб попасть в другой чин, сколько поклонов и миллионов потрачено, чтобы заслужить повышения в европейцы, чтобы своими сочла нас Европа, – ничто не берет! Чуть что заденет ее за живое, все старое выплывает вновь, и опять – «казак», «кнут», «варвар» на языке у каждого француза, от пляшущего на балах в Тюильери до пляшущего в Баль-Мабиле. Недавно, говорят, на бале в этом знаменитом заведении толпа окружила одного господина, который почему-то подал ей повод думать, что он русский. «Вон его, вон! – заревела публика, – мы не хотим видеть русских, пусть убирается он к своим казакам, на родные снега» и пр. и пр. Господину этому грозила серьезная опасность: шляпу с него сбили, пинки посыпались в него со всех сторон. «Я не русский, я не русский», – завопил он жалостливым голосом... «Не русский, так кричите: да здравствует Польша!» Господин прокричал, но как-то нерешительно. «Громче, громче!» – повелела толпа. Господин повиновался. «Кто же вы?» – продолжали подозрительно допрашивать его баль-мабильские гости. «Я... поляк...» – «Поляк? Зачем же вы здесь, отчего вы не уехали драться с русскими?» – «Я поеду, непременно поеду». – «Вон его, вон, вон поляка, который пляшет в Париже в то время, как в Польше дерутся, вон!»... И господина выгнали.

После этого изгнания русских из Баль-Мабиля постиг, как слышно, русских таковой же остракизм и в Прадо, и в Шато-де-Флёр, и в некоторых театрах. Бедные! Пришлось-таки страдать за национальность, от которой всю жизнь отрекались и которой пуще греха стыдились!.. С мальчишками, с воспитанниками политехнической школы – не советую теперь встречаться на улице ни одному русскому. И не только в Париже, даже в Германии; немцы, как картофель на сковороде, горячатся и шипят «симпатиями» к Польше; за табльдотами в отелях происходят иногда очень и очень неприятные сцены. Рассказывают, что в Дрездене дети одного русского поселившегося там помещика были вываляны в грязи мальчишками по наущению какой-то польской патриотки. Одним словом, дело дошло до того, что русским, пребывающим за границу и возвращающимся не в самом высшем кругу, приходится на каждом шагу испытывать всевозможные унижения и оскорбления. Конечно, русский человек на обиду нослив, да и брань на ворота не виснет – но всему есть пределы. Остается или бежать домой, в Россию, или же отречься, стократ

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) отречься от своей народности – от всякой солидарности с своим народом и своим отечеством!»

Г-н Касьянов из всего этого выводит довольно меланхолические заключения; я же, напротив того, более склонен выводить заключения веселые, потому что положительно-таки не понимаю, какое дело России до русских гулящих людей. Я представляю себе физиономию этого господина, который «жалостливым голосом вопил: я не русский! я не русский!» и в сердце мое закрадывается змий сомнения: а что, если парень-то солгал! ах, срам какой! И не потому меня так ужасает эта идея, чтобы я вообще не одобрял лганья, – нет, я, на основании многих свидетельств истории, очень понимаю, что лганье, употребляемое в приличном количестве, придает даже речи особенный острый вкус, – а потому, что как же это человек до того растерялся, что и солгать-то как следует не сумел! «Я... поляк...» – пропищал этот странствующий рыцарь, когда за него принялись поплотнее, и, конечно, не только не оправдался в глазах канканирующего мира, но еще более обвинил себя. «Ты поляк... и танцуешь!» – воскликнули негодующие гризетки и, само собой разумеется, принялись за него еще плотнее. Сбили с него шляпу и не забыли наградить пинками: «это за то, что ты варвар и угнетатель русский, а вот это за то, что ты танцующий поляк». Одним словом, человек, по милости своей опрометчивости, одновременно получил возмездие за две национальности. То-то он изумился! А между тем дело могло бы кончиться весьма просто и даже не безвыгодно для него, если бы он не лгал, а просто-напросто заявил канканирующему миру настоящую истину. Например, если бы он сказал: «messieurs! я не русский и не поляк – я просто желудочно-половой космополит»; он сказал бы сущую правду и в то же время обезоружил бы негодующих гризеток. В самом деле, ведь это все равно как бы он сказал: Господа! вы ошибаетесь, я просто гороховый шут! Разве есть такая нация? разве есть такой народ, который бы называл детей своих гороховыми шутами? Увы! даже в географии Арсеньева такой нации не замечено, а потому никто об ней не знает, никто по поводу ее не тревожится. Не потревожились бы и гризетки. Они потолковали бы между собою, переглянулись бы, да и пошли бы себе канканировать как ни в чем не бывало. И бока были бы целы, и отечество осталось бы в стороне.

Вот как вредно и невыгодно бывает лгать без размышления, лгать, не взвесивши предварительно, какие может иметь для нас последствия ложь, по-видимому даже самая правдоподобная.

Воображаю я себе, какую ужасную ночь должен был провести этот русско-угнетающий-поляко-канканирующий космополит! Как он явился без шляпы в свой отель? Что он должен был отвечать на вопрос строгого прислужника: «Каин! куда ты девал свою шляпу?» Упорствовал ли он в системе лганья, отвечал ли: «служитель! я потерял мою шляпу в борьбе за отечество!» – или же предпочел быть откровенным: «так и так, братец, солгал – и за то пострадал!» – и при этом подарил служителю сто франков, чтоб только он молчал? Есть ли у этого гулящего человека семейство? с какими глазами явился он, без шляпы, к жене и детям после такого неожиданного реприманда? Слег ли он горячкой в постель или на другой день, вострепнувшись как ни в чем не бывало, отправился, взамен Мабиля, в Шато-де-Флёр или в Прадо и там в другой раз получил потасовку?

Все эти вопросы невольно толпятся в моей голове, и если я не разрешаю их, то вовсе не потому, чтобы они не были интересны с психологической точки зрения, и не потому, чтобы мне было чего-то совестно, а просто потому, что такое разрешение увлекло бы меня слишком далеко.

Но, независимо от изложенных выше поучительных выводов, рассказанный г. Касьяновым факт наводит еще и на другие мысли. Признаюсь откровенно, он даже оскорбляет меня. Я очень хорошо понимаю, что русские гулящие люди времен Фонвизина и даже Гоголя имели какой-то повод стыдиться, млеть и вообще относиться к своему отечеству с обидным равнодушием. У них были на это свои резоны – положим, ложно понятые – но все-таки резоны. У них не было гласности, а об самоуправлении в то время и понятия никто не имел. Самая устность была, так сказать, в зародыше, по которому нельзя было даже судить, что из нее выйдет: что-нибудь благопотребное или же совсем непотребное. Лишенный всех этих благ, оставленный на произвол всем ветрам, человек чувствовал себя одиноким, оторванным от своей родины. Он не имел сочувствия ни к успехам, ни к бедствиям ее, потому что и те и другие равно до него не касались. Он говорил себе: разве я тут при чем-нибудь состою? разве это мое дело, что я из-за него распинаюсь должен? – и этими размышлениями оправдывал себя. Положение жалкое, безнравственное, почти невероятное, но его можно было объяснить.



Возьмите, например, путешествующего англичанина: он везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой собой родной тип, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Вы чувствуете, что эти сторону его собственные и что он правильно поступает, не утаивая их. Почему он так поступает? а потому именно, что знает, во-первых, что тип этот нечто выработал не только для своей родной страны, но и в общечеловеческом смысле, и, во-вторых, что он сам лично в этой общей работе совсем не пятая спица в колеснице, а, напротив того, прямой ее участник и делатель.

Подобное же явление, разумеется, в более своеобразной сфере, повторяется и у нас, а именно в сфере мужицкой. Русский мужик точно так же является самим собою, то есть простым, непринужденным, и точно так же не придет ему в голову стыдиться того, что он русский. Почему? А все потому же, что он занят делом, что он чувствует себя не только не лишним, а совершенно необходимым деятелем в русской семье.

Один гулящий русский человек шатается без дела и потому не может ни к чему себя приурочить. В отношении к иностранцам он чувствует, что как будто что-то украл; в отношении к своим чувствует, что как будто что-то продал. Одиноко и безучастно носится он с своим чревом по Европе, приводя в изумление своей плотоядностью и веселой похотливостью своих нравов...

Повторяю: все это было понятно во времена Фонвизина и даже не лишено смысла во времена Гоголя. Но теперь это просто даже оскорбительно. Теперь у нас существует гласность, существует земство и суд; у нас совершилась, без разговоров, одна из величайших реформ, какие в других странах никогда без разговоров не совершались; чего еще надо? Какие можем мы принести оправдания? Можем ли сказать, что у нас скучно, – нет, нам укажут, что в одном Петербурге развелось прошлой зимой до 60 танцклассов и что никто не препятствует завести таковые в Корчеве и в Арзамасе! Можем ли мы сказать, что стеснены, – нет, мы имеем право хоть целый день проводить в халате! Можем ли сказать, что наше возрождение дело нам чуждое, что нас не привлекают и т. д., – нет, мы имеем право и беседовать, и даже излагать свои мысли письменно, хотя, конечно, не без осторожности.

Да-с; однако и за всем тем, по свидетельству г. Касьянова, русский гулящий человек продолжает вести себя столь же неодобрительно, как бы ничего сего не произошло. Неужели же не проймешь его никакими гласностями, никакими реформами? Неужели никакие возрождения, никакие усилия не прольют живительного луча в его занемевшее сердце?

Что бы такое сделать, чтобы удовлетворить скучающих гулящих русских людей, – я просто недоумеваю... Реформу, что ли, какую-нибудь новую сочинить или какую-нибудь из старых реформ уничтожить – право, уж и не знаю. Но, принимая в соображение, что здесь нужно иметь в виду преимущественно элемент чревно-половой, я полагаю, что самым лучшим способом удовлетворения представляется еда какая-нибудь необыкновенная, или же вот если б всю Россию можно было превратить в сплошной танцкласс. Тогда, надо думать, гулящие русские люди сидели бы дома и не носились бы с своим чревом по чужим странам, а ездили бы в Калязин или в Пошехонье.

Но факт этот до такой степени замечателен, что я решительно не могу отстать от него, не разъяснивши его до конца. Известно, что с некоторого времени современное русское общество распалось на две половины: «отцов» и «детей»; поэтому для меня очень любопытно знать, к которой из этих двух враждующих сторон принадлежал тот русский, который в Баль-Мабиле понес наказание за грех двух национальностей. К сожалению, г. Касьянов ни слова не говорит об этом, но, за всем тем, я все-таки надеюсь, с помощью некоторых наведений, восстановить истину в действительном ее виде.

Первый признак, который останавливает мое внимание, – это место происшествия, Баль-Мабиль. Кто из русских оказывает более склонности посещать подобные увеселительные собрания? Говоря по совести, таковую склонность преимущественно оказывают «отцы» или же такие «дети», которые, так сказать, сделались «отцами» в самую минуту своего рождения. Догадку эту я основываю на том общеизвестном факте, что в «отцах» в особенности и во все времена было развито чувство изящного, развито даже в ущерб другим деятелям человеческого организма. Рядом с этой потребностью изящного и как бы последствием ее являлась чувствительность сердца, способность воспламеняться при малейшем намеке на существо другого пола.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Само собой разумеется, что такой воспламеняемости весьма много способствовало крепостное право, которое давало возможность удовлетворять ей почти без всяких препятствий. Постоянно питаемая и изошряемая, она наконец приобретала тот характер устойчивости и чуткости, который делал «отцов» способными и достойными во всякое время и во всяком месте. Теперь представьте себе такого способного человека, вдруг очутившегося вне сферы крепостного права, где-нибудь за границей. Как должен он поступить, чтобы и туда перенести весь тот комфорт, которым привык наслаждаться у себя дома, где-нибудь в сельце Загигеевке? Красноречием он не обладает, убеждать не умеет, шаркать ножкой не обучен. Чтоб выполнить все это, он должен действовать посредством денег и обращаться с своими предложениями туда, где таковые принимаются с охотой. Более злачного в этом смысле места, как Баль-Мабиль, едва ли найдется что-либо в целом мире: это уж такой уют, где изящное добывается во всякое время и без всяких затруднений, с помощью одного презренного металла. Поэтому-то русские «отцы» издревле так и любили посещать это место; оно напоминало им родную Загигеевку, с тем только различием, что в Загигеевке для них достаточно было мания руки, а в Баль-Мабиле они были обязаны предъявлять доказательства более уважительные. Во всяком случае, «отцы» доказывали совершенно осязательно, что с помощью ли одного мания руки или с присовокуплением денег, но устроить крепостное право где бы то ни было для них ничего не значит.

Никакими подобными качествами «дети» не обладают: ни сильно развитым чувством изящного, ни чрезвычайными в этом смысле способностями. Крепостное право, которого благами они не успели насладиться, подействовало на них отрицательно, то есть возбудило отвращение к началу, питавшему его, в каких бы формах оно ни высказывалось. Это народ, не только не посещающий танцклассов, вроде Мабилы, но вообще мало общительный. Они больше всего любят беседовать с приятелями, и преимущественно беседуют об осуществлении «невидимого», или, говоря иначе, о светопреставлении. Это последнее занятие до такой степени неподозрительно, что даже люди сведущие и опытные, специально занимающиеся устранением подозрительных занятий, и те находят, что это ничего, допустить можно! «Лишь бы о текущих-то вопросах не рассуждали, лишь бы на практическую-то арену не выходили!» – говорят эти опытные люди и успокоительно вздыхают, видя, как кротко выносят «дети» невзгоды жизни и как они убиваются над поднятием таинственной завесы будущего. Как бы то ни было, составляет ли эта скромность достоинство «детей» или их недостаток, во всяком случае, происшествие, случившееся в Баль-Мабиле, касается не их, потому что их там, наверное, не было.

Второй признак, останавливающий мое внимание, заключается в том, что неизвестный отрекся от своей национальности. Во-первых, это ложь, к которой «дети», по наивности и сердечной простоте, совсем неспособны, во-вторых, это наконец глупость. Уверять в глаза целый канканирующий мир, что я не я – воля ваша, а это даже не просто ложь, но ложь глупая и притом бесполезная. «Дети» не в состоянии прибегнуть к ней уже по тому одному, что такая штука совершенно противна очевидности. Отцы в этом отношении были гораздо в более выгодном положении; они от рождения могли притворяться чем угодно, во-первых, потому, что никто с них за это не взыскивал, во-вторых, потому, что и власть у них большая была. – Ванька! я шах персидский? – Шах персидский-с. – Ан врешь, я турецкий султан! – Турецкий султан-с. – И таким образом они могли вообразить себя чем хотели, и никто им на это не возражал – мудроно ли, что это обратилось им наконец в привычку? Напротив того, «дети» лишены этого подспорья, потому что его у них нет, и, следовательно, поневоле обязываются быть тем, чем их создали обстоятельства. «Дети» не стыдятся своего отечества уже по тому одному, что относятся к нему рационально, то есть принимают его так, как оно есть, со всем его хорошим и дурным. Как то, так и другое они и себе объясняют и другим объяснить могут, а известно, что при помощи объяснений все излишнее, напускное – все ореолы, равно как и мраки, – исчезает само собою, и остается одна истина, которая никогда человеку противна быть не может. «Дети» не скажут, что мы, дескать, шапками всех забросаем, но вместе с тем и не полезут целовать плечико...

Да, это «отцы», это они – те гулящие русские люди, которые даже в Баль-Мабиле не умеют канканировать с достоинством, это те самые, которые всякому кондуктору на железной дороге готовы сказать: «ваше превосходительство», это те самые, которые потчуют шампанским и из ёрничества умеют создавать живые и художественные картины.

Другой анекдот из жизни русских гулящих людей за границей рассказывает

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «Современная летопись». Дело идет о двух знатных русских дамах, которые до того увлеклись каким-то доктором сомнамбулизма, уроженцем русской Польши, Ольцинским, называвшим себя Лондинским, что в течение каких-нибудь шести лет (шесть лет сряду быть глупым!) доверили ему сумму, превышающую 2 миллиона франков. Да не подумает, однако ж, читатель, что такая почтенная цифра была вручена Лондинскому так, ради приятных его манер; нет, русские дамы руководились при этом глубоким расчетом; они страстно желали разбогатеть и потому отдавали свои деньги верному человеку, точно так же не задумываясь, как во время оно другие люди, не задумываясь же, затратили бы значительные суммы на отыскание философского камня!

Желание приумножить капиталы может иметь и выгодные и невыгодные последствия для лица, которое им обуреваются. Но для того, чтоб эти последствия были выгодны, необходимо прежде всего в подробности рассмотреть, в чем заключается то предприятие, на которое решается. Например, если б в настоящее время воскресло знаменитое в свое время «общество для заводской обработки животных продуктов» и если б сам Василий Александрович Кокорев заверял, что это предприятие отличное, я никак не решился бы рискнуть своим капиталом даже в том случае, если б таковой у меня и был. Потому не натуральное это дело. Во-первых, завода или совсем не выстроит, или выстроит такой, в котором ни дверей, ни окон, ни печей, ни труб нет; во-вторых, скота или совсем не купят, или купят такой, который не имеет ни жиру, ни мяса, ни костей, ни кожи; в-третьих, наконец, если и пустят кой-как дело в ход, то прибыли от него пойдут на обеды и на овации, а мне, как акционеру, все-таки не попадет ничего в карман, да и обедать, пожалуй, меня не позовут. Зная все это очень твердо и принимая притом в соображение, что «миллиард в тумане» (знаменитая, в своем роде, статья г. Кокорева) все-таки еще не «миллиард в руках», я всякой сирене, которая бы предприняла улащать меня подобными предложениями, отвечал бы кратко, но сильно: *vade retro, satanas!* [16] Или, говоря другими словами: быть может, я и дам что-нибудь этой сирене на бедность, но дальше гривенника и в этом смысле все-таки не пойду.

Знатные русские дамы все это забыли и – что более всего – выказали себя самыми сомнительными патриотками. Если они непременно желали потратить свои два миллиона франков, если потеря эта составляла для них удовольствие, то почему они не устроили такого дела в отечестве? почему они не отдали своих денег в упомянутое мною общество заводской обработки животных продуктов, или в общество водопроводов, или в общество «Кавказ и Меркурий»? Я совершенно уверен, что общества эти не только приняли бы их вклады с благодарностью, но тут же проглотили бы их так, что и следа потом не сыскать.

Но они предпочли истратить деньги в столице цивилизации и вверили их Лондинскому, который, как славянин по происхождению, поспешил доказать им, что, имея с ним дело, они поступают точно так же, как бы находились в своем отечестве.

И действительно, предприятия, которыми Лондинскому удалось увлечь русских дам, имеют характер совершенно отечественный. Это серебристо-свинцовые рудники на острове Сардинии (*Domus nova* и *Domus di Maria*), это несуществующий банкирский дом в улице Рише (не те ли же общества обработки животных продуктов или разработки лесов?). Надувательство поражает своею легкостью и простотою. Никто ни о чем не спрашивает, никто ни в чем не сомневается. Лондинский приходит к некоторому проходимцу Лемете и откровенно говорит ему: хочешь получить несколько миллионов русских рублей? Разумеется, Лемете соглашается, является с Лондинским, под видом капиталиста, к знатным русским дамам, получает от них несколько миллионов рублей, а им, взамен того, объявляет, что они имеют честь быть основательницами несуществующего банкирского дома Лемете и Лондинского, № 26, улица Рише.

Пришли, понюхали и ушли. Ждут русские знатные дамы день, ждут другой – нет Лондинского, нет Лемете! Что ж, может быть, они удержаны нездоровьем, а может быть, даже заботами об интересах своих клиенток? Увы! оказывается нечто худшее: оказывается, что и тот и другой – переодетые мошенники, что *Domus nova* – пуф, *Domus di Maria* – заблуждение, а банкирский дом в улице Рише – просто милая шутка, имеющая целью исследовать, до каких границ может простираться простодушие русских дам за границей.

И вот в исправительном трибунале департамента Сены разыгрался последний акт этой драмы. Лондинский бежал в Россию и, к довершению всего, пишет оттуда успокоительные письма, удостоверяющие, что все его кредиторы будут

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) удовлетворены. Однако на сей раз русские дамы не поверили и подали на доктора сомнамбулизма жалобу. Исправительный трибунал решил: 1) Лондонского заключить на 5 лет в тюрьму и взыскать с него пени 3000 фр. (заочно); 2) Лемете заключить в тюрьму на 15 месяцев и взыскать 500 фр. пени и 150 000 фр. в пользу истиц. О прочих дамских претензиях трибунал предоставил ведаться особо.

Вот какое происшествие случилось с русскими знатными дамами в столице цивилизованного мира. Оказывается, что русские дамы, настолько гордые в своем отечестве, что считают для себя унижительным сообщество людей среднего рода, за границей оставляют свою кичливость и являются более ласковыми. Это и естественно, потому что ведь за границей не то, что у нас; за границей каждый колбасник есть урожденный философ, а каждый парфюмер – урожденный политико-эконом. А куаферы! душки куаферы! эти естественные производители грядущего русского поколения! а этот милый французский жаргон, посредством которого можно всякую пакость таким образом выразить, что от нее повеет совсем не пакостью, а благоуханием! Согласитесь, что ведь нельзя же и не ласкать подобных людей!

Я не знаю, что сказали, прочитав этот факт, учредители бывших воскресных школ и члены общества распространения бесполезных книг; я не знаю, облизнулись ли они, подумали ли: «Эх, кабы этакую-то сумму да нам! каких бы мы дел наделали!» Но я знаю наверное, что учредители русских «Domus di Maria» именно облизнулись и совсем не шутя возроптали, что вот все иностранцам да иностранцам, а нас все-таки мимо да мимо!

НАШ SAVOIR VIVRE [17]

«Нынче, мой друг, народ не то чтобы прост, а как-то очень уж глуп стал. Все сам себя обманывает, сам себя прельщает, даже словно сам у себя украсть хочет. Назовет, это, вещь другим именем и думает, что и вещь другая сделалась. Возьми, например, хоть то: выдумали теперь какой-то *savoir vivre*, а разбери ты его как следует, этот ихний *savoir vivre*, – ан выйдет то же мошенничество!» Эти слова принадлежат не мне, а бабушке Прасковье Павловне, которая во всем околотке известна своею мудростью и откровенностью (однажды она, за эту самую откровенность, чуть-чуть не была водворена в город Варнавин). Вообще это женщина, которая придерживается старых порядков, а про затеи современных либералов отзывается так: «поверь, душа моя, что все это один *savoir vivre*!»

Признаюсь, хотя я далеко не убедился в справедливости сравнения дорогой бабушки, тем не менее для меня несомненно, что на свете действительно существует какой-то «*savoir vivre*», по-видимому обладающий замечательною творческою силою.

Куда ни посмотришь – везде *savoir vivre*. Тот приобрел многоэтажный дом, другой – стянул целую железную дорогу, третий – устроил свою служебную карьеру, четвертый – отлично женился, пятый – набрал денег и бежал за границу... И всё с помощью какого-то таинственного *savoir vivre*! Право, даже любопытно становится.

– Рассудите, пожалуйста! – говорил мне на днях один знакомый. – Вот человек, который, продавая мне имение, показывал чужой лес за свой собственный! Ну не подлец ли?

– Зачем же подлец? – хладнокровно оправдывался так называемый «подлец». – Спрашиваю я вас: ежели я что им показываю, должны ли они моими показами руководствоваться?

Я рассудил, взвесил, рассмотрел и нашел, что действительно тут нет никакой подлости, а есть *savoir vivre* – и больше ничего.

– Вообразите! – вопиял другой мой знакомый. – Вот человек, который моим именем выманил у моего кредитора пятьдесят тысяч – и скрыл! ну не мошенник ли?

– Зачем же мошенник? – оправдывался обвиняемый. – Рассудите сами: ежели я подлинно что у них просил, должны ли они были моими просьбами руководствоваться?

Я опять рассудил и опять нашел, что мошенничества тут нет, а есть довольно крупный *savoir vivre* – и ничего больше.

– Позвольте! – остановил меня третий знакомый. – Вот вам субъект: он был моим ходатаем по делам, выиграл мой процесс, взыскал деньги и прикарманил! ну не

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
бездельник ли?

– Зачем же бездельник? – оправдывался субъект. – Рассудите сами: ежели я что для них, по их порученью, делаю, должны ли они за мной смотреть или нет?

И я опять рассудил, что тут нет никакого бездельничества, а есть *savoir vivre* – и больше ничего!

И что всего замечательнее, потерпевшие стороны сами очень хорошо понимали, что во всем этом главную роль играет *savoir vivre*. Если они жаловались на своих обидчиков, то в этих жалобах слышался материальный ущерб, а отнюдь не нравственная сторона вопроса: «Только отдай ты мне, что у меня украл, – звучало в их голосе, – а уж я тебе и с своей стороны покажу *savoir vivre*!» И в ожидании этого они готовы были не только примириться с своими обидчиками, но и обозвать их голубчиками...

– Ах, какой умный! Что за голова! Что за *savoir vivre*! и вот говорят, что у нас нет смелости и предприимчивости! – случается слышать везде, где соберется кучка гуляющих русских людей.

Полюбопытствуйте расспросить, кому слагаются эти похвалы, и вы убедитесь, что тут наверное или стянули железную дорогу, или пустили по миру десятки и сотни семейств.

– Вот-то дурачина! вот-то пентюх и осел! – опять раздается все в той же толпе гуляющих русских людей.

И опять любопытствуйте и опять убедитесь, что тут идет речь о каком-нибудь наивно-простоватом труженике, на котором доверчивая компания развязных дармоедов (поклонников *savoir vivre*) решила создать свое благополучие. И верьте мне, нет того поносного ругательства, нет того презрительного выражения, которое бы не послали вслед простяку гулящие русские люди! «Фофан! соломенная голова! ослиные уши! курицын сын!» – так и стонут они своими утробными голосами.

Бабушка! бабушка! ужели же ты и в самом деле была права, утверждая, что *savoir vivre* и мошенничество – одно и то же?

Но я все еще сомневаюсь; все еще стараюсь уверить себя, что *savoir vivre* – сам по себе, а мошенничество – само по себе. Поэтому буду говорить здесь только о *savoir vivre*.

*Savoir vivre*, как и всякая другая творческая сила, переживает в своем развитии очень много самых разнообразных фазисов. Сначала оно представляет собой явление простое и малосодержательное, потом все больше и больше усложняется и набирается соков; наконец лопается, словно пышный кактус, и, не опасаясь публичности, предъявляет изумленному миру разнообразие и полноту своего содержания.

Самая простая и однообразная форма, в которой проявляется *savoir vivre*, – это тайное присвоение платков, скрывающихся в чужих карманах. На предприятия подобного рода обыкновенно решаются такие люди, у которых нет своих собственных платков, но так как при этом не требуется ни глубины взглядов, ни обширности соображений, то по большей части умелых людей этой категории называют карманными ворами и бьют (за то именно бьют, что взгляды у них поверхностные и цели ограниченные). Понятно, какая нужна осмотрительность, чтобы проводить *savoir vivre* в этой простой и несколько грубой форме; но понятно также и то, что в виду беспрестанных опасений дело это само собой не может удержаться на первоначальной своей точке, но будет постоянно стремиться расширить и распространить свою арену.

И действительно, *savoir vivre* в скором времени усложняется и входит в последующий фазис своего развития. Утаиваются дома, деревни, капиталы, дороги; устраиваются карьеры и браки; появляются проекты ограбления в столь обширных размерах, что польза их так и бьет всем в глаза. Предприятия такого рода, конечно, уже гораздо труднее, ибо предполагают знание человеческого сердца и известную смелость взгляда. Но вместе с тем они и легче, потому что не сопровождаются заушением и оплеванием. Они производятся у всех на виду и при открытых дверях, а потому приобретают характер турнира. Бесстрашнейшими и

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) безупречнейшими рыцарями этого *savoir vivre* история представляет нам бывших откупщиков; в будущем мы можем усматривать зачатки такого же рыцарства в блистательно начинающемся железнодорожном деле. «На то война!» – говорят пропагандисты этого *savoir vivre* и с самую утонченную вежливостью преломляют копыя.

– Какую я, душа моя, дорогу получил! – говорил мне на днях один прекрасный молодой человек, которого до сих пор я имел наивность считать пустейшим малым, – объедение!

– Что же такое?

– Кроме песку и выси поднебесной – ничего!

И затем он начал мне разъяснять. Миллионы и сотни тысяч так и лились из его уст, словно это совсем не миллионы и не сотни тысяч, а какие-нибудь презренные медяки.

– Ты понимаешь? я взял – и сейчас в сторону! и у меня осталось...

Опять посыпались миллионы и тысячи, так что мне под конец сделалось тошно.

– Послушай, друг мой, а ведь я думал, что у тебя соломенная голова! – сказал я, – ты, пожалуйста, меня извини!

– Извиняю, душа моя, все извиняю! – отвечал он и в порыве счастья (вот как оно украшает человека!) не только извинил, но бросился даже целовать меня, повторяя, – пе-ески, пе-ески!

– Но позволь, однако, что скажет Катков? – остановил я его.

– Разрешил!

Понятно, что такого рода *savoir vivre* никак нельзя сравнивать с первым. Это даже почти не *savoir vivre*, а, так сказать, законная дань качествам ума и сердца. Тут нет ничего... совсем ничего... Тут просто развязность, изобретательность, сноровка, знание географии... и пески!

Но по мере того, как мы привыкаем к такому *savoir vivre*, по мере того, как он доставляет нам деньги, комфорт и всеобщее уважение, наш умственный горизонт расширяется сам собою и предъявляет взору такие перспективы, которых мы прежде не могли даже и предвидеть. Мы начинаем терять способность различать не только между своим и чужим платками, но даже и между всевозможными платками вообще, кому бы они ни принадлежали и в чьих бы карманах ни находились. Всякий платок представляется нам олицетворением афоризма: *res nullius cedit primo occupanti*. Не только поступки и действия наши проникаются учением о непреложности *savoir vivre*, но и наши суждения, наши попытки произвести нравственную оценку такого-то поступка или действия, весь наш умственный и нравственный обиход всецело подчиняются ему...

Это, конечно, самый счастливый и самый цветущий период *savoir vivre*; это самая совершенная форма его. Если первая из упомянутых выше форм может быть охарактеризована изречением: на воре шапка горит, вторая – изречением: не пойман – не вор, то третью всего приличнее формулировать так: и пойман, да не вор, потому что кому же судить?

Бабушка! бабушка! что ты наделала? С какую целью ты поселила во мне разлад?

Кто растолкует мне, какое действительное значение заключается в слове «вор»? Кого должен я разуметь настоящим вором и кого – просто агентом общества *savoir vivre*? Кому могу я пожать руку, кому обязываюсь плюнуть на оную?

Куда я теперь денусь? Ежели бежать в степи, то ведь и они прорезываются нынче железными дорогами, а вместе с ними и туда проникает *savoir vivre*.

Неслыханное зрелище представляют эти прекрасные, девственные русские степи! Хищный волк подходит к робкому барану, но не хватает его за шиворот, а, любезно

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) виляя хвостом, спрашивает: «позволите ли вас скушать?» лисица, забравшись в курятник, не душит и не терзает, но ищет успокоить всполохнувшихся кур и вкрадчивым голосом вопиет: «посмотрите, милые, как я вас ощиплю!» Эта душегубствующая любезность, это умиротворяющее хищничество приводят меня в трепет и ужас. Я чувствую, как капли пота выступают у меня на лбу, как холодеет спина и начинают дрожать ноги...

Тысячи разнородных экземпляров человека проходят мимо меня, и – странное дело! – никому-то не стыдно, никто не краснеет!

Все идут очень свободно; все разговаривают и беззастенчиво передают друг другу свои вчерашние и сегодняшние *prouesses*. [18]

– Слышали, какую штуку Федька удрал? – говорит один.

– Слышали, какой Сережа проект ко всеобщему ободрению сочинил? – вторит другой.

– А! вот и он! Сережа! Сережа! к нам! сюда! *Quand on parle du soleil, on en voit les rayons!* [19] – сыплется со всех сторон.

Сережа приближается; он сыт, доволен и, сверх того, чувствует, что его уважают. Его окружают, ему льстят, около него лебезят. Что же мудреного – он финансист!

– Ну что 1, шалопаи! хотите в компанию? – благосклонно спрашивает он, подавая собеседникам концы пальцев.

– Сережа! голубчик! хоть чуточку! – вопиет один.

– «Петушком»! – осклабляется другой.

Остальные облизываются.

– Вы, однако, должны знать, *messieurs*, что это дело серьезное... очень, очень серьезное! – глубокомысленно провозглашает Сережа.

– Уж я! уж мы! только допусти!

– А помнишь ли ты, соломенная голова, как ты у братьев наследство украл? – внезапно врывается в беседу чей-то фюфанский голос, очевидно, обращенный к Сереже.

– Что касается до этого, то... *nous en parlerons plus tard, mon cher!* [20] Теперь же могу сказать тебе одно: в наше время жизнь дается только тем, кто ее с бою берет, а не тем, кто перед нею слюни точит! – произносит Сережа и величественно удаляется, сопровождаемый толпой поклонников.

Это – последнее слово современного *savoir vivre*. Уметь эскамотировать шары, с утра до вечера рыскать по городу и топтать в передних ковры – это называется брать жизнь с бою; сидеть спокойно дома и чуждаться охватившей всех жажды стяжания... стяжания во что бы то ни стало – это называется точить слюни.

– Совсем нас узнать нельзя! – говорил кто-то на днях в каком-то учено-обеденном обществе. – Просто мы не славяне, а англосаксы какие-то сделались! так и хватаем! так и хватаем!

– Ключем отлично! – прибавил другой. – Только как бы не наклеваться на замаскированный крючок!

– С божьей помощью, этого не случится! – прервал третий, который, по-видимому, еще не успел сбуть свои акции и которого воспоминание о крючке сильно передернуло.

Одним словом, восторг общий. Ученые общества надеются и провидят новые залюги преуспеяния, публицисты плещут руками и подают благоразумные советы; генералы входят в общение с простыми негоциантами, задают обеды с музыкой и говорят спичи; присяжные поверенные предлагают свои услуги.

Никогда не было на Руси такого веселья! Были мы грубы и неотесаны; только и было

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) на языке: мошенники да мошенники! И вдруг... *savoir vivre*!

– *N'est-ce pas que cela aplanit bien des choses?*[21] – говорила на днях одна прекрасная кокотка, и говорила сущую правду.

И за всем тем, меня тревожат два вопроса:

Вопрос первый. Каким образом могло случиться, что соломенные головы вдруг сделались и экономистами, и финансистами, и чуть-чуть не политиками?

Вопрос второй. Ежели справедливо, что от всех этих затей пахнет миллионами, то с какого благодатного неба должны свалиться на нас эти миллионы?

Первый вопрос разрешается очень легко: именно потому-то и имеют успех соломенные головы, что они соломенные.

Нет ничего проще, как устройство соломенной головы. Правда, что она не отличается прочностью и что чрез ее скважины очень скоро стекает всякая мысль, которая в нее извне вливается; но зато в нее и попадает всякий сор гораздо удобнее, нежели в обыкновенную человеческую голову. Она постоянно раскрыта для каждого ветра, хотя бы даже и зловонного, но по этому-то самому так быстро и колеблется всякими дуновениями. Обыкновенная голова имеет способность задерживать мысли и комбинировать их с тем мыслительным капиталом, который нажит прежде. Напротив того, соломенная голова ничего не задерживает и не имеет надобности комбинировать, потому что мысли проходят сквозь нее, как сквозь пустое решето. Это качество во многом ее облегчает: оно делает ее быстро воспламеняющеюся, оно позволяет ей действовать, ничем не стесняясь. Не нужно быть ни экономистом, ни финансистом, ни политиком, чтобы скалить зубы на чужой платок. Для этого требуются только крепкие инстинкты плотоядности и чревоугодничества, а затем звания экономистов, финансистов и политиков придут сами собою.

Нахальство, нестесняемость, развязность и постоянное, неуклонное стремление к кускам – вот основания и принципы этой новой экономической науки.

Что такое рубль? откуда он выходит? какая его родословная? – все это вопросы, совершенно чуждые соломенной голове, и я положительно утверждаю, что только при отсутствии этих вопросов и можно делать те операции, которые она делает.

Соломенная голова рассуждает так: рубль – это рубль, и ничего больше. Она думает, что это какая-то заблудшая овца, которая родилась на монетном дворе или в меняльной лавочке, потом шаталась где-то без дела и теперь, благодаря ее *savoir vivre*, лезет к ней в карман.

Соломенная голова даже не знает, что будет делать эта заблудшая овца у нее в кармане. «Полагать надо, – думает она, – что пошевелится она там малое время без призрения, покуда не пристроится опять к какому-нибудь меняле, и опять надо будет ее оттуда вытаскивать...»

Что такое «операция»? Что из нее выйдет? насколько она может подействовать в том или другом смысле? и на что подействовать? и эти вопросы точно так же чужды соломенной голове, и я точно так же утверждаю, что только при совершенной свободе от них можно действовать наотмашь и не стесняясь, то есть так именно, как действует всякая соломенная голова.

– Пе-ески! пе-ески! – радостно восклицал мой юный приятель, о котором я повествовал выше, и рассуждал так наивно, что даже нет возможности спросить его: «да чему же ты, дурашка, радуешься? Что тебе вдруг так весело сделалось?» Нельзя сделать ему этот вопрос уже по тому одному, что он и слово «пески» во всем его объеме постигнуть и объяснить не может.

Многие думают, что тут кроется какая-то тайна. Совсем никакой тайны нет, а дело самое обыкновенное. Нахальство и стремительность в достижении целей (а следовательно, и успех) столь же свойственны соломенным головам, сколько совестливость и некоторая нерешительность свойственны обыкновенным головам человеческим. Это истина, которую подтверждает и история. Стоит только ничем не брезгать да вольно ходить, и вдруг очутишься таким финансистом, что сам Молилари



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) руками разведет.

Говорят, что мы не славяне, а англосаксы. На чем, однако, основано такое мнение? На том ли, что мы очень жадны? на том ли, что нас, при виде гривенника, кидает в озноб? Но есть некоторое животное, боровом называемое, которое и того жаднее, но которое, за всем тем, никому и в голову не приходило называть англосаксом! Стало быть, это вздор, а правда – вот она: все мы бахвалы-лежебоки, которым легкий труд очень нравится! И ничего более.

Из всего изложенного видно, что многие вопросы, которые на первый взгляд кажутся очень трудными, в сущности разрешаются самым свободным образом. Итак, не завидуй, читатель, успеху соломенных голов и будь доволен тем, что у тебя на плечах голова обыкновенная! *Suum cuique*: [22] им – рубль и соломенный намет на плечах; тебе – голова и три копейки медных. Чей удел счастливее?

Гораздо труднее разрешить вопрос нумера второго, а именно: с какого благодатного неба имеют свалиться на нас ожидаемые миллионы?

Но так как вопрос этот действительно очень труден, то я предпочитаю не разрешать его. Будем думать, что он когда-нибудь разрешится сам собою.

Меня всегда удивляло, почему *savoir vivre* так мало развит между так называемую меньшую братью? И – что всего замечательнее – чем беднее эта меньшая братия, чем слабее в ней развиты всякого рода промышленные и цивилизующие поползновения, тем менее оказывается и чувства *savoir vivre*.

Меньшая братия не знает ни заемных писем, ни векселей, ни сохранных расписок, ни контрактов. Пробовали давать меньшему брату займы денег без всяких документов – отдает; пробовали заключать с ним самые, что называется, удовлетворительные условия без малейшего посредства бумаги – исполняет. Как ни испытывали его *savoir vivre*, как ни старались возбудить его в нем – не оказывается, да и все тут.

Если меньший брат взял у вас денег и предвидит, что ему нечем будет заплатить в срок, то он уже загодя мучится и всею своею фигурой говорит: виноват! То пройдет мимо вас, потупив глаза, то вдруг взглянет на вас... как взглянет! Тогда из него хоть веревки вей. По первому вашему мановению, он начинает и пахать, и бороновать, и сеять, и косить, и жать, или, другими словами, действовать хребтом, и действует им до тех пор, покуда вы сами наконец не скажете: довольно!

– А ведь это, брат, только проценты! долг-то, брат, сам по себе! – инсинуируете вы ласково.

– Ну, само собой! долг – это, разумеется, само собой! – отвечает он и как благодарен-то, как благодарен он вам, что вы позволили ему подействовать мало-мало хребтом...

И в самом деле, что такое ему хребет! он действует им так свободно и ловко, как будто он у него не свой, а казенный!

Вот к каким прекрасным результатам можно прийти, ежели сойдутся вместе: с одной стороны *savoir vivre*, а с другой – недостаток в оном.

То ли дело друг мой, Феденька Козелков! Он три года должен мне некоторую сумму, и всякий раз, как мы встречаемся, не он робеет передо мной, а я перед ним. Он так развязно подходит ко мне, так любезно спрашивает о моих занятиях, что я чувствую себя не только очарованным, но даже боюсь, буквально боюсь, чтоб он как-нибудь не проговорился о своем ничтожном должке!

Мне скажут, быть может, что тем не менее большинство воров, грабителей, разбойников и т. д. все-таки выходит из меньшей братии, и следовательно... Позвольте, господа! во-первых, можно поручиться заранее, что все эти воры, грабители и т. д. более или менее уже принадлежат к числу тронутых стремлением к *savoir vivre*; во-вторых, возьмите их численное отношение к массе меньшей братии и вы несомненно увидите, что об этом даже и говорить не стоит.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Но чем больше мужик оперяется, тем настоятельнее начинают взывать в нем инстинкты *savoir vivre*. Из простого чибиса он делается коршуном, из барана – волком. Правда, что ни орлом, ни львом он все-таки никогда не сделается, но ведь и место наше такое... по нашему месту и волка очень довольно.

Он начинает отрицаться, утаивать, отговариваться запямятованием и все эти акты своего *savoir vivre* сопровождает вздохами. «Ничего я этого не знаю», «никогда я у тебя не брал», «и напрасно ты меня этим делом беспокоишь» – вот слова, которые изрекают его уста в этот первый период его превращения. Потом он мало-помалу входит в рассмотрение среды, в которой живет, и, тщательно изучив положение каждого из ее членов, начинает производить свои финансовые операции в более крупных размерах. Потом голову его постепенно начинает угнетать мысль о всеобщем ограблении; ему становится тесно в деревне; ему надо губернию, две губернии, три губернии... целую Россию! И вот он бредет откуда-нибудь, из родной Заманиловки, бредет пешком, не спит, не ест, не пьет, все думает: как бы обделать дело в лучшем виде! И вдруг, спустя полгода, вы узнаете, что у нас в городе родился новый финансист!

– Кто такой? кто такой? – спрашиваете вы с жадностью.

– Представьте... простой мужичок! и даже неграмотный! – отвечает вам одна из соломенных голов, плененная проектом всеобщего уязвления.

– Что ж он такое сочинил? – продолжаете вы ваши вопросы.

– Ну, это покамест еще тайна!

Оказывается, однако ж, что мужичок-финансист, при помощи авоськи да небоськи, ничего не упустил из вида; что он не только поверхность земли, но и самые ее недра предположил устроить и привести в порядок, чтоб не лежали праздно, а приносили посильный плод на пользу и радость любезному отечеству.

Появляются проекты об эксплуатации собачьего помета, проекты о собрании на всем пространстве России рыбьих костей, о заселении песчаных степей, об обращении бесплодных мест в плодоносные...

– Иван Иванович! голубчик! так мы, стало быть, собачий помет собирать станем? – спрашивает соломенная голова, готовая, в порыве энтузиазма, даже и на этот подвиг.

– На что же-с! Мы только акции выпустим-с! – отвечает мужичок-финансист и затем начинает обстоятельно и толково объяснять сокровенную сущность проекта.

Я отнюдь не говорю и не думаю, чтобы у этого мужичка-финансиста была соломенная голова (я скорее готов назвать ее булыжниковою), но предоставляю читателю судить о тех, кто соблазняется проектами, до концепции которых он дошел собственным умом...

На днях я читал книгу Тено «Paris en Décembre 1851»[23] и убедился, что современный *savoir vivre* ведет свое начало из переворота 2 декабря 1851 года. Мало того: эта книга доказала мне, что истинный *savoir vivre* может быть иногда доведен даже до размеров полного свободомыслия.

Никто не станет отрицать, что Кавеньяк, Шангарнье, Шаррас, Тьер, Виктор Гюго и множество других жертв декабрьского переворота – люди умные и довольно проникательные. Многие утверждают, что они в этом отношении стоят даже выше, нежели какие-нибудь Морни, Сент-Арно и Мопя и другие герои того же закала, которые неведомо откуда взялись и расцвели в ночь с 1 на 2 декабря (в Тьере и Шангарнье нельзя даже отвергать и замечательного *savoir vivre*). И вот, однако ж, эти внезапные выходцы неизвестности, эти простые люди, не знакомые ни с миром, ни с его ухищрениями, вдруг, в течение каких-нибудь нескольких часов, становятся выше, опытнее и дальновиднее тех, которые в продолжение многих и многих лет уловляли вселенную! Надо же, чтоб была какая-нибудь причина, объясняющая столь загадочное явление.

По моему мнению, такое извращение естественного порядка в деле уловления произошло единственно оттого, что ни Тьер, ни Шангарнье, ни Кавеньяк не умели

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) возвыситься до того свободомыслия, до которого разом возвысились простые рыбаки, никогда не стеснявшиеся никакими соображениями. Кажется, что может быть легче, как войти целой ордой в дом к спящему человеку и пришить его, а кто же, кроме совершенно свободномыслящего человека, решится на такой подвиг? Что может быть проще насилия, пошлее коварства, нахальнее необузданности, и между тем кто, кроме субъекта, вполне освободившегося от всяких нравственных обязательств, охотно согласится на такие поступки, которые повлекут за собой для него название человека коварного, нахального и необузданного? Все подобного рода действия не требуют ни ума, ни особенных способностей; единственное условие, которому они подчиняются, – это условие внезапности. Сюрпризы, изготавливаемые при помощи *savoir vivre*, тем именно и благонадежны, что к ним нельзя приготовиться и что, следовательно, ни ум, ни проницательность, ни таланты – ничто не может устоять против них, ничто не может их отразить. Это своего рода кирпичи, внезапно сваливающиеся с крыши и сразу убивающие человека, – что против них поделаешь?

«Сберегайте ваши силы и утомляйте силы обывателей». «По временам ушибайте, но делайте вид, что это произошло невзначай». «Обманывайте, обманывайте и обманывайте!» Ничего не может быть проще и даже глупее этих аксиом, но с тех пор, как они открыты, как проявились наши понятия? какие обширные перспективы открылись перед нами! Мы нашли средство вывести эти аксиомы из той специальности, в которой они первоначально замыкались, и отыскивать для них такие применения, которые едва ли снились даже изобретателям их. Мы переносим эти аксиомы во всевозможные жизненные сферы, какие доступны нашему пониманию, мы видим в них не только идеал практической мудрости, но и единственное условие каких бы то ни было успехов. Мы обманываем, обманываем, обманываем...

С одной стороны – *savoir vivre*, с другой – толпа, до которой имеет дело этот самый *savoir vivre*. Как ни прост сей последний, как ни ограниченны его цели, все-таки он знает, чего хочет, и, следовательно, обладает известной дозой решимости. Он тогда только и выходит, когда уже заранее определит и свои собственные позиции, и точку, в которую предстоит ему целиться. Совсем другой вид представляет толпа; как ни предполагайте ее проницательную, она уже по тому одному не в силах ничего предпринять, что не знает, откуда и какого рода камень будет в нее брошен. Она может выделять из себя великих и гениальных людей, она может совершать чудеса самопожертвования и доблести, но против неожиданностей и расставляемых ловушек ничего сделать не в состоянии.

На этом-то именно и основан весь расчет так называемого *savoir vivre*, и вот этот-то именно расчет и поняли в совершенстве так называемые соломенные головы.

Когда мы дойдем до той степени естественности и простоты взглядов, что, встречаясь на улицах, будем говорить друг другу:

– Поздравь меня, душенька! я только что, сию минуту, у Доминика пирог с прилавка благополучно стащил!

– Эка невидаль! А я вчера тридцать тысяч украл – и то никто не заметил!

Когда, говорю я, мы достигнем такого свободомыслия, что перестанем отличать свои карманы от чужих – тогда настанет для нас тот блаженный период, в котором нет ни правых, ни виноватых, ни злых, ни добрых, ни дурных, ни красивых, а существуют одни умелые люди.

Я не утверждаю, чтобы мы были очень близки к этой волшебной цели; но достойно замечания, что уже теперь, когда мы находимся еще на половине пути к ней, истинно умными людьми называются только люди умелые. Их одних ценят, одними ими дорожат. Все остальное, не подходящее к этому идеалу, составляет собрание так называемых *têtes creuses*, [24] о которых не может быть даже помина, когда идет речь о развернутом фронте разнообразных актов нашего *savoir vivre*.

Мне кажется, однако, что мы могли бы иметь и еще больше успеха, если бы действовали несколько смелее и увереннее. Нас смущает мысль, что мы все-таки не больше как *les cadets de la civilisation* [25] и что настоящих образцов даже в таком простом деле дать никому не можем. Французское мастерство продолжает застилать нам глаза и отнимает у наших попыток всякую оригинальность. В этом случае образованность и слишком большая начитанность, по моему мнению, даже вредны. Не будь у нас этой боязни идеалов, этого обожания чужой цивилизации, мы

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) не падали бы в обморок при мысли: что-то скажут наши учителя? – но устраивали бы свое дело собственными средствами, как бог на душу положит... И наверное делали бы много, прочно и хорошо.

Укажу, например, на следующее простое дело: украл человек сумму или, лучше сказать, не украл, а незаметным образом совершил экспроприацию. Факт, по-видимому, простой и совершенно безобидный, – и что ж вы, однако ж, думаете? – поднялась какая-то разноголосица, устроился чуть ли не целый турнир! по поводу такого-то, ничего не стоящего факта! Одни говорят (к счастью еще, что случились люди вполне компетентные!): если украл – пускай пользуется! другие говорят: нет! воровать не позволено, потому что таким манером скоро не будешь знать, целесообразно или нецелесообразно выходить на улицу одетым и иметь при себе платок?

– Этак, батюшка, куски изо рта вырывать будут! – говорили голоса более решительные.

– Так вы скорее глотайте! – возражали им голоса не менее решительные.

Я понимаю, что в вопросе столь великой важности подобный разлад совершенно уместен; тем не менее он все-таки настолько прискорбен, что служит почти единственною помехою для нашего поступания вперед. Если б мы были на этот счет согласны, если б мы один раз навсегда сказали друг другу: прочь сомнения! укравший – пусть пользуется; оплошавший – пусть вкушает плоды экспроприации! – нельзя даже исчислить, до каких геркулесовых столпов цивилизации мы могли бы дойти! Всякий, видя нас, говорил бы: вот люди, которые знают, чего хотят! вот люди, на которых можно положиться, как на каменную стену! Тогда как теперь, видя наши неурядицы, все говорят: вот слабое, преждевременно отжившее поколение, которое препирается даже насчет таких общеизвестных предметов, как экспроприация!

Нет; как ни несомненно мое уважение к старой бабушке, я ни под каким видом не могу согласиться с нею. *Savoir vivre* и мошенничество, может быть, две равно великие, но в то же время совершенно различные силы. Большая разница: вырвать у ближнего изо рта кусок наглым образом – и вынуть тот же кусок так, чтоб никто не заметил; насколько первое зазорно, невежливо и оскорбительно, настолько второе естественно... почти законно!

Пускай огорченные идеологи ораторствуют насчет развращенности нравов; пускай какой-нибудь обозлившийся мизантроп провозглашает, что наше время может представить только ядовитые продукты умственного и нравственного гниения; скажем друг другу раз навсегда: это говорит зависть, ограниченное скудоумие – и затем станем добре.

На свете слишком много простосердечных людей, чтоб можно было допустить их невозбранно коптить небо. Пожалуй, они закоптят его так, что нам, людям умелым, нельзя будет прямо взглянуть на солнце. Этот народ плодущ и назойлив; его необходимо разрезать частью посредством водворения... в известных границах, частью посредством проглатывания. Только в этом разреженном состоянии можно допустить участие столь беспокойного элемента в общем жизненном хоре; только в этом виде он может быть рассматриваем не только как известный, не оскорбляющий слуха диссонанс, но даже как некоторая нелишняя поправка нашему слишком разыгравшемуся *savoir vivre*.

Нет спора, снисходительность и великодушие похвальны; но и они становятся приторными, как скоро употребляются без меры и несвоевременно. Время не терпит; каждая минута приносит за собой капиталы; нам предстоит шарить, хватать, глотать – а мы, вместо того, станем распускать слюни и слушать проповеди о воздержании и каких-то ядовитых продуктах нравственного гниения! Да поймите же наконец, до какой степени это несообразно и глупо!

Итак, будем великодушны, но в то же время и тверды. Пускай наша снисходительность умеряется бодростью и неуклонным шествием вперед. Сверх того, не станем стесняться чужими образцами, но изберем себе те пути, которые укажут нам наши собственные инстинкты любостыжания. И да не постыдимся.

ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТА

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
(по поводу «Золотой рыбки»)

Я люблю балет за его постоянство. Возникают новые государства; врываются на сцену новые люди; нарождаются новые факты; изменяется целый строй жизни; наука и искусство с тревожным вниманием следят за этими явлениями, дополняющими и отчасти изменяющими самое их содержание – один балет ни о чем не слышит и не знает; один балет с истинно трогательным постоянством продолжает возглашать: «Vive Henri IV!», [26] в то время, как Наполеониды...

Балет консерватор по преимуществу, консерватор до самозабвения. Он знает, что цветущее его состояние тесно связано с большею или меньшею солидностью тех краеугольных камней, которыми от времени до времени бросает в публику русская публицистика; он чтит эти камни, потому что они в лицах присутствуют в первых рядах партера, и охотно посвящает себя на служение им. «Пускай астрономы доказывают, что Земля вокруг Солнца обращается», – говорит он и вместе с публицистами убеждает, что в балетно-благоустроенном мире никаких подобного рода стеснений допущено не может быть, ибо здесь все зависит от усмотрения балетмейстера. Вот первый краеугольный камень, связующий балет с консерватизмом.

Владычествую запанибрата в сфере духов и видений, повелевая стихиями, распоряжаясь свободно течением небесных светил, балет, с тем вместе, возвышает ум и сердце человека. Это краеугольный камень нумера второго. Консерваторы любят парить духом и возноситься сердцем при виде порхающих балерин; они любят уноситься мыслью в трансцендентальные сферы при виде коротеньких газовых юбочек; они любят умиляться духом при виде маленьких ножек, которые поднимаются... поднимаются... С своей стороны, балет очень хорошо сознает благотворное действие, производимое им на консерваторов, и потому усугубляет свое служение консервативным началам до самоотвержения. В порыве преданности он делается даже либерален и, рискуя произвести в театре консервативную революцию, неустанно взывает к корифейкам: выше! выше!

Если б было достоверно доказано, что «духа долины» не существует – что случилось бы с балетом? Если б явился новый Галилей, который перед зрителями первых рядов Большого театра выразил бы робкое предположение, что «пламя любви» есть не более как балетный предрассудок – что случилось бы с консерваторами? И балет и консерваторы очень хорошо понимают, что в Галилеях заключается их погибель, и потому теснее и теснее скрепляют связующие их узы, давая торжественную клятву не иметь иной веры, кроме веры в «пламя любви», и не руководиться иными убеждениями, кроме убеждений «духа долины».

О Галилеи! найдется ли у вас достаточно сил, чтобы сокрушить этот крепкий балетно-консервативный союз?!

Но никогда еще единомыслие балета и консервативных начал не выражалось с такою яркостью, как в балете «Золотая рыбка», поставленном прошлого года на сцене петербургского Большого театра. Тут все, от первого до последнего антраша, с изумительною последовательностью, поставлено в явное противоречие не только с Галилеем, но даже с географией Арсеньева и историей Смарагдова (два авторитета, допускаемые даже консерваторами, конечно, не слишком рьяными). Но потому-то именно этот балет и получил такой необыкновенный успех. Консерваторы поняли, что он не только возвышает ум и сердце, но имеет еще весьма важное воспитательное значение, что он, убеждая зрителей незыблемо хранить веру в «духа долины», в то же время вырывает с корнем последнее зло, подрывавшее эту веру, и смелою рукою сводит «Географию» с ее пьедестала.

И в самом деле, что такое «География»? География – говорит г. Арсеньев – есть землеописание. Несмотря на ощутительную загадочность этого определения, в нем чувствуется некоторая конкретность. Из-за «землеописания» выглядывают знакомые нам физиономии стран и народов, с их именами и историческими особенностями, а пожалуй, даже и с притязаниями. Консерваторскому чувству это противно. Консерваторское чувство желало бы, чтобы география была именно только землеописанием и чтобы затем, перевернув первую страницу, можно было сказать: ничего в волнах не видно! Поэтому консерваторы давно уже подозревали географию в неблагонамеренности и измене и даже пробовали, при помощи публицистов, пускать в нее краеугольными камнями довольно увесистого свойства, но до сих пор усилия их почему-то не имели надлежащего успеха. И вот эту бесценную услугу, которая оказалась не под силу даже русской публицистике, удалось оказать «великой консервативной партии» поборнику совершенно новому и неизвестному – одним словом, скромному балетмейстеру петербургского Большого театра г. Сен-Леону.

Но чтобы понять всю великость подвига, совершенного г. Сен-Леонам, необходимо рассказать здесь вкратце содержание измышленного им балета.

Действие открывается на берегу Днепра. По-видимому, такое определенное обозначение местности обнаруживает в авторе некоторое поползновение примирить балет с географией, но, в сущности, как увидим ниже, это с его стороны только хитрость. Г-н Сен-Леон, как опытный боец, знает, что к сильному врагу следует подходить с осторожностью, и потому на первых порах решается менажировать его. В действительности декорация представляет не Днепр, а реку Стикс, на берегах которой, в противность явному свидетельству мифологии, резвятся сказочные поселяне и поселянки. Эти простодушные дети природы, как и водится, препровождают время в плясках и играх. Почему они пляшут? Они пляшут потому, что налаживают сети, они пляшут потому, что готовят лодку, они пляшут потому, что они поселяне и в этом качестве должны плясать. Выбегает Галя (г-жа Сальвиони) и машет руками, в знак того, что у нее есть старый муж, который только спит, а ее, Галю, совсем не утешает. Пользуясь сим случаем, поселяне пляшут опять. Этим временем Тарас закидывает сети в Днепр и вылавливает золотую рыбку, которая, однако ж, оказывается не рыбкою, а прехорошенькою девочкою. Тарас отпускает «рыбку» на волю, то есть не потрошит ее на уху, а бросает обратно в Стикс, и в благодарность за это получает от нее кучу раковин. «Лишь бы ты чего захотел, – говорит милая девица, – брось одну раковину в воду, и желание твое мигом сбудется». Затем, согласно с желаниями Тараса, начинается целый ряд превращений: сначала является новое корыто, потом новая изба и, наконец, боярские хоромы. Галя делается «боярыней» и приобретает себе в услужение пажа, в образе которого искусно скрывает себя та же золотая рыбка.

Свидетельствуюсь всеми историческими и географическими учебниками, принятыми в руководство и не принятыми (апокрифическими), что в Днепре никогда и никто золотых рыбок не лавливал, а в особенности рыб, имеющих человеческий образ. Ходили, правда, слухи, что река эта населена русалками, а окрестности ее ведьмами, но ни Смарагдов, ни даже Кайданов никогда не признавали за этими слухами никакой достоверности. Сверх того, никто не вправе игнорировать, что вследствие распространения просвещения все эти дамы давно уже выдержали экзамены на домашних учительниц и, оставив прежние непроизводительные занятия, расселились по разным закоулкам нашего обширного отечества, где и проживают в качестве гувернанток. Г-н Сен-Леон, конечно, знает это, а ежели знает, то ясно, что слово «Днепр» употреблено им единственно в пику географии и с злым намерением погубить ее до сих пор незапятнанную репутацию. И действительно, совершив это сокрушительное дело, г. Сен-Леон уже не стесняется никакими географическими терминами и прямо выводит зрителя на ровное место, где ничего не видно, а видна одна высь поднебесная.

Я нарочно наблюдал, в продолжение первого акта, за старичками-консерваторами, сидящими в первых рядах кресел. Сначала, при имени Днепра, их физиономии хмурились, но потом, по мере разъяснения дела, постепенно разглаживались; когда же золотая рыбка появилась в образе пажа, то уничтожение географии явилось столь несомненным, что лица всех озарились сладкою консервативною улыбкою. Такому удовлетворительному результату немало, впрочем, способствовала г-жа Канцырева, игравшая роль золотой рыбки. Старички-консерваторы с нечеловеческим вниманием следили за каждым движением этого прелестного ребенка, и если бы не подагра, то, наверное, улетели бы вслед за ним в то время, как он исчезает в картонных волнах псевдо-Днепра.

Я совершенно понимаю порывы старичков. Г-жа Канцырева очаровательна, и не лететь за ней невозможно. Но, с другой стороны, принимая во внимание: 1) что старички сии, судя по совершенным их летам, занимают по малой мере места особ на заставах, команду имеющих, и 2) что с отлетом их остался бы неразрешенным вопрос о разных по части застав усовершенствованиях, я не могу в то же время не удивляться прозорливости начальства, которое, вместе с страстными порывами, снабдило старичков и подагрою.

Второе действие застаёт Галю боярыней. Но этого ей уже мало; в сердце ее роятся иные желания. Тут, как нельзя более кстати, врывается в комнату луч месяца («пускай астрономы доказывают! пускай доказывают!»), и глазам Гали представляется чудная картина: царица, окруженная блестящим двором. Декорация переменяется – и Галя царица! Сцена представляет парадные апартаменты во дворце, и перед изумленными глазами зрителей проходит великолепнейшая процессия.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) Процессия эта состоит исключительно из министров (по крайней мере, *garde des sceaux*[27] был тут наверное), и мне сдается, что присутствуй тут г. де Персиньи (до сих пор не могущий позабыть, что он совсем не Персиньи, а Fialin) или г. де Лавалетт, то они несомненно приняли бы эту сцену на свой счет. Министры подносят Гале корону, но она, припоминая из Кайданова, что «корона есть бремя», некоторое время колеблется. Тогда первый министр употребляет решительное средство, чтобы победить эти колебания; «помилуйте! да ведь это бумажный колпак!» – говорит он и, к общей радости остальных министров, достигает вожделенной цели. На сцене начинаются танцы, а за кулисами выкатывается бочка пенного для прочих балетных подданных.

Но, уввы! Галя не оправдывает ни доверия, ни надежд своих подданных. Она, как женщина легкомысленная, сразу пускается в пляс и даже увлекает в оный четырех министров. Образуется прелестнейший *pas de cinq*, [28] и Галя с удовольствием усматривает, что ее министры способны всякую реформу вытанцевать в лучшем виде, а со временем, быть может, будут в состоянии и *couronner l'édifice*.

Я опять взглянул на «старичков-консерваторов»: на сей раз они летели за г-жою Сальвиони. Вновь пришлось изумиться предусмотрительности начальства, снабдившего «старичков» подагрой; но, с другой стороны, принимая во внимание: 1) что в усовершенствованиях по части застав настоятельной надобности не предстоит и 2) что за сим к беспрепятственному отлету «старичков» за г-жами Канцыревой и Сальвиони никаких затруднений не представляется, – я не мог не сознаться, что даже для самой мудрой предусмотрительности имеются естественные пределы, преступать которые не надлежит.

Начинается третий акт, который есть не что иное, как организованная галиматья, а потому рассказать его содержание нет возможности. Замечательнее всего в этом акте появление «фантастического крестьянина» и полет г-жи Сальвиони на ковре-самолете...

Я в третий раз взглянул на «старичков-консерваторов», с намерением в третий раз удивиться предусмотрительности начальства, но, сообразив обстоятельства сего дела и имея в виду: 1) что распределение человеческих немощей ни в каком случае от усмотрения начальства зависеть не может и 2) что засим всякое суждение об этом предмете по малой мере преждевременно, – определил: не давая ни ближайшего, ни дальнейшего развития размышлениям о «старичках-консерваторах», оные прекратить, предоставив, впрочем, их участь милосердию г-ж Сальвиони и Канцыревой.

Вот краткое содержание балета «Золотая рыбка», привлекавшего в Большой театр многочисленную публику. Я вполне понимаю цели, руководившие г. Сен-Леоном при сочинении этого балета, и даже безоговорочно одобряю их... Я уверен даже, что если б г. Сен-Леон мог разрешить корифеям и корифейкам говорить, то он непременно заставил бы их говорить по-гречески или по-латыни, все в видах достижения тех же консервативно-мифологических целей... Но я позволяю себе усомниться в одном: для чего тут необходимо посрамление географии? и действительно ли усматриваются в ней такие вредоносные начала, которые могут серьезно тревожить так называемую «великую консервативную партию»?

Положа руку на сердце, я отвечаю: нет, никаких вредоносностей за географией не водится! Говоря по совести, география, и в особенности «сокращенная», есть наука очень и очень полезная. С помощью ее можно во всякое время снаряжать экспедиции, заключать трактаты, расширять и исправлять границы, руководясь единственно одною удобностью. В этом смысле пользуются географией московские публицисты без всякого опасения – и что же? выходит хорошо! Потому что, не будь географии, мы именно блуждали бы, так сказать, в непрерывном ужасе. Задумавши снарядить экспедицию, мы не знали бы, куда ее снарядить; задумавши победить – не знали бы, кого победить; задумавши занять денег – засовывали бы руки совсем не в те карманы. Я уверен даже, что не только география, но и история, и арифметика, и самый «Домашний лечебник» кн. Енгальчева не суть вредны. Дело только в том, чтобы извлекать из них благопотребное, а непотребное отбрасывать и отсекаль. Так, например: достоверно известно, что без помощи «истории» мы не имели бы понятия о многих полезнейших мероприятиях, а без твердого знания таблички умножения не могли бы вести правильный счет податям и повинностям. Посему опасаться географии нет основания; надо только быть твердым, а остальное приложится само собою.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Мне всегда казалось, что не тот истинный консерватор, который фанатически преследует географию, историю и арифметику, но тот, который усматривает в сих «кратких руководствах» полезные вспомогательные науки для сочинения руководящих публицистических статей. Не тот истинный консерватор, который заставляет танцовщиц поднимать ноги в видах посрамления арифметики, но тот, кто, с удовольствием взирая на порхающих корифеек, в то же время отчетливо сознает, что  $2 \times 2 = 4$ . Я сам пламенный консерватор; я сам искренно скорбел, когда крепостные мои мужички и т. д. Я сам питаю несокрушимую веру в «духа долины» и в «дочь фараона»; но вместе с тем я положительно хочу знать, в Рязани или в Пензе они привитают, и ежели мне отвечают на этот вопрос неудовлетворительно, то мысль моя мутится и самая вера охладевает.

Вопрос о примирении балета с консервативно-вспомогательными науками занимал меня не малое время. Проникнутый важностью этой задачи, я не ленился, как «раб лукавый», но старался доказать применимость моей мысли на практике и в порыве усердия не мало-таки перепортил бумаги. Сначала я сочинил балет под названием «Добродушный Гостомысл и варяги, или Всякое дело надо делать подумавши», но сообразил, что сюжет этот несравненно с большим знанием обрабатывается газетой «Москва». Потом сочинил балет под названием: «Административный Пирог, или Беспременное объединение»; но один отставной цензор заверил меня, что постановка такого балета будет едва ли не преждевременна. Наконец, я остановился на третьем сюжете, который, по мнению моему, должен удовлетворить всем требованиям. Лыщу себя надеждою, что представители санкт-петербургских театральных искусств оценят мои усилия и поставят на сцену балет моего сочинения с великолепием, вполне соответствующим его достоинству.

Вот моя программа:

МНИМЫЕ ВРАГИ,  
или  
ВРИ И НЕ ОПАСАЙСЯ

Современно-отечественно-фантастический балет в 3-х действиях

и в 4-х картинах.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Отечественно-консервативная сила, скрывающаяся под именем Ивана Ивановича Давилова. Обиралов } наперсники и друзья Давилова.

Дантист

Отечественный либерализм, скрывающийся под именем Хлестакова. Пасынок Давилова.

Госпожа Взятка, женщина уже в годах, но вечно юная.

Аннета Постепенная, молодая женщина. Лганье } отечественно-анакреонтические фигуры.

Вранье

Излишняя любознательность

Чепуха

Мужики. Полицейские солдаты. Внутренняя стража.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

КАРТИНА I

Обширная комната в городе Глупове. Посредине стоит стол, покрытый сукном. На столе беспорядочно валяются кипы бумаг.

I

Толпа обывателей, около которых суетятся и исполняют свое дело Обиралов и Дантист. Обыватели с радостью развязывают кошельки и подставляют шеи. Давилов сидит у стола, погруженный в чтение бумаг. Он думает: «сегодня придет моя милая Взятка, и мы соединимся с нею навеки!»



II

Внезапно чернильница, стоящая на столе, разбивается вдребезги, и из нее вылетает Аннета Постепенная. Она стоит некоторое время на одной ножке, потом с очаровательной грацией ударяет Давилова пальчиком по лысине. Давилов в изумлении простирает руки, как бы желая поймать чародейку. «Кто ты, странное существо, и какое зло сделала тебе эта бедная чернильница, за которое ты так безжалостно разбила ее?» Но Аннета смотрит на него с грустной и в то же время кокетливой улыбкой. «Пойми!» – говорит она и исчезает тем же путем, каким появилась. Чернильница возрождается на столе в прежнем виде. Давилов хочет устремиться за очаровательницу, но вместо того попадает пальцем в чернильницу. «Пойми!» – повторяет он в раздумье: что хотела она сказать этим «пойми»?

III

Между тем Обиралов уже выпотрошил мужиков, а Дантист обратил в пепел множество зубов. Обиралов легким прикосновением руки выводит Давилова из раздумья. Но Давилов долго еще не может прийти в себя и, беспрестанно повторяя «пойми!», устремляется к тому месту, где скрылась очаровательница, но снова попадает пальцем в чернильницу. В это время из рук Обиралова внезапно выпархивает Взятка и разом овладевает всеми помыслами Давилова. Происходит:

Танец Взятки

Взятка порхает по сцене и легкими, грациозными скачками дает понять, что сделает счастливым того, кто будет ее обладателем. Она почти не одета, но это придает еще более прелести ее соблазнительным движениям. Давилов совершенно забывает о недавней незнакомке и с юношескою страстью устремляется к новой очаровательнице. Он старается уловить ее; движения его порывисты и торопливы; ловкость поистине изумительна. Но Взятка кокетничает и не дается; вот-вот он прикасается уже к ее талии – как она ловко выскользает из его рук и вновь быстро кружится в бешеной пляске. Наконец, утомленная и тронутая мольбами своего любовника, она постепенно ослабевает... ослабевает... и тихо исчезает в кармане Давилова. Обиралов и Дантист, умиленные, стоят в почтительном отдалении и слегка подтанцовывают.

IV

Мужики, видя, что сердца начальников радуются, сами начинают приходить в восторг и выражают его благодарными телодвижениями, которые постепенно переходят в

Большой танец Лаптей

В танце этом принимают участие: Давилов, Обиралов и Дантист, в качестве корифеев.

V

«Спасибо, друзья!» – говорит Давилов мужикам и обещает им дать на водку, когда будут деньги. Затем обращается к Обиралову и Дантисту и говорит: «Друзья! вы лихо поработали сегодня! Теперь пойдете в трактир и там славно закусим и выпьем!» Он уже застегивает вицмундир и хочет взяться за шляпу, как чернильница вновь разлетается вдребезги и на столе опять появляется Аннета Постепенная. Она по-прежнему стоит на одной ножке, но вид ее строг. «Слушай, – говорит она Давилову, – я предупреждала тебя, но ты не внял словам моим и продолжаешь безобразничать с паскудною Взяткою. Итак, буду ясна: вызови немедленно из заточения твоего пасынка, Хлестакова, или... ты погибнешь». Сказавши это, Аннета исчезает, оставляя всех присутствующих в ужасе и стоящими на одной ноге. Картина.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КАРТИНА II

Пустынное местоположение, отданное в надел крестьянам. Болото, по коему произрастают тощие сосны. В глубине сцены секретная хижина. На соснах заливаются публицисты:

Сироты ли мы, ах, сиротушки!  
Забубенные мы, ах, головушки!  
А и нет у нас отца с матушкой,  
А и есть у нас только детушки!  
А и первой-ет сын несмысленочек,  
А второй-ет сын да дурашливый,

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
А и треть-ет сын – хуже первого,  
А четвертый сын – хуже третьего,  
А и пятый сын – самый жалконький,  
Самый жалконький, вовсе гнусенький,  
И проч., и проч.

I

Из самой глубины трясины появляются три отечественно-анакреонтические фигуры: Лганье, Вранье и Излишняя любознательность. Некоторое время они как бы не узнают друг друга, но через минуту недоразумение исчезает и друзья целуются. Начинается совещание: – Я буду лгать умышленно! – говорит Лганье. – А я буду врать что попало! – говорит Вранье. – А я буду подслушивать, – скромно отзывается Излишняя любознательность. Лганье и Вранье останавливаются, пораженные находчивостью своей подруги, и с некоторою завистью смотрят на нее. – Вы будете мне помогать, будете, так сказать, популяризировать меня, – еще скромнее прибавляет Излишняя любознательность и эту приветливостью возвращает на лица собеседниц беспечное выражение. – Не станцевать ли нам что-нибудь, покуда не пришел наш добрый друг и начальник Хлестаков? – предлагает Вранье. – Пожалуй, – соглашается Лганье, – но где он так долго пропадает, бедненький? – Внимайте! я поведаю вам ужасную тайну, – отвечает Излишняя любознательность. Начинается:

II

Секретный танец Излишней любознательности

«Прошлую ночь, – так танцует она, – я, по обыкновению своему, тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко последовала за ним. Все покровительствовало мне: и испарения, поднимающиеся от нашей трясины, и отсутствие луны, и тихое, усыпляющее щебетание публицистов. Однако я шла и озиралась: что, думала я, если меня поймут! Что сделают со мной? закатают ли до смерти, или просто ограничатся одним шлепком?

Однако я шла, готовая вынести побои и даже самую смерть... и что же? На верху неприступной скалы я увидела чертог, весь залитый светом! Тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко приложила я глаза и уши к скважине... и что же? Я увидела Хлестакова, который, вместо того чтобы стоять на страже, покоился в объятиях девицы Постепенной!»

III

Протанцевав все вышеизложенное, Излишняя любознательность вдруг останавливается. Она догадывается, что сделала дело совершенно бесполезное и даже глупое, что Хлестаков ее друг и руководитель и что, следовательно, подсматривать за ним нет никакой надобности. «Зачем я подслушивала? зачем подглядывала?» – говорит она и в негодовании на свой собственный поступок высоко поднимает ногу.

IV

«Теперь слушайте же и меня!» – говорит Лганье и начинает:

Танец Лганья

«Я тоже внимательно следило за нашим другом и покровителем Хлестаковым и, видя его грустным, от всей души соболезновало. Однажды, узрев его гуляющим на берегу нашей трясины, я не вытерпело и подошло к нему. – Покровитель! – сказало я, – отчего так грустен твой вид? – Мой верный слуга, – отвечал он мне, – я грущу, потому что не знаю, какое сделать употребление из прекрасных способностей, которыми наградила меня природа!.. – Тогда я предложило ему мой проект всеобщего оболгания, и...»

V

Но здесь Лганье останавливается, с непритворной грустью спрашивает себя: «Зачем лгать? Кого облыгать?» – и, в заключение, поднимает одну ногу.

VI

«Нет, послушайте-ка вы меня!» – вступает в свою очередь Вранье и вслед за тем начинает:

Танец Вранья

«На днях я встретило нашего милого Хлестакова в самом оригинальном положении:

Он лежал, животом кверху, на берегу нашей трясины и грелся на солнце. – Что ты, топ шер, тут делаешь? – спросило я его (ведь вы знаете, я с ним на «ты»), – и что означает эта оригинальная поза? – Молчи, – отвечал он мне, – я сочиняю либеральные измышления! Ты знаешь, – продолжал он, после краткого молчания, отерев слезы, струившиеся из его глаз, – ты знаешь, друг, что я сделался руководителем по части отечественной благонамеренности... и... и...» – Тут он вновь залился слезами, и сквозь всхлипыванья я могло разобрать только следующее: «До тех пор не успокоюсь, покуда не переломаю все ребра!»

#### VII

Протанцевав это, Вранье намеревается сделать антраша; но так как для всякого ясно, что все рассказанное им есть не что иное, как сплошной вздор, то и Вранье не может воздержаться от горького вопроса: «Зачем я врало?» В негодовании на себя оно высоко поднимает одну ногу.

#### VIII

Таким образом, все трое стоят некоторое время каждый с одной поднятой ногой. В глубине сцены является Чепуха. Быстрым и смелым скачком она перелетает всю сцену и становится между упомянутыми тремя анакреонтическими фигурами. – Вы совершили множество ненужных подвигов, – говорит она, – потому что с вами была я! – Начинается

#### Большой танец Чепухи

«До тех пор, – танцует она, – покуда я буду с вами, вы не будете иметь возможности ни подслушивать, ни лгать, ни врать безнаказанно. Все ваши усилия в этом смысле будут напрасны, потому что всякий, даже не учившийся в кадетском корпусе, разгадает их! Вы будете подслушивать, лгать и врать без системы, единственно для препровождения времени. Всякий, встретившись с вами, скажет себе: будем осторожны, ибо вот это – излишняя любознательность, вот это – постыдное лганье, а это – безмозглое вранье! Вы думали, что уже эмансипировались от меня, – и горько ошиблись, потому что владычество мое далеко не кончилось! Вы не уйдете от меня нигде, не скроетесь даже в эту трясины; везде я застигну вас и буду руководящим началом всех ваших действий! Вы спросите, быть может, зачем я это делаю?..»

#### IX

Чепуха останавливается и в недоумении спрашивает себя: зачем, в самом деле, она так делает? В ответ на этот вопрос она высоко поднимает ногу. Начинается

#### Танец Четырех Поднятых Ног,

который прерывается

чрезвычайным полетом публицистов,

как бы возвещающим прибытие некоторых важных незнакомцев. Незнакомцы эти суть не кто иные, как Давилов и Хлестаков. Они проходят с поникшими головами через сцену и скрываются в секретную хижину. Публицисты свищут: «Вот они! вот наши благодетели!»

#### КАРТИНА III

Внутренность секретной хижины

#### I

Давилов и Хлестаков предаются воспоминаниям. Оба растроганы. – Сколько лет я томился в изгнании! – говорит Хлестаков. – Оторванный жестоким вотчимом от чрева любимой матери, я скитался по этим пустынным местам, но и среди уединения посвящал свои досуги любезному отечеству! – Прости меня, мой друг! – отвечает Давилов, – ведь я думал, что ты либерал! – Как «либерал»? но теперь, в сию минуту, разве я не либерал? – Кхе-кхе! – делает Давилов. – Так позвольте вам сказать, милый папенька, что вы не понимаете, что такое либерализм! – Сказавши эти слова, Хлестаков дает знать музыке умолкнуть, а публицистам приказывает свистать. Начинается

#### Большой танец Отечественного Либерализма

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
«Что такое либерализм? Это нечто тонкое, легкое, неуловимое, как то па, которое я выделываю. Это шалунья-нимфа, на которую можно смотреть издали, как она купается в струях журчащего ручейка, но изловить которую невозможно. Это волшебный букет цветов, который удаляется от вашего носа по мере того, как вы приближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая сулит впереди множество самых разнообразных яств, в действительности же кормит одною постепенностью. Это тот самый кукиш, которого присутствие вы чувствуете между вторым и третьим пальцами вашей руки, но который уловить ни под каким видом не можете! Поймите, какая это умная и подходящая штука! Как она угодна нашим нравам и как мы должны гордиться ею! Мы ничего не выдумали, – даже пороха! – но выдумали «либерализм» и сразу стяжали вечное право на бессмертие! Жгучий и пламенный с виду, он не жжет никого, но многим позволяет греть около себя руки. Грозный с виду, он никого не устрашает, но многим подает утешение. Всякий ждет, всякий заранее проливает слезы умиления... И опять все-таки ждет, и опять проливает слезы умиления, ибо ждать и проливать слезы – есть удел человека в сей юдоли плача!»

Хлестаков падает в изнеможении на пол.

Большая трель публицистов

II

– Гм... я убеждаюсь, что ты совершеннейшая... то есть что ты благороднейший юноша, хотел я сказать! – говорит Давилов, – и потому вот что я придумал: забудем прошлое и заключим союз! – С охотою, но предварительно я должен предложить тебе несколько условий, без соблюдения которых никакой союз между нами невозможен. – Слушаю тебя с величайшим вниманием. – Во-первых, ты должен прекратить пагубные сношения с Взяткою (отрицательное движение со стороны Давилова)... не опасайся! я вовсе не требую, чтоб ты отказался от секретного с нею обхождения, но ради самого создателя, ради всего, что тебе дорого, не показывайся с нею в публичных местах и делай вид, что она тебе незнакома! Ты не знаешь... нет, ты не знаешь, сколько вреда приносит откровенное обращение с Взяткою! Это бросается в глаза всякому; самый малоумный человек – и тот понимает под Взяткою что-то нехорошее, несовместное с либерализмом. Всякий, встретившись с тобой на дороге, говорит: «вот взяточник!» и никто не скажет: «вот либерал!» До сих пор ты брал взятки и давил... продолжай и на будущее время! но делай так, чтоб никто не смел называть тебя ни взяточником, ни Давиловым! – Стало быть... потихоньку можно? – робко спрашивает Давилов. – Потихоньку... можно; (с жаром) все потихоньку можно! – Ну-с... второе условие? – Второе условие – удали из числа твоих приближенных Чепуху! – Эту за что ж? – Друг! Чепуха опаснее даже Взятки. Если Взятка марает отдельного человека, то Чепуха кладет свое клеймо на целые группы людей, на целый порядок, на целую систему! От Взятки мы можем отделаться секретным с ней обхождением; от Чепухи – никогда и ничем. Она сопровождает нас всюду; она отравляет все наши действия... она делает невозможною... систему! Наконец, сознаю ли тебе? Я сам, сам, как ты меня видишь... сам не свободен до некоторой степени от Чепухи! – Но ведь Чепуха сколько раз спасала меня, выручала из бед? – Это нужды нет; отныне, вместо Чепухи, тебя должна спасать Неуклонность...

Начинается

Большой танец Неуклонности,

который отличается тем, что его танцуют, не сгибая ног и держа голову наоборот.

III

Друзья задумываются и полчаса молчат. В это время публицисты чистят носы, как бы приготовляясь запеть по первому требованию. В самом деле, момент этот наступает. Хлестаков выходит из задумчивости и говорит: – Третье условие – ты должен уметь танцевать «танец Честности».

Начинается

Большой танец Честности,

во время которого публицисты поют:

Ах, когда же с поля чести  
Русский воин удалой...

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Но «танец Честности» решительно не вытанцовывается. Напрасно понуждает Хлестаков свои ноги; напрасно публицисты то ускоряют, то замедляют темп, с целью прийти в соответствие с их покровителями, – ничто не помогает. Опечаленный неудачей, но в то же время скрывая оную, Хлестаков развязно говорит: Все равно, будем вместо этого танцевать

Большой танец Благонамеренности,  
который и танцует, под свист публицистов, поющих:

По улице мостовой...

IV

– Это все? – спрашивает Давилов. – Покамест все, и ежели ты согласен, то мы можем приступить к написанию взаимного оборонительно-наступательного трактата. – Согласен! – В таком случае идем в секретную комнату...

Открывается трапп, и друзья исчезают. Публицисты поют:

Тихо всюду! глухо всюду!  
Быть тут чуду! быть тут чуду!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

КАРТИНА IV

Прелестное местоположение: в глубине сцены храм Славы.

Содержание этой картины составляет процесс Чепухи с Излишнею любознательностью, Лганьем и Враньем. Судьи:

Хлестаков и Давилов; ассессор: Обиралов; протоколист: Дантист. Чепуха доказывает свои права и опирается преимущественно на то, что она одна в состоянии смягчить слишком суровую последовательность прочих анакреонтических фигур. Последние, однако ж, оправдываются и говорят, что малый их успех происходит единственно от участия Чепухи. Хлестаков колеблется; но Давилов явно склоняется на сторону подсудимой. Выходит решение: «Подсудимую Чепуху учинить от следствия и суда свободною и допустить по-прежнему в число анакреонтических фигур». В народе раздаются клики восторженной радости; судьи взволнованы. Затем происходит

Шествие во храм Славы.

Дошедши до порога храма Славы, Хлестаков и Давилов, «как бы волшебством каким», сливаются в одно нераздельное целое и принимают двойную фамилию Хлестакова-Давилова. С своей стороны, Взятка и Аннета Постепенная тоже сливаются в нераздельное целое и принимают двойную фамилию Взятки-Постепенной. Начинается

Апофеоз.

Хлестаков-Давидов стоит на возвышении, освещаемый молнией. По сторонам народ, публицисты, фотографы и стража. Перед Хлестаковым-Давиловым, на коленях, Взятка-Потихоньку-Постепенная на бархатной подушке преподносит кованный из золота герб рода Хлестаковых-Давиловых –

Римский огурец.

Народ в упоении пляшет; однако порядок не нарушается, потому что из-за кулис выглядывают будочники.

Занавес падает

ХИЩНИКИ

Пою похвалу силе и презрение к слабости.

Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его. Картины трго времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда. Я видел разумные существа, которые, зная, что в данную минуту их ожидает истязание или позор, шли сами, шли собственными ногами, чтоб получить это истязание или позор. Я видел глаза, которые ничего не могли выражать, кроме испуга; я слышал вопли, которые раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кроме физической боли; я был свидетелем зверских вождений, которые разгорались исключительно по поводу куска хлеба. В этом царстве испуга,

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) физического страдания и желудочного деспотизма нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли. Надеюсь, что это своего рода отправный пункт, и притом достаточно твердый, чтоб дать мне право, с некоторым знанием дела, говорить о том, какое несомненное значение имеет в жизни сила и как ничтожна и даже презренна, в соседстве с нею, слабость.

Да и не я один; мы все, сколько нас ни есть, все не свободны от этих привидений прошлого; для всех они составляют неотразимый отправный пункт. Они до такой степени залегли в основу всего нашего бытия, что мы не можем сделать шагу, не справившись с ними. Мы охотно называем их призраками (от призраков все-таки до известней степени освобождает время); но нет, это даже не призраки. Это что-то такое, до того соприсущее нам, так могущественно окрашивающее всякий поступок наш, что свет самый яркий, заклинания самые страшные оказываются ничтожными, чтоб отогнать чудовище, гонящееся за нами по пятам. Мы напрасно будем бороться с ним, напрасно будем поднимать бессильные руки, чтоб поразить его: мы ничего не достигнем, не поразивши наперед самих себя. Придут иные люди, которые познают иную истину, произнесут иное слово; но мы, люди предания, люди роковых воспоминаний, мы не знаем другой истины, не произнесем другого слова, кроме: да торжествует сила и да погибнет слабость! Одни из нас произнесут это слово с горечью, другие с самодовольством, но даже те, которые искренно почувствуют прилив негодования при этих словах, должны будут в полной мере смириться перед горьким смыслом, скрывающимся в них, и без оговорок признать обязательное их значение. Что пользы в негодовании и злобе, когда над нами тяготеет фатализм? когда мы сами не верим творческой силе этого негодования? когда мы ничего не можем, ни перед чем не дерзаем?

Я никогда не видал, чтобы баран охотно шел не только на бойню, но даже вообще куда бы то ни было, куда ему идти не хочется. Обыкновенно, когда желают получить хорошие котлеты, то барана волоком волокут к месту избиения, и никто не внушает ему при этом, что существует на свете какое-то отвлеченное понятие, в силу которого он в данный момент должен не упираться, а устремляться. Баран совсем не настолько прост, чтоб поверить подобным внушениям. Тем не менее не может подлежать сомнению, что такие понятия существуют, что они заставляют существа гораздо более разумные двигаться и производить такие действия, которые прямо противоположны не только их выгодам, но даже простому чувству самосохранения. Но, может быть, скажут мне: потому-то эти существа и двигаются, что они разумные? Да; может быть, и так; но в таком случае невольно спрашиваешь себя: сквозь какое наслоение горечей, недоумений и нравственных противоречий нужно было пройти, чтоб получить в результате чудовищную бессмыслицу, дающую право гражданства косвенному самоубийству? сколько напрасных подвигов требовалось, чтобы добровольно перепутать все понятия и извратить все инстинкты?

И тем не менее сила всегда была силою, даже во времена самого глухого крепостничества. Человек, державший камень за пазухой, всегда сознавал себя бодрее и безопаснее, нежели тот, кто прямо живьем отдавался в руки. Конечно, в то время и с самым сильным человеком можно было поступить на всей своей воле; но все-таки требовалось заставить его врасплох, подойти к нему сзади, а у большинства рыцарей безнаказанной оплеухи даже на это не ставало ни терпения, ни сноровки. Слабого же человека можно было перевернуть вверх дном во всякое время и без малейших сноровок. Понятно, почему борьбе с слабостью всегда отдавалось предпочтение.

Собственно говоря, тут даже и борьбы не было, потому что бороться с слабостью, по малой мере, столь же легко, как и ломать растворенную настежь дверь или брать приступом крепость, не защищаемую никаким гарнизоном. Сколько легчайших триумфов можно одержать в самое короткое время! сколько одержать блестящих побед! Будь дверь несколько приперта или, по крайней мере, заронись в нас убеждение (положим, даже ложное), что она приперта, – очень может статься, что мы и не подошли бы к ней. «Кто знает, что там, за этою дверью?» – сказали бы мы себе и благоразумно прошли мимо. Много-много, что поскрипели бы зубами. Тогда как дверь, отворенная настежь, – ведь это явный, организованный расчет на нашу храбрость, ведь это прямое приглашение войти и распорядиться! Как воздержаться тут? Как не размахнуться на существо, которое столь радушно пригибается для получения ожидаемого удара?

Мы каждую минуту, сами того не замечая, давим ногами и, следовательно, лишаем жизни множество мельчайших организмов, которые пресмыкаются на пути нашем, и нимало не формализуемся этим. Это одно уже доказывает, как гнусна слабость и

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) как мало она имеет прав на существование. А так как это факт глухой и неотразимый, так как мы на слонов не наступаем, а наступаем именно и исключительно на одних букашек, червей и других пресмыкающихся, то очевидно, что в этом факте мы почерпаем для себя право выводить всякие дальнейшие заключения и сравнения. Но главное заключение будет все-таки таково: слабость презренна, и потому для нее нет места в мире. Все остальные выводы и сравнения будут только более или менее остроумными вариантами на эту главную тему.

Сам наступай, сам дави – кто же мешает тебе? – вот резоннейший из всех уветов, какие мне когда-либо случалось слышать по этому поводу. Ежели Петр и Павел сильны, отчего же ты, Иван, слаб? В самом деле, отчего ты слаб, несчастный Иван? Клянусь, что ты сам никогда не разрешишь этой задачи! Но ежели ты не умеешь даже догадаться, в чем тут сущность, то естественно, что должен и вкушать плоды своей недогадливости.

Все это очень логично. Это тот же дарвинизм, только переложенный на русские нравы и прикрытый российским вицмундиром. Но когда я помышляю об этом неупустительном применении законов борьбы, не знаю почему, мне вдруг делается совестно. За кого совестно? за тех ли слабых и безоружных, которых мы безнаказанно топчем ногами? – Нет, не за них! Эти мелкие козявки погибают так скромно и неслышно, что даже малейшим писком не дают повода для проявления каких бы ни было чувств по случаю их гибели. И рад бы пособлезновать, да не знаешь об чем... Да, за них стыдиться и краснеть нечего. Их назначение было погибнуть, и они исполнили его честно. И тем не менее стыд все-таки остается стыдом. Он покрывает пурпуром щеки, он заставляет опускать глаза. По поводу чего же?

Мне кажется, что тут играют роль не столько участвующие в споре стороны (даже сами триумфаторы тут едва ли при чем-нибудь состоят), сколько нравственная сущность вопроса... А кроме того, быть может, немалое значение имеют и некоторые этимологические затруднения, которые возникают при этом. Станешь придумывать, например, каким именем назвать эти странные отношения, вследствие которых ломать отворенную дверь признается более уместным и целесообразным, нежели ломать дверь, замкнутую на запор, – и не придумаешь... И застыдишься.

Те, которые говорят: зачем напоминать о крепостном праве, которого уже нет? зачем нападать на лежачего? – говорят это единственно по легкомыслию. Хотя крепостное право, в своих прежних, осязательных формах, не существует с 19 февраля 1861 года, тем не менее оно и до сих пор остается единственным живым местом в нашем организме. Оно живет в нашем темпераменте, в нашем образе мыслей, в наших обычаях, в наших поступках. Все, на что бы мы ни обратили наши взоры, все из него выходит и на него опирается. Из этого живоносного источника доселе непрерывно сочатся всякие нравственные и умственные оглушения, заражающие наш воздух и растлевающие наши сердца трепетом и робостью.

Хищничество – вот наследие, завещанное нам крепостным правом; вот стихия, которая движет нами, перед которою мы пресмыкаемся и раболепствуем, которую мы во всякую минуту готовы обожествить. Прежние пресловутые поговорки вроде: «с сильным не борись», «куда Макар телят не гонял», «куда ворон костей не заносил», несмотря на их ясность и знаменательность, представляют лишь слабые образчики той чудовищной терминологии, которую выработало современное хищничество. Эта терминология – вся сплошь какое-то дикое, озлобленное цыркание, в котором нельзя отличить ни одного членораздельного звука, но которое и во сне заставляет нас цепенеть... А еще говорят: нет крепостного права! Нет, оно есть; но имя ему – хищничество. Это единственная сила, притягивающая к себе современного человека, это единственное понятие, насчет которого не существует разногласия.

Везде, где мы замечаем хищничество, мы встречаем его уже организовавшимся, представляющим нечто солидное, способное и нападать и защищаться. Правда, это организация не очень мудрая (взял в руки жердь – махай ею направо и налево!), но ведь там и не требуется мудрости, где галушки сами собой в рот лезут. Тут нужно только как можно чаще разевать пасть и проглатывать. Напротив того, слабость не только зарекомендовывает себя полною неспособностью к организации, но, сверх того, почти всегда является деморализованною. Все хитрости, на которые она по временам поднимается, все уступки, которые считает нужным делать, – все это не только не спасает ее от когтей хищничества, но даже укрепляет последнее, дает ему новое оружие. «Эге! так ты еще извиваешься! так тебе в петлю-то лезть не хочется! погоди же, я тебя оглушу!» – так хихикает злорадное хищничество и

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) затягивает да затягивает понемножку мертвую петлю, от которой столь неискренно отбивалось обезумевшее от страха бессилие. И вот в результате оказывается, что разумнее и даже расчетливее поступает та слабость, которая не хитрит и не уступает, а прямо просовывает голову в петлю... Сознание страшное, но, по крайней мере, оно находит для себя смягчающее обстоятельство в том, что при существовании его не представляется слишком легкого повода для дешевых издевок.

Увы! в этом случае, как ни кинь, все будет клин. И слабость извивающаяся, и слабость, отдающаяся живьем, – все на руку хищничеству, все укрепляет и украшает его! Не знаешь даже, чему отдать преимущество. Вы можете иметь бесчисленное множество камней за пазухой и все-таки ни одним из них не воспользуетесь. И не только не воспользуетесь, но постараетесь как-нибудь незаметным образом их обронить. Полезно было бы даже, если б вы заранее убедились в неизбежности этого результата запазушных камней, потому что это убеждение избавит вас от потери времени и от лишних бесполезных движений. Что пользы в резонах, доводах, убеждениях? Если вы обладаете ими, то постарайтесь забыть об этом, постарайтесь обронить ваш умственный капитал так, чтобы никто этого не заподозрил. Хищничество не внимает и не убеждается, но раздражается и поступает.

В этом весь секрет хищничества, что оно не внимает, а поступает; в этом вся выгода его позиции. Если оно и встречает случайный отпор, то и тут не останавливается и не старается одолеть его, но идет далее и ищет добычи в другом месте. Жертв так много, что формализироваться и умерять свой бег из-за одной, почему-то не сразу отдающейся жертвы совершенно неблагоприятно. Хищничество знает, что когда-нибудь оно все-таки вернется к прежнему месту, подойдет сзади, застигнет врасплох и ударит-таки жердью неподдающееся сразу бессилие. Это своего рода охота, в которой выражение «не застрелил!» вовсе не означает буквально «не застрелил!», а только «на первый раз промахнулся», или «не успел застрелить».

Объясню примером, как выгодно иногда бывает не внимать и не резонировать, но прямо поступать.

Когда-то была у меня знакомая барыня. Это была женщина избалованная и несомненно легконравная. Тем не менее в ней еще сохранились, по-видимому, некоторые смутные представления, которые до известной степени сдерживали ее и препятствовали слишком нерасчетливому применению теории *laissez faire, laissez passer* к такому щекотливому делу, как вольное обращение. Очень может статься, что это было с ее стороны и неискренно, но, по мнению моему, есть случаи, в которых ограничение проявлений искренности не только не оскорбляет человеческой совести, но даже настоятельно требуется ею. Взирая на эту женщину, я говорил себе: вот субъект достаточно развращенный, но я все-таки рад, что она сознает необходимость сдерживать себя, потому что это доказывает, что и для нее еще есть возможность возврата. Точно так, как, взирая на человека, внутренне стремящегося произвести заушение, но воздерживающегося от того, я всегда говорю: конечно, этот человек из насилия сделал руководящий закон всего своего существования, но я все-таки рад, что он сдерживает свои порывы, потому что это доказывает, что и относительно заушений может существовать некоторая спасительная репона...

И вот эту-то самую женщину я встретил на днях ночью на улице. Она шла не совсем твердо, но смело и бойко смотрела в глаза проходящим.

– Ну, что? как живется? – спросил я ее.

– Как видишь... бодрствую!

– Как же это, однако? – вновь начал я, недоумеваю, – ночью? на улице?

– И ночью, и днем, и во всякое время... дурак!

Только тогда я понял, только тогда я сказал себе: вот женщина, вступившая на тот самый путь, на котором не внимают, но поступают!

Не знаю почему, но, когда я сталкиваюсь с современным хищничеством, мне невольно припоминается эта странная ночная встреча на улице. И в самом деле, сходство положений поразительное. Вся внешняя форма осталась; как будто даже сохранился и прежний человеческий облик; утратился только стыд – и что ж? Пропал стыд – пропала и потребность внимать; а если пропала потребность внимать, то, стало быть, ничего более не осталось, как поступать, поступать и поступать.



Благо тому, кто сумеет достигнуть этого ясного воззрения на мир; благо тому, кто найдет в себе достаточно силы, чтобы в упор сказать проходящим: «презирайте меня! я настолько усовершенствовался, что даже более чем готов!» Этот счастливый смертный может быть твердо уверен, что он-то и есть тот самый бодрый духом субъект, которого ни оплевать, ни презреть никто не посмеет!

По-видимому, слабость так сама по себе неинтересна, что хищничеству положительно нет даже повода обращать на нее внимания. Есть, однако ж, причины, которые объясняют это внимание довольно удовлетворительно.

Первая причина – опасение совместничества. Как ни чахлы куски, выпадающие на долю бессилия, как ни мало опасности представляют сами бессильные, хищничество не забывает, что мир, в котором оно действует, есть мир фантастический, богатый всякого рода сюрпризами. Уроки, вынесенные из крепостного права, до того вошли в общественную совесть, что представляют руководящий кодекс не только для хищничества, но и для бессилия. Нет той невозможности, которая не казалась бы возможною в этой темной области чудес. Отсюда – необходимость предупредить эту возможность и сделать бессилие настолько очевидным для себя самого, чтобы самая мысль о сюрпризах представлялась ему не иначе, как в виде дьявольского искушения.

Очень часто, рассматривая какой-нибудь отдельный факт, в котором бессилие играет свою обычную роль оглушаемого, и не умея себе объяснить, какую выгоду извлекает хищничество из своего систематического преследования слабости, мы склоняемся к мысли, что оно действует в этом случае просто с жиру, из одного бескорыстного желания поиграть локтями.

– Жигнули!

– Поджарили!

– В лоск разорили!

Вот современнейший из всех современных разговоров, который на каждом шагу поражает наш слух. Прислушиваясь к нему, мы приходим в недоумение. Мы спрашиваем себя, что сотворил сей человек, которого «жигнули», «поджарили» и «разорили», и, по собрании справок, убеждаемся, что человек этот – простой смертный, наряду с прочими уваживавший вселенную. «Просто бесятся наши хищники от прилива праздности!» – восклицаем мы, думая разрешить этим восклицанием наше недоумение.

Но это только обман чувств, или, лучше сказать, следствие нашей неспособности обобщать факты. Из того, что в данном случае хищничество действует, не обнаруживая непосредственного расчета, отнюдь нельзя выводить заключения об его действительной нерасчетливости. Оно бьет тот или другой экземпляр бессилия совсем не потому, чтоб это составляло для него наивное и бесцельное препровождение времени, а потому, что этот экземпляр есть представитель целой породы, которая руководствуется все теми же обычаями щучьего велья, которыми руководствуется и хищничество. Избывая данный экземпляр, оно в то же время косвенно избивает породу и таким образом блюдет за неприкосновенностью кусков.

Но есть и другая причина, побуждающая хищничество интересоваться слабостью. Это – безгливость относительно всего, что не носит на себе печати изящества. Чем выше мы поднимаемся по ступеням цивилизации, тем более развивается в нас чувство изящного, чувство комфорта. Мы не только желаем сидеть, ходить и ехать удобно, но требуем, чтобы при отправлении всех этих удобств ничто не оскорбляло нашего зрения, не резало нашего слуха, не смущало спокойствия нашей души. Недаром в благоустроенных населенных центрах не терпят присутствия нищих на улице; недаром учреждают комитеты для разбора и призрения их. Это делается совсем не из непосредственного участия к нищим, а для того, чтоб они не оскорбляли взоров людей, удобно идущих и едущих, чтобы несвоевременною своею назойливостью не отвлекали их от целей, которые они преследуют. Хищничество знает это общее правило благоустройства городов и селений и применяет его к своим потребностям. Хищничество – это, так сказать, высшая ступень цивилизованного комфорталюбия. Всякая фальшивая нота неприятно звучит в его ушах, всякий болезненный вопль заставляет оглядываться. Но спрашивается: найдется ли в мире предмет, который был бы фальшивее и болезненнее бессилия? Есть ли в природе зрелище, которое

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) возбуждало бы более презрения и даже справедливого негодования, нежели зрелище бессильного человека, который сидит, ходит, ест и вообще производит всякие отправления, как будто он и в самом деле не гадина, а человек, имеющий право дышать воздухом и пользоваться лучами солнца!

– Представьте себе, ведь еще вздумал упираться, гадина! – говорил мне однажды некоторый молодой хищник, рассказывая историю своей расправы с какою-то очень ничтожною и безответною козявкою, – мы его, знаете ли, за волосы, – так нет! корячиться вздумал... клоп постельный!

Я взглянул хищнику в лицо, оно пылало таким искренним негодованием, что мне сделалось жутко.

– И он вас очень больно укусил... этот клоп? – спросил я не без волнения.

– Кто укусил? кого укусил? кто вам говорит, что укусил? – напустился он на меня, – разве эта мерзость кусает? ее нужно истреблять... потому... потому...

Он не мог докончить, потому что негодование сковывало его мысль, сдавливало горло и задерживало там приличные случаю выражения.

А говорят, что крепостничество умерло и погребено. Каким же именем следует назвать явления, только что нами описанные и несомненно существующие?

Это именно самый любопытный момент в истории развития хищничества, тот момент, когда оно не только поступает, но и сентиментальничает, то есть выставляет на вид свои добродетели.

Если б кто-нибудь написал книгу «Избранные анекдоты из жизни Картуша» и рассказал бы в ней, как этот знаменитый муж, обобрав некоторого субъекта, не только не извинился перед ним, но даже рассердился за то, что тот не поблагодарил его, то всякий, конечно, назвал бы такой рассказ небылицею. Картуш не мог заявлять подобных претензий уже по тому одному, что у него не было для того лишнего времени. Что-нибудь одно: или платки воровать, или пускаться в сердечные излияния.

Но если я расскажу нечто подобное о современном хищничестве, то не только не буду в противоречии с истиной, но, напротив того, констатирую одну из самых существенных черт этого интересного явления.

Хищничество идет дальше какого-нибудь презренного Картуша; оно грабит, разоряет и уязвляет и в то же время находит справедливым, чтобы в уязвляемом субъекте играло сердце. Оно любит видеть лица довольные, и ежели факты не соответствуют его ожиданиям, то укоряет в неблагодарности и нераскаянности.

Оно смотрит на свои подвиги, как на «науку». Этот взгляд есть также несомненное и прямое наследие крепостного права. Мы все помним, как секли и истязали и вслед за тем заставляли целовать истязующую руку. Это называлось «благодарить за науку». Благодарящий обязывался иметь вид бодрый и напередки готовый, так как в противном случае он рисковал возбудить вопрос: «эге, брат! да ты, кажется, недоволен!» Опаснее этого вопроса ничего не могло предстоять, ибо с той минуты, как он возникал, обвиняемый навсегда поступал в разряд нераскаянных и неисправимых.

Что такое нераскаянность? – нераскаянность есть то самое состояние человеческого сердца, в котором находится, например, лакей, не вычистивший барских сапогов и не чувствующий при этом угрызения совести.

Повторение или ряд такого рода нераскаянностей составляет то, что мы называем неисправимостью.

В бывалые времена, если нераскаянность и неисправимость свивали себе гнездо в сердце меньшего брата, то это неизбежно доводило сего последнего или до ссылки в Сибирь, или до отдачи в солдаты. Иногда, впрочем, нераскаянных отдавали в пудретное заведение.

– Не то, сударь, больно, что сапоги третий день стоят нечищенные! важно

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
ожесточение, важна нераскаянность!

Такого рода прибаутками отшучивались мы в былые времена, когда делали распоряжение об исправлении меньшего брата на конюшне и желали придать этому распоряжению некоторый лоск законности.

Бывают минуты в жизни обществ, когда особенно много является нераскаянных. Одним из таких моментов были месяцы, непосредственно предшествовавшие упразднению крепостного права. В это достопамятное время нераскаянных толпами приводили в губернские правления и рекрутские присутствия; пудретные заведения тоже были переполнены. И если б правительство не приняло мер, то легко может статься, что вся Россия попала бы в разряд нераскаянных.

– За что их ссылают? – спрашиваешь, бывало, какого-нибудь доверенного холопа, пригнавшего в город целую деревню нераскаянных (в то время «нераскаянный» меньший брат пригонялся вместе со всеми нераскаянными домочадцами и даже с нераскаянными грудными младенцами; на месте оставлялось только нераскаянное имущество, то есть дома и скот меньших братьев).

– За ихнюю нераскаянность-с... Потому, значит, помещик им добра желают-с, а они этого понять не хотят.

– Что же, однако, они сделали?

– Секли их, значит... ну, а они, заместо того чтоб благодарить за науку, совершенно, значит, никакого чувства...

Это было последнее слово крепостного хищничества. Получай в зубы, и да величит душа твоя. Это же последнее слово и хищничества современного.

Я мало чему удивляюсь, мало от чего прихожу в негодование. Когда на моих глазах из моего ближнего выпускается известная порция сока, зрелище это не производит во мне нервной дрожи, но только заставляет зажмурить глаза и поскорее пройти мимо. Я слишком хорошо затвердил изречения «не ваше дело» и «вас никто не спрашивает», чтоб не принять их к неременному руководству и исполнению. Но, признаюсь, учение, в силу которого истязуемый субъект обязывается не только с кротостью принимать побои, но и производить по этому поводу благодарные телодвижения, всегда поражало своею смелостью. Мне кажется даже, что ежели в основании его и лежит известная доля истины, то все-таки пропагандировать его следует как можно осторожнее, ибо не всякий подобную истину может вместить.

Мне очень часто случалось вести об этом предмете очень поучительные разговоры с людьми сведущими и опытными.

– Послушайте! – говорил я, – как хотите, а я решительно понять не могу, зачем вы требуете, чтоб у меня сердце играло, когда вы производите надо мной опыты истребления насекомых? Я согласен что вы имеете за себя право хищничества – ну, и пользуйтесь им, как заблагорассудите! Хлопайте, отравляйте, упраздняйте – но к чему же нужна вам моя благодарность? что может прибавить к вашему благополучию веселие моего сердца?

– Гм... а понять, однако, не трудно!

– Растолкуйте, пожалуйста!

– И растолковать не трудно. Вы, может быть, слышали, что есть на свете вещь, которая называется строптивостью? Это та самая, которую необходимо истребить. И только.

Да, и только. Если у вас вынимают из кармана платок, спешите показать вашему вору вид, что вы очень счастливы: тогда, быть может, он даст вам другой, похуже. Но боже вас сохрани прийти в негодование и закричать «караул!» – вор непременно рассердится и снимет с вас, за грубость, и сюртук.

Тем не менее я позволяю себе думать, что эта требовательность хищничества не только излишня, но даже свидетельствует о какой-то чрезмерной изнеженности. Оскорблять человека и в то же время хотеть, чтоб он не оскорблялся – помилуйте! да ведь в этом даже нет смысла, потому что тут одна половина предложения явно

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) противоречит другой. Только слишком избалованный человек может с столь безумной отвагой предаваться подобным капризам мысли; только слишком забубённая и крепко выкованная голова может их выносить, не ощущая при том ни малейшего беспокойства. Ужели же вы не чувствуете, о, хищники! что тут есть провал, что в этом предложении потерян целый член, отсутствие которого даже препятствует образованию правильного силлогизма?

Или, быть может, вы и чувствуете это, да говорите себе: ну, что ж, и пускай будет провал! чем больше бессмыслицы и провалов, тем меньше строптивости, тем менее разговоров!

Правильно.

Ты несомненно ошибешься, читатель, ежели применишь написанное выше к той или другой общественной сфере, к тому или другому общественному классу. Я совсем не Петров и Иванов имею в виду, и даже не статских и коллежских советников (хотя многие из них небезынтересны), а вообще весь общий строй современной жизни, в котором действующими лицами могут найтись и Петры, и Иваны, и статские, и всякие другие советники. Всю общественную ниву заполонило хищничество, всю ее, вдоль и поперек, изборозило оно своим проклятым плугом. Нет уголка в целом мире, где не раздавались бы жалобы на упадок жизненного уровня, где не слышалось бы вопля: нет убежища от хищничества! некуда скрыться от него! Головы несомненно медные – и те тронулись им, и те поняли, что слабость презренна и что только сила, грубая, неразумная сила имеет право на существование. Повсеместно идет чавканье и заглатыванье, а челюсти так торопливо работают, что поневоле становится холодно. Невольно спрашиваешь себя: что же будет, когда хищники переедят всех слабых и ни одного из них не останется налицо, чтобы ответить на мучительные и всеминутные запросы плотоядности? как поступят они? начнут ли рвать за горло друг друга или же сочтут свою миссию оконченной и положат зубы на полку?

Вопрос этот так заинтересовал меня, что я счел нелишним предложить его на заключение глубокомысленному моему другу, Феденьке Козелкову.

– Как ты думаешь, друг мой, – спросил я его, – когда вы переедите всех мирно удобряющих землю обывателей, как поступите вы?

Феденька временно затруднился, однако ж не отказался от разрешения вопроса.

– Думаю, – отвечал он, – что тогда мы начнем есть друг друга... потому что... ты понимаешь... без пищи...

– Позволь, однако, мой друг! Знаю я, что без пищи неловко, но ведь вы и друг друга в конце концов поедите – что же тогда?

– Но ведь кто женибудь да останется! – рассудил он, – и я полагаю, что судьба этого оставшегося будет не из плохих...

– Глупенький! да ты предположи, что этот оставшийся – ты! Что ж ты делать будешь? ведь ты всех переешь, ты даже Деверию съешь – куда же ты денешься?

Эта мысль видимо изумила Феденьку; в его глазах блеснул почти луч мысли. Опасность, которую я так неожиданно раскрывал перед его умственным взором, расположила его сердце к благодарности, так что он, после некоторых колебаний, решился даже пожать лишний раз мою руку (один бог только знает, как он расчетлив на эти пожатия!).

– Во всяком случае, – сказал он мне, – догадка твоя весьма остроумна и стоит того, чтоб над ней поработать! Было бы более нежели прискорбно, если б я... или кто-нибудь другой (прибавил он скромною скороговоркой)... был вынужден на такую печальную и радикальную меру, как... – Он остановился, видимо затрудняясь...

– Как съесть Деверию? – выразил я его мысль.

– Ну да... ты понимаешь... есть такие предметы, по поводу которых без боли нельзя даже приподнимать завесу будущего!

Однако он ее приподнял, эту завесу. Спустя несколько дней, встретившись со мною,

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) он сказал:

– Знаешь ли, я много думал о том, что мы в последний раз говорили с тобой и пришел к такому результату: да, мы должны будем временно положить зубы на полку! И сверх того, – прибавил он, – озаботиться об умножении народонаселения!

Как ни проста (почти даже глупа) форма, в которой выразилась мысль Феденьки, я нашел, однако ж, что она не только справедлива, но даже обнаруживает замечательную желудочную предусмотрительность. Чтоб убедиться в этом, я счел необходимым несколько испытать моего юного друга.

– Как, душа моя, ты находишь необходимым принять меры к увеличению народонаселения? Но ежели результатом этих мер будет распложение нигилистов?

– Все равно! нигилистов, коммунистов... даже сепаратистов! лишь бы было съедобное! Конечно, это самая трудная, можно сказать даже, почти невыполнимая сторона задачи, но если это нужно... если обстоятельства потребуют... если наконец закон политической необходимости... я готов!

Решимость, с которою Феденька произнес эти слова, была так велика, что и меня заставила призадуматься. По-видимому, он был до того убежден, что даже посетовал на Каткова и Скарятину, которые, по словам его, действовали неблагоприятно и нерасчетливо, пропагандируя в литературе мысль, что нигилистов следует вываривать из общества, как клопов из кроватей.

– Ты пойми, мой друг, что все-таки они... дворяне! – сказал он, многозначительно прикладывая палец к губам.

И затем он подробно изложил мне свой план. План этот был хорош несомненно: сперва наплодить нигилистов, потом съесть их, потом опять наплодить – это до такой степени просто и ясно, что даже может привести в умиление. Но для того, чтобы осуществить этот план, все-таки необходима расчетливость, а следовательно, и контроль. Нужно определить заранее порцию каждого дня, чтобы оскудение в нигилистах оставалось незаметным и чтобы масса съедобного материала пребывала всегда неизменною. Для этого понадобятся некоторые предварительные сведения и даже точные статистические исследования. Уяснить точную цифру хищников в данной местности и обеспечить для них вполне верные источники продовольствия – дело нелегкое. Не нужно ли для этого придумать новое ведомство, или хотя канцелярию, или, по малой мере, какое-нибудь ученое общество? Эти затруднения я счел невозможным скрыть от Феденьки, но он и тут успокоил меня, сказав, что возбудит этот важный вопрос в одном из ближайших заседаний географического общества.

Но увы! не все хищники настолько предусмотрительны, как Феденька. Большинство их решительно глотает зря, полагая, вероятно, что запас нигилистов и демагогов неистощим и что стоит только окунуть руку в какое-нибудь учебное заведение, чтобы вытащить оттуда нигилиста...

Дай бог. А все-таки как-то боязно. Что, если и в самом деле опасения Феденьки оправдаются? Что, если наступит такая минута, когда на всем земном шаре останется только один хищник сам-друг с г-жою Деверия?

Эта мысль наполняет мое сердце ужасом. Но не хочу обольщать себя: вопрос, который она заключает, есть воистину насущнейший из всех современных вопросов.

К удивлению, он слишком мало распространен в обществе. Хищники, увлеченные успехом, как будто совсем не думают о будущем и играючи срывают цветы удовольствия. Везде, куда ни придите, везде только и слышите растленные разговоры о том, как достойна уважения сила и как презренна и достойна поругания слабость. И разговаривают так просто, как будто это дело совсем-совсем беспорное и не видать ему конца-края.

– Вот, батюшка, сила-то что значит! – говорят одни, – даже в глазах силы большей, силы несомненной, она все-таки не перестает быть силой! даже несомненная сила – и та считает излишним ее менажировать и договариваться с нею!

– Взгляните, например, на такого-то икса! – прибавляют другие, – не проходит дня, чтобы он чего-нибудь не надебоширничал, однако его не знает ни полиция, ни

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) мировой суд! Почему-с, смею вас спросить? а просто потому, что это мужчина сильный и из себя видный! Взгляните, напротив того, на такого-то Зета! вот он и не дебоширничает, даже посередке тротуара никогда не пройдет, а все к стороне жметя, – а из части да из суда не выходит! А отчего, спрашиваю я вас? а все оттого, милостивые государи, что Зет видом жидок, и что за такую его провинность всякого порядочного человека так и подмывает ковырнуть ему масла, ушибить поленом или сделать всяческую другую неприятность!

Понятно, какие поучения выводят для себя ревнители хищничества из этих рассуждений. Сила, думают они, одна успевает, а следовательно, к ней одной и тяготеть надлежит. Отсюда та громадная масса, которая постепенно скопляется около всякого хищника и которая служит ему отчасти съедобным материалом, отчасти орудием для уловления простодушных и слабых. Мало-помалу в этой компактной толпе упрядняются понятия о добром и злом, о правом и неправом, о полезном и вредном. Что такое долг? что такое право и правда? какие отношения человека к обществу? Все это вопросы лишние, пустые, созданные пленного мыслью идеологов только для затруднения и отравы жизни. Хищничество, хищничество и хищничество – вот единственный светящийся маяк жизни, вот единственный кодекс, обязательный для современного человека, все остальное – хаос и смятение.

Мир представляется чем-то вроде громадного пирога с начинкой, к которому чем чаще подходишь закусывать, тем сытее будешь. Что нужды, что виднеется уже край пирога, что скоро, быть может, на блюде останутся одни объедки? Хищничество не любит ни обобщать, ни распространять положений далее видимых их пределов; ему нет дела ни до завтрашнего дня, ни до тех, которые придут последними и не найдут на столе ни крупицы. Лишь бы мы были тучны и сыты, лишь бы наши утробы ломились от пресыщения, – о прочем мы не хотим и вспоминать, хотя бы оно завтра же погибло и обрушилось. Мы не хотим подумать даже о том, что мы сами можем обрушиться вместе с этим прочим. А может быть, как-нибудь да выкарабкаемся! утешаем мы себя.

Все хищники таковы; все они столь же непредусмотрительны, как и самые низшие организмы, все убеждены, что лишь бы удалось украсть сто рублей, то этому капиталу и конца никогда не будет.

Обличить несостоятельность этого скудного взгляда, показать хищникам не совсем светлую перспективу, которая ожидает их в будущем, – это, во всяком случае, подвиг, достойный внимания и заслуживающий всяческого сочувствия. Я не питаю особенной симпатии к хищничеству как к признаку известного общественного настроения, но каждый из хищников, взятый в отдельности, скорее возбуждает во мне сожаление, нежели ненависть.

Что такое ненависть? – это, во всяком случае, чувство ненормальное, которое может быть оправдано только как продукт временного стечения таких условий, которые делают существование в их среде человека особенно тяжким. Мы ненавидим известные исторические положения, забывая, что выражение «историческое» уже снимает с них всякое обвинение. Но еще менее имеем мы право ненавидеть отдельные лица, принимающие участие в исторических положениях. Стало быть, не то ненавистно, что сильно заявляет право на существование, а то, что слабое считается имеющим право только на гибель. Наименее симпатичная в этом смысле порода людей – это, бесспорно, порода хищников; но и ее имеем ли мы основание ненавидеть? – нет, не имеем, ибо всякий хищник, в сущности, до такой степени глуп, что он легко может съесть самого себя – и не заметить этого. Совместно ли с справедливостью ненавидеть этих жалких людей? можно ли даже прилагать к ним принцип вменяемости?

Вот почему я и не ненавижу, а только сожалею. Меня ужасает эпоха, ужасает историческое положение, в котором погибает столько живых существ... а в том числе и хищников. Да, я убежден, что и они подлежат закону естественного возмездия, что и они возвратят все взятое.

Нет положения более горького и неловкого, как положение вчерашнего триумфатора, переставшего быть триумфатором нынешним. Независимо от обязанности отдать (как говорится, до последней полушки) отчет в недавних триумфах, человек этот не может не чувствовать себя оскорбленным и оплеванным. Даже в тех случаях, когда триумф его был вполне правильный, и тогда его положение не может назваться легким в виду тех подозрений, которые над ним тяготеют. Правда, он может со временем очиститься от них и после того опять предпринять какой-нибудь триумф;

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) но легче произнести это слово (очиститься), нежели добиться его осуществления. Скольким разным перипетий и случайностей скрывается за этим словом! сколько систематических fins de non recevoir! И все это даже в таком случае, когда триумф был вполне законный. Судите после этого, каково должно быть положение такого триумфатора, которого все триумфы состояли в том, что он тогда-то столько-то украл, а тогда-то столько-то оглушил? О, это не дай бог какое положение!

В этих-то собственно видах я и обличаю: обличаю жалеючи. Я не раз выражал мнение, что жизнь правильная, нормальная не терпит триумфов и что триумфаторство вообще есть продукт натянутости и неестественности общественных отношений. Этого мнения я держусь и теперь. Как только откажемся мы от легких и даже трудных триумфов, так вместо призраков выступит у нас наружу действительное дело. И хищники исчезнут...

#### САМОДОВОЛЬНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ

Всякому читателю, без сомнения, случилось иметь дело с людьми, которых ограниченность ясна с первого взгляда, но которые в то же время поражают свою самоуверенностью. Из всех человеческих типов это самый надоедливый и нестерпимый. Просто ограниченный человек хранит свою ограниченность про себя; он не совершает ничего особенно плодотворного, но зато ничего и не запутывает. Совсем другое дело – ограниченность самодовольная, сознавшая себя мудростью. Она отличается тем, что насильственно врывается в сферы ей недоступные и стремится распространить свои криле всюду, где слышится живое дыхание. Это своего рода зараза, чума. Низменные идеалы, которые она себе выработала или, лучше сказать, которые получила в наследство вместе с прочею рухлядью прошлого, перестают быть ее идеалами, а становятся образцом для идеалов общечеловеческих; азбучность становится обязательною; глупые мысли, дурацкие речи сочатся отовсюду, и совокупность их получает наименование «морали». «Я заплатил за месяц прислуге, я ни копейки не должен в мелочную лавку – я счастлив. Отчего же моему счастью не быть образцом счастья общечеловеческого? отчего тем законам, которыми я руководствуюсь в моем обыденном хозяйстве, не служить руководящею нитью и в мировой жизни?» Так вопрошает себя ограниченный человек и, самодовольно убежденный в своей житейской мудрости, утверждает непререкаемо, что проходящие перед его глазами запутанности и затруднения суть не что иное, как создание разгоряченной фантазии людей, которые не умеют свести концы с концами.

Что такого рода вывод вполне произволен и даже глуп – это ясно с первого взгляда; но все-таки ясно лишь для ума, привыкшего анализировать и рассуждать. Большинство же приходит к уяснению себе этой произвольности чрезвычайно туго, и вот почему мы видим, что, запасшись подобными выводами, люди могут не только почерпать в них личную беспредельную самоуверенность, но и отуманивать ими массы людей. Как ни загадочным кажется успех ограниченных людей, тем не менее это факт, против реальности которого бесполезно возражать. Личности подобного закала пользуются и авторитетом, и почетом, и даже славой. Всякой попытке прорваться в область сознательности они кричат навстречу: довольно! – и попытка стушевывается без возражений. Поэтому пренебрегать ими, смотреть на них исключительно как на общественную мебель невозможно.

По всем этим соображениям, я постараюсь объяснить: во-первых, в чем собственно заключается произвольность выводов, подобных указанным выше; во-вторых, вследствие каких причин и в какой среде такие выводы получают авторитетность, и, в-третьих, наконец, к чему может прийти общество, усматривающее высший жизненный идеал в ограниченности желаний и стремлений.

Что каждый имеет право предъявлять свое собственное, лично ему принадлежащее воззрение на счастье, и согласно с этим воззрением устраивать свою жизнь – это истина, которую, конечно, никто не станет оспаривать. Личное счастье может быть усматриваемо и в обладании некоторыми материальными удобствами, и в достижении целей, которые никого не занимают, кроме лица, непосредственно ими заинтересованного, и даже в простом соблюдении привычек. Здесь все зависит от большей или меньшей ширины мирозерцания, а так как область мирозерцания недоступна регламентации, то даже самые пошлые желания и стремления могут заявлять о праве на существование. «Я счастлив, потому что на мне отлично сидят панталоны»; «я счастлив, потому что принят в таких-то домах»; «я счастлив, потому что у меня карета и пара лошадей» – все это своего рода идеалы, и хотя в них нет ничего особенно умного, но в то же время и незаконного ничего нет.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Вопрос не в законности личных идеалов, а в их общеобязательности, и как только вопрос этот решается в пользу личных идеалов и в ущерб идеалам общим, так тотчас же отношения к жизни и ее явлениям становятся натянутыми и запутанными. А этой-то именно обязательности и добивается ограниченность, переносящая свое самодовольство из сферы домашнего очага в сферу высших человеческих интересов.

Первое и главное основание, на которое в этом случае опирается ограниченность, заключается в конкретности фактов, служащих для нее отправным пунктом. «Я счастлив, потому что не спорю с небесами»; «я счастлив, потому что не делаю набегов в область неизвестного»; «я доволен, потому что страдание и бедность как общий вопрос не смущают меня» – вот факты, которые можно сейчас же поверить и против конкретности которых трудно что-нибудь возразить. Действительно, вы видите человека, который несомненно и с небесами не спорит и в то же время несомненно счастлив. «Так вот как легко дается счастье-то!» – думает человек, взирая на румяную и раскормленную ограниченность, и до того соблазняется этой легкостью, что даже не договаривает: «стоит только быть ограниченным человеком!» А между тем это недомолвка очень важная и приводящая к целому ряду запутанностей и лжей.

В чем же тут ошибка? Да в том именно, что конкретность фактов, подобных упомянутым выше, присуща только им самим и ни для каких обобщений повода не дает. Не только конкретность таких фактов, которые имеют чисто личный характер, но даже и таких, как, например, «Крестецкий уезд счастлив, потому что в нем существует банк», или «город Скопин счастлив, потому что в нем имеется деятельный городской голова Рыков». Даже это не дает основания сказать: так пусть же весь мир будет счастлив, как Крестецкий уезд или как город Скопин! Единственное обобщение, которое можно допустить по поводу подобных конкретностей, – это следующее: каждый человек, а также каждый город, каждая вещь имеют право быть счастливыми по-своему. Идти далее по пути обобщений уже значит прибегать к подтасовке, значит легкомысленно или преднамеренно закрывать глаза на ту пропасть, которая лежит между явлениями совершенно разных порядков. «Стоит только быть ограниченным» – вот очень полезная в этом случае поправка, и всякий, вдумавшись в нее, согласится, что могут быть даже такие виды счастья, которые прямо свидетельствуют о порабощении духовной стороны человека стороне животной. Спрашивается: можно ли присвоивать таким видам личного счастья характер общеобязательный?

Отсутствие такого рода поправки ведет к весьма важному смешению, а именно к отождествлению сферы домашнего обихода с сферой мировой жизни. Почему идеалы общечеловеческие выше идеалов личных и даже идеалов, например, Крестецкого уезда? А потому просто, что первые составляют крайнее звено в последовательной цепи идеалов, освещающих пути человеческого развития; потому что они представляют содержащее, а личные идеалы – только содержимое; потому, наконец, что с осуществлением идеалов общечеловеческих сами собою осуществляются идеалы скопинские, харьковские и раненбургские, а не наоборот. Если жизни даны широкие основания, то подробности улаживаются вполне естественно сами собой, и притом не вразброд, а согласно с самыми основаниями жизни. Напротив, ежели у жизни нет прочных и широких оснований, то одна подробность неизбежно будет идти вразрез другой. Поэтому те, которые прежде всего обращают внимание на подробности, в надежде впоследствии приладить к ним жизнь, уподобляются архитектору, который, не сделав плана зданию, лепит наудачу кирпич к кирпичу. Нет слова, что иногда самые условия общественности таковы, что благоприятствуют подробностям и враждебны общим идеям; но не следует забывать, что по этой-то именно причине такие условия и называются печальными, но никак не образцовыми.

Ничего этого самодовольная ограниченность не понимает, да и не может понимать, во-первых, потому, что конкретность ее низменных идеалов застилает ей глаза, а во-вторых, потому, что она, по самому свойству своему, неспособна различать размеры развивающихся перед нею явлений. Она игнорирует процесс усложнения явлений и потому естественно умозаключает, что все они безразличны. По этой же причине она легко допускает самые уродливые и незаконные обобщения и становится втупик при виде самых естественных проявлений прогрессирующей жизни, если они не подходят под мерку простой житейской исправности. Все ее выводы до того произвольны и неожиданны, что, слушая их, сдается, что они выработались не в человеческом мозгу, а случайно свалились откуда-то с колокольни.

Тем не менее как скоро человек однажды пришел к убеждению, что он мудрец, он не только не легко расстается с этим убеждением, но, напротив того, сгорает



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) нетерпением пропагандировать основания своей мудрости. Как и всякий другой мудрец, он не хочет таить свою мудрость для одного себя, а хочет привить ее присным и неприсным, знакомым и незнакомым, всему миру. Отсюда та бесконечно-раздражающая проповедь самодовольной ограниченности, которая раздается тем слышнее, что внешние условия не только не поставляют ей в этом случае препятствий, но даже споспешествуют и благоприятствуют.

Во всех видах эта проповедь несносна и вредна. И тогда, когда она не выходит из пределов выражения простого личного самодовольства (пропаганда собственным примером), и тогда, когда не пренебрегает даже насилием, чтобы накрыть своим серым покровом весь мир (пропаганда воинствующая). В первом случае раздражает бесконечная удовлетворенность, не подозревающая даже возможности иного мирозерцания, кроме низменного; во втором – смущает неразборчивость в выборе путей и средств. В первом случае ограниченность говорит: взгляни на меня – и убедись; во втором – она ту же речь сопровождает тычком, шиворотом, кандалами.

Трагическая сторона значительного скопления ограниченных людей в известной местности заключается не столько в насильственных приемах, которые они допускают, в видах успешного уловления прозелитов, сколько в том, что от этих людей некуда уйти, так что выслушивание азбучных истин становится действительно обязательным. Наплыв личностей, считающих расчет с мелочной лавкой разрешением всех жизненных задач, происходит не случайно, а означает, что на людей такого закала является усиленный спрос, или, лучше сказать, внезапно утвердившаяся в большинстве уверенность, что вне ограниченности не может быть спасения. Еще накануне ограниченные люди шныряли, собирая справки и снося их в одну кучу, а нынче они уж раскормлены, румяны и мнят себя носителями руководящей мысли. Они расхаживают по стогнам и, нимало не краснея, возвещают азбучные истины. Проповедуют, что «по рогожке следует протягивать ножки», что «всякий сверчок должен знать свой шесток», что «поспешись – людей насмешишь», и при этом так блаженно улыбаются, что издали можно подумать: вот счастливцы, разрешившие себе задачу душевного равновесия! Бегите от этих людей, а если бежать некуда, то, делать нечего, будьте к ним почтительны, ибо это не просто разводители канители, но герои дня, выразители требований минуты. Их приходится выслушивать с терпением не по тому одному, что невыслушивание может повести за собой злостные для невыслушивающих последствия (это само по себе), но и потому, что весь воздух этой местности, всякий камень, каждая песчинка пропитаны азбучностью.

В чем же собственно заключается тайна втягивающего свойства самодовольной ограниченности? вследствие каких причин ограниченные люди из скромных собирателей справок и наполнителей графленой бумаги вдруг превращаются ежели не в действительных руководителей общества, то, во всяком случае, в его систематических отуманивателей? откуда идет этот внезапный спрос на ограниченность, который окружает ее ореолом авторитетности и почета?

Существует мнение, что между фактом господства ограниченных людей и эпохами так называемой общественной реакции имеется тесная органическая связь. Указывают, например, на времена Директории и Первой империи, а в особенности на времена владычества Наполеона III во Франции, когда в обществе действительно как бы потухли стремления к высшим идеалам и когда ограниченность, сознающая себя мудростью, не только приносила своему обладателю деньги, силу и почет, но даже проникательных людей вводила в заблуждение насчет действительного своего значения. И действительно, что такое «реакция» в общественном смысле этого слова? Это эпоха величайшего умственного утомления, эпоха прекращения частной и общественной инициативы, эпоха торжества сил, имеющих значение не столько сдерживающее и регулирующее (это только казовый конец реакций), сколько уничижающее и мертвящее. Таково, по крайней мере, общепризнанное представление о реакции, и ежели мы вспомним, что всякой реакции всегда предшествуют особенно энергические усилия общества, направленные к пересозданию самых существенных его основ, то характер следующей затем реакции несомненно утратит в наших глазах свою загадочность. Увы! результаты реформаторских усилий так редко дают себя чувствовать ясно и непосредственно, что для людей среднего умственного уровня они представляются трудноуловимыми. Мало того: в глазах этих людей воспоминание о реформаторских усилиях почти всегда сопрягается с представлением о чем-то недоконченном, возбудившем бесплодные тревоги.

Причин этого явления много, но две из них настолько важны, что невольно обращают на себя внимание. Во-первых, реформаторские движения почти всегда первоначально прорываются урывками и потому даже тогда, когда уже делаются достаточно

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) сильными, чтобы развиться в правильную организацию, достигают этого не иначе, как допуская совместное действие элементов не только не однородных, но даже взаимно друг друга исключаящих. Отсюда изумления, раскаяния и раздоры – эти печальные, но вполне естественные последствия деятельности, лишенной возможности развиваться спокойно. Во-вторых, благодаря разнородности побуждений, дающих начало реформаторскому движению, в основании этого последнего всегда находится известный компромисс, вследствие которого старый строй далеко не все уступает новому строю, а только то, о чем в просторечии говорится: и то слава богу! Компромисс этот, однажды проскользнув в общую систему реформаторских намерений, гложет ее неустанно, гложет до тех пор, пока от системы не останется один тощий остов. Думали, например, достигнуть результата вполне ясного и определенного, но по дороге задались мыслью, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, – и вышло нечто совсем неожиданное. Понятно, что человек среднего умственного уровня имел полное право изумиться этому результату и даже впасть по поводу его в уныние. А так как общественное большинство состоит именно из людей этого уровня, то нет ничего удивительного, что в среде их на первый план выступают вопросы: из-за чего хлопотали, усиливались, обольщали себя надеждою? Совершив энергическое усилие и выиграв очень мало, а иногда и ровно ничего, общество проникается робостью и умолкает. Не подвиги прогресса улыбаются ему, а сказочное, спокойное преуспеяние, которое будто бы совершается само собой. А от надежд на сказочный прогресс один шаг и до полной и неумолимой реакции.

Такого рода колебания между реформаторскими усилиями и реакцией всего яснее выразились в названные выше эпохи французской истории. Но они возможны не только в обществах, стоящих на относительно высокой степени развития, но даже и там, где главный тон жизни составляют гладь да божья благодать. Вглядитесь пристальнее в эту, по-видимому, ничем не возмущаемую жизнь и вы заметите, что и здесь по временам пробиваются признаки реформаторского движения, свидетельствующие о смутном поползновении изменить низшую форму общественности на высшую, и что следом за подобными поползновениями всегда является самая беспощадная реакция. Только здесь реакция получает характер еще более подавляющий, потому что нельзя с достаточною ясностью указать ни на причины регресса, ни на явления, против которых направляются удары его.

Вот в эти-то минуты уныния и упадка общественной энергии и происходит та перестановка, в силу которой, наместо убежденных, самоотверженных и страстных людей, роль руководителей принимают на себя проповедники азбучных истин, приправленных молчалинскою аккуратностью.

«Смотрите! – вещают эти новые узорешители, – вы хотели нас переспорить – и в результате получили шиш! Попробуйте-ка пожить помаленьку да полегоньку, ладком да мирком – не выйдет ли что-нибудь получше шиша!» И общество внимает этим речам тем охотнее, что оно действительно работало и изнуряло себя из-за шиша. Оно не берет в расчет, что шиш есть лишь естественное последствие тех деморализующих компромиссов, которые подрывали его недавние усилия; оно помнит только свой неуспех и от него умозаключает, что таков фаталистический исход всех реформаторских усилий вообще и во всяком случае.

В такие исторические минуты всякая пошлость именуется мудростью, всякая подтасовка делается дозволительною. Обличить эту наглую ложь, доказать, что счастье человека, успешно совершившего то или другое органическое отправление, не имеет права именовать себя идеалом счастья общечеловеческого, конечно, не бог знает какая мудрость; но тут дело не в мудрости, а в практической возможности подобной затеи. Усталое большинство не только не доверяет доказательствам, имеющим отвлеченный характер, но положительно отрицает самую уместность их. «Видали мы этих идеологов!» – вопит оно на все тоны; «довольно с нас! не отвлеченных доказательств нам нужно, а фактов!» А эти факты представляет ему самодовольная ограниченность, гласящая: «смотрите, как я румяна, сыта и довольна!» И они сохраняют свою убедительность до тех пор, покуда жизнь не вызовет на свет новых фактов, которые своею не меньшею конкретностью не разобьют в прах конкретность старых.

Таким образом, из всего сказанного явствует, во-первых, что вся сила самодовольной ограниченности зиждется на мнимой способности ее опорных точек к обобщениям, и, во-вторых, что успех ее проповеди главным образом обуславливается упадком общественного духа и ослаблением того импульса, который заставлял общество искать духовного уровня, несколько высшего, нежели тот, который предлагается афоризмами азбук и прописей. Но дабы сделать нашу мысль более

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) ясною, возьмем вопрос с практической точки зрения и посмотрим, к чему может прийти общество, видящее в ограниченности стремлений осуществление жизненных идеалов.

Непосредственный результат торжества ограниченности прежде всего выражается в общей тишине. Казалось бы, что лучше этого результата не надо и желать. Где человеку благоденствовать и прогрессировать, как не на лоне мира и тишины? Где процветать наукам и искусствам, развиваться гражданственности и проч., как не при условиях тишины? И действительно, ограниченность всегда с особенною силою напирает на эти условия. Тишина, по ее словам, – это палладиум всяческого процветания; она одна даст все: и счастье, и успокоение от тревог, и исцеление недугов, и удовлетворение законных интересов...

Однако ж на практике оказывается нечто совершенно несоответствующее этим хвастливым обещаниям; нечто такое, что доказывает, что представление о тишине далеко не свободно от некоторых неясностей, которые могут подать повод к самым вопиющим недоразумениям.

Призывая, вслед за пропагандистами ограниченности, многожеланную тишину, мы при всей скромности наших требований, конечно, имеем в виду не тишину для тишины, а достижение известных благ, которые ею охраняются. Но, к удивлению, мы не только не получаем этих благ, но даже делаемся свидетелями внезапного исчезновения самой общественности, то есть того условия, отсутствие которого делает немислимыми и процветание, и благоденствие, и прогресс.

Стало быть, в этой тишине есть органический порок; стало быть, это не та «возлюбленная тишина, градов и весей отрада», о которой вздыхают поэты, а какая-то другая, скорее заслуживающая названия мертвенности, нежели тишины.

Первое условие всякой общественности – это возможность свободного обмена мыслей, возможность спора, возражений и даже заблуждений (да, и заблуждений, потому что и они имеют свое значение в общей экономии жизненного прогресса). Наличие этих условий важна не только потому, что она сообщает жизни характер совершенствования, но и потому, что вносит в общественные отношения элемент приятности. Однообразие воззрений, особливо ежели оно имеет оттенок вынужденности, создает одноформенность потребностей и стремлений, а затем угрюмость и одичалость; напротив того, разногласие в мнениях, приводя за собой необходимость во взаимной проверке их, служит надежнейшим цементом для скрепления людских отношений. Вот этого-то последнего условия общественности именно и не допускает самодовольная ограниченность, ибо она даже самое слово «тишина» определяет отсутствием каких бы то ни было споров и несогласий. Опираясь на неуспех недавней «борьбы с небом», она, с свойственной всякой азбучности манерой цепляться за одни внешние признаки факта, прямо приписывает его спорам и несогласиям, присущим борьбе. Как можно меньше сомнений, препирательств и экскурсий в области неизвестного и как можно больше сосредоточенности и аккуратности в расчетах по ежедневным затратам – вот девиз торжествующей ограниченности. В согласность этому девизу вырабатывается целый кодекс низменного свойства аксиом, который нельзя обойти под опасением свергнуться в бездну и на дне ее встретить классическую гидру. Этой гидры никто никогда не видал, но она с незапамятных времен служит отличнейшим пугалом. Ни спорить, ни прекословить не допускается, потому что в противном случае или в бездну попадешь, или помешаешь «правильному» прогрессу. Одного добиваться следует – это безусловного прекращения разногласий и сомнений и, что важнее всего, устранения какой бы то ни было погони за неизвестностью. А отсюда единственный практический выход: молчаливое и единомысленное вытаскивание бирюлек.

Не задумывайтесь! ибо задумываться значит сомневаться, значит пытаться что-нибудь провидеть, значит допускать возможность критических отношений. А для попыток этого рода есть отличное слово «мечтательность», в котором, как в пучине, утопает всякий порыв самостоятельности и самодеятельности. «Мечтательность» – это одно из тех не помнящих родства слов, которых значения никто ясно не понимает, но которые всякий охотно употребляет, предполагая, что в нем есть нечто такое, чем можно заклеить все, что не по нутру. Мечтательность – это проказа, это явление, которое даже ограниченного человека может вывести из состояния самодовольного оцепенения. Оставьте, милостивые государи! Оставьте мечтательность и займитесь делом, то есть вытаскиванием бирюлек и наставкою заплат. И не заглядывайте вперед, ибо всякое заглядывание подрывает тишину!

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) спрашивается, однако ж: сопровождаемая подобными оговорками, в какой мере совместна тишина с общественностью, которая осуществляет собой движение?

Но, вычеркнув из наличности наиболее жизненный элемент общественности, ограниченность идет еще далее, то есть вводит в жизнь другой элемент, положительно ей враждебный. Этот другой элемент – испуг. С первого взгляда, можно подумать, что самодовольство и испуг – два понятия, друг друга исключаящие; но в действительности эта несовместимость лишь кажущаяся. При известном настроении общества, когда со всех сторон раздаются фразы, лишённые содержания, и в них одних видится спасение от недугов, испуг перестает представлять что-либо реальное, а делается простым предостережением против всякой попытки нарушить тишину.

Люди пугают друг друга не ради того, что над ними висит дамоклов меч, а ради того, чтобы оградить тишину для тишины и укрепить себя и других в намерении не заниматься ничем, кроме вытаскивания бирюлек. «А помните, как вы с небом-то спорить хотели?» Это вопрос, в сущности, пустой и глупый, но при известной настроенности общества его одного достаточно, чтобы заставить всех и каждого как можно плотнее пригнуться к земле. В виду этой угрозы всякий реакционный бред считается уместным и дозволительным. Ограниченные люди, наперерыв друг перед другом, рассказывают анекдоты о глумлениях, попраниях и тому подобных «бесчинствах». Об «авторитете» упоминается как о чем-то поруганном, посрамленном, погубленном. Мудрецы вздыхают, соболезнуют, устрашают друг друга, и – странное дело! – несмотря на пуганья, только добреют да нагуливают себе жиру в борьбе с попраниями и глумлениями. Ясно, что испуг в этом случае совсем не существен, что это только пробный камень, на котором можно не без выгоды испытывать личную способность закаляться в азбучной мудрости. Но ежели занятие такого рода и может для той или другой личности представлять своекорыстный интерес, то все-таки спрашивается: возможна ли общественность под гнетом неумолкающих устрашений?

Ответ на оба поставленные выше вопроса не может быть сомнителен; нет, общество, изгнавшее из своей среды склонность к занятию высшими умственными интересами, общество, с презрением и насмешкою относящееся к так называемым широким вопросам жизни, общество, подчинившееся молчанию и испугу, не имеет права считать себя обладающим благами общественности. Это общество одичалое, живущее наудачу и даже не могущее уяснить себе последствия, к которым неминуемо должна привести его одичалость.

Первое последствие умственной одичалости – это скука. Скука, как общий давящий покров, от гнета которого не освобождаются даже сами проповедники ограниченности.

Что такое скука? – Это отсутствие высших умственных интересов, это запертая дверь в тот безграничный мир умственной спекуляции, в котором каждый новый шаг дает новое открытие или новую комбинацию, в котором даже простое припоминание фактов, уже добытых и известных, представляет наслаждение, благодаря разнообразию этих фактов и их способности соединяться в группы и давать повод для бесконечного множества выводов. Вне этого мира нет прочного и продолжительного наслаждения, так что, какие бы ни придумывались ухищрения к усложнению низших видов наслаждения, с целью заменить ими наслаждения высшей категории, в результате ничего не получится, кроме временного возбуждения, которое не замедлит уступить место пресыщению и скуке.

Второе последствие умственной одичалости – общественное бессилие. Страна, которая всецело посвятила себя обоготворению «тишины», которая отказалась от заблуждений и все внимание устремила на правильность расчетов по ежедневным затратам, может считать свою роль оконченной. Это – страна мудрых. Ей некуда идти, ибо перед ней возвышается глухая стена, на которой начертано: не твое дело. От нее нечего ждать, ибо она все жизненные задачи считает исчерпанными изречением: не твое дело. Ей предстоит только выполнение тех требований обыденности, которые равно обязательны и для человека, и для всякого другого организма. Поэтому, когда ей приходится расплачиваться за свою самоуверенную мудрость, то расплата всегда застает ее врасплох. Все обыватели мудры, но никто ни к чему не подготовлен, никто ничего не знает, ничем не интересуется, ничего не любит. По-видимому, человек всю свою жизнь и все внимание исключительно устремлял на подробности, отдавался им до самозабвения, а на поверхность выходит, что он только заблудился в них, ясного же представления даже о мелочах не

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) получил. Подробности перепутались, а общей руководящей мысли, которая помогла бы опознаться в вавилонском столпотворении, нет и в помине. В результате – пустое место.

Третье последствие – неурядица не только внутренняя, но и внешняя. Те глубоко заблуждаются, которые отождествляют тишину с порядком и видят в первой обеспечении последнего. Та тишина, которую проповедует самодовольная ограниченность, есть тишина насильственная, чаще всего прикрывающая раздоры самого вредного свойства. Ограниченные люди точно так же способны раскалываться и препираться друг с другом, как и люди развитые, с той лишь разницей, что препирательства азбучных мудрецов не идут дальше вопросов о выеденном яйце. Но низменность содержания не только не смягчает раздражения, но даже усиливает его назойливость. Нигде не встречается такого ожесточения, столько зависти, интриг, как в среде ограниченных людей, для которых все сводится к личным целям, для которых до такой степени не существует высших интересов, что им нечему жертвовать, хотя бы они и имели случайную склонность к пожертвованиям. Поэтому в обществе, живущем под игом тишины для тишины, даже подробности жизни всегда разрешаются согласно с такими случайными настроениями, которых ни предвидеть, ни предугадать нельзя, а это в свою очередь кладет на всю жизненную обстановку печать необеспеченности и неуверенности. Кажется, что может быть общераспространеннее правила «всякий сверчок знай свой шесток», а между тем попробуйте пожить, имея в запасе только один этот руководящий афоризм, и вы убедитесь, что каждая минута представит вам бесчисленное множество самых разнообразных ловушек. Во-первых, нет точного определения, в чем заключаются права и обязанности человека-сверчка, а потому всякий мнит себя сверчком особенным, а иной даже и сверчком-орлом. Во-вторых, такую же неопределенностью страдает и понятие о «шестке», так что всегда есть опасность впасть в ошибку и неумышленно занять шесток рангом повыше. А отсюда – вечное и безобразное препирательство, возникающее каждый раз, как только заходит речь об обращении сверчка к его натуральному шестку,

Наконец, четвертое последствие – распушенность нравов, этот достойный плод скуки и необходимости уразнообразить жизнь, лишенную действительных элементов разнообразия. Зрелища, возбуждающие чувственность, литература, проповедующая низменность и пошлость, искусство, чуждающееся мысли и преследующее ее презрением и насмешкою, – вот пища, которою удовлетворяется общество, примирившееся с идеалами аккуратности и умеренности. И напрасны будут усилия людей, предостерегающих подобное общество от увлечений чувственностью и пошлостью, ибо увлечения эти суть органический придаток всего жизненного строя, и общество, отдавшее свои интересы под охрану азбучной ограниченности, неспособно иметь иных наслаждений, кроме наслаждений самого низменного свойства.

Таковы результаты господства самодовольной ограниченности. Быть может, здесь далеко не все исчерпано, что можно было бы сказать об этом предмете, но и того, что сказано, достаточно, чтобы уразуметь, что влияние ограниченности не заключает в себе ничего плодотворного.

#### СИЛА СОБЫТИЙ

Что такое «патриотизм»?

До последнего времени [29] очень немногие задавали себе этот вопрос: до такой степени он казался ясным и бесспорным. Большинство понимало под словом «патриотизм» что-то врожденное, почти обязательное. Начальство, соглашаясь с этим определением, прибавляло, что наилучшее выражение патриотизма заключается в беспрекословном исполнении начальственных предписаний.

Определение большинства имеет тот порок, что ничего не определяет и, следовательно, оставляет вопрос открытым. Эгс все равно как если бы кто сказал, что патриотизм есть любовь к отечеству, – какую пользу можно вынести из такого объяснения? Второе, начальственное определение несколько яснее, но имеет другой недостаток, а именно: исключает из области патриотизма целую категорию лиц, известных под общим наименованием «начальства». Не получая ни от кого предписаний, на чем же оно может упражнять свой патриотизм?

Исследователи более смелые шли несколько далее и объясняли обязательность патриотизма тем, что нигде человек не может так успешно достигать своих целей и вообще проявлять свою личность, как в той среде, которая знакома ему со всем ее добрым и злым материалом. Но и это толкование нимало не специализирует

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) рассматриваемого явления, потому что удобствами, доставляемыми знанием среды, можно объяснить не только патриотизм, но и другие инстинкты несомненно дурного свойства. И карманному вору удобнее проявлять свою личность в среде знакомой и исследованной, однако едва ли кто-нибудь решится утверждать, что инстинкт воровства есть инстинкт врожденный, невольный и обязательный.

Кажется, что вся эта путаница произошла оттого, что для объяснения некоторых жизненных явлений мы слишком бесцеремонно пользуемся такими определениями, которые сами требуют ближайших определений. Необходимы были такие тяжкие искушения опыта, какие доставили последние события военного и политического мира (война Германии с Францией), чтоб нанести окончательный удар бессодержательности фразы и навсегда очистить сущность интересующего нас явления от сети лицемерия и хвастовства, которые опутывали его.

Первый вопрос, который разъясняют последние события, – это вопрос об отношении к идее патриотизма бесчисленных паразитов, наполняющих мир. Могут ли, например, именоваться патриотами подрядчики, поставляющие вместо ружей шасспо простые ударные, или кремневые, или, наконец, такие кремневые, у которых вместо кремня фигурирует разрисованная на манер кремня чурка, а также градоначальники и военачальники, поощряющие такие поставки? Могут ли именоваться патриотами проходимцы вроде папских швейцарцев, или тюрокосов, или гулящих немцев, охотно внедряющихся всюду, где имеется мясистая поверхность, защищенная шерстью и волосами? Могут ли именоваться патриотами всякие другие паразиты, хотя бы и высшей школы?

Все эти вопросы на первый взгляд кажутся праздными, но если взглянуть в дело пристальнее, то выйдет, что разрешение их составляет потребность далеко не призрачную. Почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде следующих: «правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!» или: «правда, что N пустил по миру множество людей, но зато какой христианин!» – и суждения эти не только не убивают нашу совесть, но даже не удивляют нас. Стало быть, несовместимость таких явлений, как казнокрадство и патриотизм, вовсе не настолько ясна, чтобы можно было считать поставленные выше вопросы окончательно упраздненными.

Причина сближений столь странных и неожиданных бесспорно заключается в общей путанице наших обыденных воззрений на жизнь. Благодаря обилию фантастических элементов, переполняющих наше воспитание, жизнь с детства кажется нам разделенною на две половины, из которых в одной складываются интересы высшего порядка, в другой – интересы порядка низшего. Связи между этими двумя половинами не полагается, а следовательно, не может быть речи и о взаимном питании. Если низшие интересы представляют сброд неосмысленных мелочей, очутившихся рядом без всякого порядка, то интересы высшие представляют совершенно призрачный мир, доступный всевозможным толкованиям и перестановкам. Пользуясь этой разрозненностью, человек может свободно переходить из одной половины в другую и, не возбуждая ни в ком удивления, уравнивать самые гнусные поступки высокопарными и бессодержательными фразами. Заведомый шулер может утверждать, что человек без добродетели – все равно что тело без души; заведомый прелюбодей может удивляться, что человек, не соблюдающий семейной чистоты, – все равно что пламя, горящее тусклым и негреющим светом; заведомый казнокрад может объясняться в любви к отечеству.

Сомнения относительно правильности такого воззрения на жизнь возникли давно, но, к сожалению, возникли лишь путем умозрительным. Большинство редко убеждается умозрительными доводами и требует доказательств осязаемых, вещественных. Вот это-то вещественное доказательство и дано ныне, и притом дано в таких обстоятельствах, что не осталось ни одной утаенной подробности, ни одного невыясненного эпизода. Если б обязанность представления вещественных доказательств выпала на долю стране, играющей в цивилизованном мире роль скромной фиалки, очень может быть, что истина или, по крайней мере, большая ее часть осталась бы под спудом. Но в настоящем случае пропагандистом является самый нахальный народ в мире, до того нахальный, что считает свои давние заслуги перед человечеством настолько существенными, что перед ними бледнеют даже те язвы, которые наложило двадцатилетнее недоразумение, сделавшее его добычею проходимцев.

Бедная Франция! и на этот раз ты являешься искупительною жертвою! Тебя, на

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) которую мир смотрел как на пламя, согревавшее историю человечества, – тебя в настоящую минуту каждый мекленбург-стрелицкий обыватель, не обинуясь, называет собранием «думкопфов»! И благо ему, этому скромному мекленбург-стрелицкому обывателю. Он получил от тебя все, что ему было нужно. В конце XVIII столетия ты дала ему позыв к свободе; в 1848 году ты дала ему позыв к осуществлению идеи о «великом отечестве». Но и за всем тем ты все-таки виновата. Ты виновата тем, что не сумела создать «порядка»; тем, что твои почты и железнодорожные поезда лишены правильности отчетливого механизма; тем, что ты не выдумала ретур-билетов; тем, что ты даже по части почтовых марок оказалась недостаточно твердою. Все это выдумали, устроили, создали зигмарингенцы, гессенцы и мекленбуржцы, и они, ни за что в свете, не простят тебе этого пропуска. Покуда ты выдумывала свободу и на свой страх выводила жизнь на почву общественных вопросов, мекленбуржец, не имея надобности изобретать изобретенное, предпочитал «некоторую узость взглядов ширине их». Под защито твоих политических и социальных конвульсий он втихомолку выработывал вопрос, гораздо более близкий его пониманию, а именно – вопрос об отношении проходимства и жульничества к патриотизму, и, надо сказать правду, выработал его (в обычном, родственном ему среднем уровне) довольно удовлетворительно. Теперь он уверен, что письмо его дойдет по назначению, что каждый чиновник его бесчисленных почтовых контор в совершенстве знает географию и не зашлет в Кронштадт письма, адресованного в Капштат, что для неукоснительного избияния думкопфов ему дадут настоящее игольчатое ружье, а не подобие его, и что реквизиция на земле думкопфов будет производиться неуклонно, по строго обдуманному плану, а не как-нибудь без системы: сперва в зубы, а потом рюмка водки на мировую.

Да, ты виновата. Занявшись преследованием мировых задач, ты забыла, что существуют миллионы домашних подробностей, устройство которых обеспечивает жизнь от неожиданностей. Мекленбуржцы, гессенцы, гогенцоллернцы поняли это лучше тебя, хотя, с другой стороны, быть может, они недостаточно уразумели, что в некоторых случаях даже самое лучшее устройство подробностей, без гарантии выработанных тобою общих идей, все-таки не больше как здание, выстроенное на песке. Твоя свобода бессодержательна – это так; твои социальные движения несостоятельны – и в этом нельзя сомневаться, ибо весь Липпе-Детмольд поголовно провозглашает эту истину; но не существуй их, не держи они мир в некотором напряжении, какой гессенец поручится, что не придут проходимцы и не перестроят все по-старому? Проходимцы чутки и внимательно подстерегают случаи, дающие возможность что-нибудь стянуть. Прежде всего они стянут бессодержательную свободу, а потом созовут всех гессенцев, шаумбургцев и зиг-марингенцев и при громе пушек скажут им: нет вам ни почт, ни почтальонов, ни почтовых марок, нет ни ретур-билетов, ни игольчатых ружей, ни нарезных пушек; нет вам литературы, кроме «wacht am Rhein»! Живите как бог даст и изнемогайте без литературы, без политики, без писем от родных, как изнемогают обыватели какого-нибудь Боброва или Острогожска!

Все это дело очень возможное (увы! многое возможно, что с первого взгляда кажется даже фантастическим), а стало быть, те, которые так охотно «предпочитают некоторую узость взглядов ширине их», едва ли вполне правы в своих предпочтениях. Они забывают, что ширина взглядов, в большинстве случаев, защищает подробности, достигаемые узостью их. И притом, как определить эту «некоторую» узость, как отличить ее от не «некоторой»? Где кончается граница узости, которой можно с грехом пополам присвоить название разумной, и где начинается граница той узости, которой ни на каком языке нет другого названия, кроме пошлости, ограниченности, тупоумия! Это склонность до того покатаая, что, кажется, было бы всего благоразумнее, если бы каждому индивидууму и каждому народу предоставлено было оставаться тем, чем он есть. Глупый да пребудет глупым, дальнзоркий и проницательный пусть остается дальнзорким и проницательным. Не примерами, вроде синицы, собирающейся зажечь море, следует встречать политическую и общественную самоотверженность, а сознанием, что без этой самоотверженности история, быть может, остановила бы свое движение.

И представьте себе, читатель: несмотря на то что честь разработки вопроса об отношениях мелкого жульничества к патриотизму принадлежит шаумбургцам и детмольдцам, все-таки сдается, что популяризация и утверждение даже этой простой идеи будет принадлежать не им, а все тем же «дум-копфам», над которыми весь Саксен-Мейнинген в настоящее время во все горло хохочет. Мейнингенец до того скромнен, что даже крошечную идею выработывает исключительно для собственного употребления. Напротив того, «думкопф» нахален (недаром немецкие публицисты так настойчиво упоминают о галльском петухе) и, в качестве наглеца, даже великие идеи бросает на съедение нищих духом: пускай, дескать, и они, под сению этих

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) идей, наслаждаются хорошими почтмейстерами и познают употребление почтовых марок. Что же ему будет стоить поделиться с миром такой маленькою идейкой, как несовместимость карманных воров с патриотизмом? Конечно, ровно ничего, и мекленбуржцы могут оставаться на этот счет совершенно спокойны: при содействии галльского петуха эта идейка не только не замрет среди их, но получит еще большее развитие, благодаря элементу сознательности, который проникнет в нее. Галльский петух сумеет поставить принцип на принадлежащую ему высоту, сумеет выставить паразитство к позорному столбу, сумеет наконец указать подлинные пределы паразитства, не ограничиваясь одним сословием коллежских регистраторов, и разоблачить даже те его признаки, которые может наметить лишь зоркий и вполне опытный глаз. Вот тогда-то поймут зигмарингенцы, что паразитами называются не только те, кои не доставляют писем по адресу или засылают их в Кяхту вместо Вятки, но и те, которые скрадывают в свою пользу политическую и общественную свободу под предлогом ее бессодержательности, и те, которые все обещают в минуту опасности и все отбирают в момент торжества.

Все это так; все это, наверное, так и сбудется. Наступит минута, когда мейнингенцы, даже на поприще ретур-билетов, не будут считать себя передовою нацией относительно Франции. Но каким образом могло случиться, что Франция, по инициативе которой, на наших глазах, произошло возрождение целой Европы, пропустила между рук такой простой, но вместе с тем и необходимый вопрос, как вопрос о недопущении паразитов к участию в управлении почт и телеграфов? Каким образом случилось, что проходимцы самые несомненные, общеизвестные и всесветные целое двадцатилетие стояли во главе ее?

Кажется, это произошло оттого, что всякое проходимство является на сцену не иначе как в блеске, свойственном бесстыжеству. Бесстыжество отуманивает; оно на весь мир смотрит в упор и при этом лжет, хвастает, обманывает в глаза. При виде этой беззаветной наглости мнится, что за нею стоит что-то несокрушимое, что у нее есть какая-то роль в истории. Но, кроме того, бесстыжество обладает еще одним качеством: где бы оно ни появилось, около него сейчас же группируется плотная масса негодяев. Все праздное, буйное, все обуреваемое страстью легкой наживы, живущее хищничеством и набегами, – все с непреодолимою силой влечется к бесстыжеству, устроивается под сению его и в свою очередь образует оплот. На глазах у всех формируется бесшабашное скопище, и формируется тем легче, что ему не нужно никаких пособий, кроме навыка и быстроты. Быстрота, оказывающая губительное влияние во всех других человеческих предприятиях, составляет единственный операционный базис в делах жульничества. Замыслите благодетельствовать человечество – вы в самой вашей совести встретите тысячи преткновений. Она представит целые тьмы сомнений, заставит шаг за шагом следить за вашим предприятием, обдумывать каждую подробность, обеспечивать от возможности ошибок. Задумайте ограбить, зарезать, перервать горло – нет ничего легче. Будьте лишь настолько быстры в действиях, чтобы предупредить возможность сопротивления со стороны облюбованной жертвы. Застать врасплох, удивить неожиданностью – вот что требуется. Покуда человек протирает глаза, можно переменить всю его обстановку и даже его самого поставить вверх ногами. А этого-то результата только и домогается бесстыжество.

Галльский петух не один раз пытался оградить себя от подобных сюрпризов, не один раз смотрел бесстыжеству в глаза, но решительного успеха все-таки не имел. Безусловно ли он виновен в этой неуспешности, или же есть для его вины какое-нибудь оправдание? – на это все детмольдцы в один голос отвечают: да, виновен, и не хотят даже прибавить: но по обстоятельствам заслуживает снисхождения. За что, однако ж, такой строгий приговор? за то ли, что галльский петух недостаточно рисковал своими судьбами, недостаточно предстательствовал перед небом за них, детмольдцев? за то ли, что он подарил зигмарингенцам только ту долю свободы, которая достаточна для изобретения почтовых марок, но недостаточна для того, чтоб обладающие ею сознавали себя вполне людьми? – нет, не за это сердит мейнингенец. Он сердит за то, что галльский петух все еще не может сказать «довольно», тогда как все шамбургцы и нассаусцы давным-давно опочили от трудов и сколачивают копейка по копейке свое благополучие. «Посмотрите, – говорит мейнингенец, – какие эти пошлые думкопфы! десятки лет волнуются, шумят и гремят на весь мир, а следующие десятки лет выносят постыднейшее иго из всех иг!» И забывает притом, что и он сам, и вся Европа трепетали при одном напоминании об этом иге, хотя ни на него, ни на Европу не могли непосредственно действовать ни кастеты, ни сорти-де-баль наполеоновских годовых.



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) Как бы то ни было, но несомненно, что идея о несовместимости паразитства и патриотизма, благодаря французской популяризации, в самом ближайшем времени найдет себе место в ряду афоризмов, наиболее усвоенных общественной совестью. Как скоро Франция убедится – убедится и мир.

Но все-таки сдается, что Франция убедится по-своему, а не на манер гогенцоллернских обывателей. Несмотря на горечь постигшего ее бедствия (есть ли бедствие горше того, как чувствовать себя раздавленным пятою лихтенштейнца?), она не сумеет «предпочесть некоторую узость взглядов ширине их». Это ее органический порок, порок очень капитальный, но которому она фаталистически должна подчиниться.

В последние двадцать лет французы действовали совершенно по-мекленбургски. Они были уверены, что спокойствие их обеспечено, и, кажется, имели даже больше оснований, нежели, например, ганноверцы или франкфуртцы, думать, что никто не потревожит их. Хотя почты их действовали не так исправно, как по ту сторону Рейна, тем не менее так как они не были лишены права жалобы на неисправность почтальонов, то право это до известной степени смягчало горечь негодующих сердец. Конечно, они знали, что некоторым из их граждан было не без неприятностей, но их заверили, что неприятности эти, в форме административных ссылок в Ламбессу и Кайенну, касаются только людей беспокойных, то есть тех самых, которые страдали «шириною идей». «Будьте гессенцами, – твердили им на каждом шагу, – и вы убедитесь, что все пойдет как по маслу!» И они вняли уверениям и сделали гессенцами. И вот, в ту самую минуту, когда они чуть-чуть не изобрели каких-то совершенно неотразимых почтовых марок, вдруг грянул гром. Оказалось, что эти призывы к мекленбургскому спокойствию исходили из стана паразитов, для которых затишье было необходимо, чтоб под сенью общего безмолвия упитывать свои тела. Оказалось, что эти паразиты были не только хищниками, но и глупыми людьми, которых способно было заставить врасплох всякое обстоятельство, не имеющее ближайшего отношения к процессу питания.

А ведь и они, конечно, не пропускали случая, чтоб называть себя патриотами, и они до надрыва кричали: «Vive la France!» [30] – и в то же время систематически ослабляли Францию, обезоруживали ее и делали неспособной для какой бы то ни было защиты. И вот теперь, в минуту расчета, оказывается, что они были не патриотами, а только паразитами, и что идея, согревающая патриотизм, и идея, дающая жизнь паразитству, совершенно различны и несколько друг на друга не похожи.

Идея, согревающая патриотизм – это идея общего блага. Какими бы тесными пределами мы ни ограничивали действие этой идеи (хотя бы даже пространством княжества Монако), все-таки это единственное звено, которое приобщает нас к известной среде и заставляет нас радоваться такими радостями и страдать такими страданиями, которые во многих случаях могут затрогивать нас лишь самым отдаленным образом. Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве.

Напротив того, идея, согревающая паразитство, есть идея, вращающаяся исключительно около несытого брюха. Паразит настолько подавлен инстинктами личного эгоизма, что не может сознать себя в связи ни с какою средою, ни с каким преданием, ни с каким порядком явлений. Хотя же и случается, что он предпочитает одну территорию другой и начинает называть ее отечеством, но это не отечество, а только оседлость. Воспитательное значение паразитства громадно: в этой школе вор мелкий развивается в вора всесветного.

До сих пор произвольное деление жизни на две половины мешало сознать это различие, но практика взяла на себя труд обозначить его с определительностью почти осязательною. Отныне нет больше сомнений. Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.

Другой вопрос, разрешением которого угрожает разыгрывающаяся под стенами Парижа драма, – это вопрос об отношении к идее патриотизма людей необразованных и неразвитых.

Доселе существовало мнение, что, чем менее развит человек, тем больше он способен быть патриотом. Каждый начальник, хотя бы и лыком шитый, неизменно

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) выражался так:

– Не люблю я этих умников, которые на бобах разводят, а дела не делают!

Теория эта по прямой линии исходила из теории бессознательности и врожденности. Последняя *implicite*[31] предполагала, что всякий вновь родившийся человек есть уже патриот, а так как новорожденный не грубит, не возражает, а только портит пеленки, то и казалось, что выше этого патриотизма не может существовать.

Кроме того, существовало еще и другое соображение. Смешивали патриотизм с исполнением начальственных предписаний, и так как последние не всегда и не для всех вразумительны, то приходили к заключению, что вразумительность может быть с успехом заменена дисциплиной. Но понятия о дисциплине разнообразны до крайности. Есть дисциплина свободная, которую устанавливают свободные люди, по взаимному соглашению, в видах достижения условленных целей, и есть дисциплина несвободная, которую устанавливает, например, В и делает ее обязательной для Z, находящегося в совершенном неведении насчет целей, для которых учреждена дисциплина. До сих пор самую благонадежную признавалась именно эта последняя форма дисциплины. Она устраняла разговоры. А так как развитый человек не может минуты прожить без разговора и сверх того раздражается всякою таинственностью, то из этого естественно вытекало заключение, что выносить дисциплину, а следовательно, и быть совершенно надежным патриотом может только человек совсем невежественный.

Исполнитель глупый, но буквально напирющий или неукоснительно отстающий, считался идеалом исполнителя (патриота). Все стремились куда глаза глядят, и было великой заслугой не знать, куда стремишься. Подобного рода идеал мог быть подорван только таким положением вещей, в котором потребность рассуждать являлась бы неотразимой. В так называемой последовательности явлений минуты полной сознательности приходят чрезвычайно медленно, и издали может казаться, что в массах таится неистощимый источник всевозможных дисциплин. Но вдруг оказывается, что рассуждать необходимо, что предстоит одно из двух: или рассуждать, или пропасть...

Одна из таких истинно замечательных в истории человечества минут наступила теперь.

Невозможно сказать уверительно, до какой степени основательны восторги публицистов, повествующие о немцах-пастухах, читающих в подлиннике Еврипида, и о немцах-офицерах, пишущих с театра войны родным грамотки на санскритском языке, но нельзя не согласиться, что человек развитой уже потому является лучшим патриотом, что, обладая идеею общего блага и знанием элементов, его составляющих, может целесообразнее действовать в пользу торжества своей идеи.

Во-первых, только человек развитой способен обладать представлением об общем строе явлений и об отношениях, между ними существующих; невежественный же человек сознает лишь явления ближайшие, касающиеся его собственной личности или личностей тех людей, которые связаны с ним узами крови и непрерывными столкновениями на одном и том же поле интересов. Так называемый *patriotisme du clocher*[32] гораздо сильнее действует в невежественном человеке, нежели в развитом, и по временам ограничивается районами почти микроскопическими. У нас, например, в некоторых местностях соседние селения аккуратно выходят друг на друга с дреколем в руках по самым ничтожным поводам и бьются в кровь до тех пор, пока голос капитан-исправника не вразумит враждующих, что все они дети одного отечества. Курский мужик наверное ничего не знает об Орловской губернии; орловский мужик не имеет никаких сведений о Курской губернии. Они не понимают, зачем им нужны эти «другие» губернии, и, следовательно, еще меньше могут интересоваться вопросом об окраинах. Им известно, что до них не только из Калиша, но и из Воронежа, «как до звезды небесной, далеко». Если курскому мужику говорят: «поляк бунтует», или «немец блудит», то в этих словах ему сказывается не вопрос о целостности или величии отечества, а вопрос о рекрутчине. Будет рекрутчина – стало быть, будет надобность идти неведомо куда. Куда идти? – он даже и этого не может определить, потому что, говоря по совести, и развитому человеку определить это не всегда бывает легко. Бунтуют поляки, а его ушлют задавать страх уездному городу Соликамску. Соликамск, Лодейное Поле, Бендеры, Верхнеудинск, Свенцяны, Белебей, Таммерфорс, Лодзь, Ахалцых, Ахалкалаки, Вольмар, Корчева – вот сколько неизвестных величин он обязан любить. С нами бог! да он в первый раз в жизни слышит про эти имена! Он знает только город Щигры; он слышал, что по соседству с Щиграми существуют еще города Фатех и Короча и что в

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) городе Курске сидит губернатор, который вразумляет бунтующих и только по неизреченному своему милосердию оставляет невинных без взыскания. Все остальное для него миф, а вы хотите, чтоб ради этого мифа он сознательно и самоотверженно жертвовал своей головой и своими в поте лица собранными грошами! Слова нет, что и он может сделаться горячим патриотом и смело полезет в огонь и воду для исправления границ своего отечества, но это случится только тогда, когда его внезапный патриотизм будет неуклонно согреваться дисциплиною. Затем, может ли патриотизм дисциплинированный вполне заменить патриотизм свободный – это еще вопрос, и, кажется, в разрешении этого вопроса и заключается вся сущность дела.

Почти наверное можно сказать, что попытки заменить патриотизм дисциплиною никогда не увенчивались успехом. Происходит это оттого, во-первых, что никакими мерами нельзя вложить душу живую в человека, который может действовать только как автомат, и, во-вторых, оттого, что всякая дисциплина представляет машину, столь сложную, что строгое применение ее непременно увлечет патриотов-руководителей совсем в другую сторону от главных целей. Человек, который не знает, куда он идет, весь, со всеми своими мыслительными способностями, подавлен этою неизвестностью. Он, как самый простой поденщик, может работать со штуки, но, не зная ни значения этой работы, ни ее применений, будет все-таки действовать наугад, а чаще всего не попадет. Сработает он мало, да и эту недостаточную работу, пожалуй, необходимо будет исправлять или начинать сызнова. Но и это еще не все: самое существо дисциплины таково, что требует и непрерывного смотрения, и множества таких действий, которые угрожающим или унижающим своим характером оскорбляют даже неразвитого человека. Устраивается целая корпорация лиц с единственным назначением поддерживать дисциплину, созываются комитеты, члены которых получают прекраснейшее жалованье и производят обмен мыслей, имеющий в виду ту же цель. Форма вытесняет сущность, призрак приобретает плоть и кровь.

Совсем иные черты представляет дисциплина свободная, которою добровольно связывает себя человек развитой. В его глазах отечество не просто бессвязный агрегат селений, городов, сословий и т. д., а цельный и живой организм, в котором каждая пядь территории защищает и питает следующую пядь. Если он успел доказать себе, что развитие страны находится на ложной дороге, то он не обязывается идти с ним об руку и не лишается через то наименования патриота. Бывают минуты, когда борьба против ложного общественного настроения считается признаком высшего и безукоризнейшего патриотизма, хотя, конечно, бывают и иные минуты, когда развитой человек подчиняет свой высший патриотизм патриотизму необходимости и добровольно связывает себя дисциплиною. Как ни тяжел этот подвиг подчинения, но так как он предпринимается сознательно, то нет надобности ни следить за каждым шагом этого человека, ни входить с ним в многословные объяснения. Он ответствен не перед шпицрутеном, а перед судом своей собственной совести. Сообразите же, насколько удобнее, проще и достойнее подобная дисциплина, и подведите итог капиталам и силам, которые страна приобретает оттого только, что в идею патриотизма будет введен элемент сознательности и умственной развитости.

Во-вторых, развитой человек и в исключительной сфере практических применений имеет возможность действовать с большим успехом, нежели человек невежественный. Предложите ему вопрос о народном образовании – он укажет на лучшие методы обучения; предложите вопрос о земледелии – он укажет на лучшие способы обработки земли. Мнение, утверждающее, что рутинисты суть самые лучшие практики и дельцы, может пользоваться кредитом только в таких странах, в которых нет истинно развитых людей, а существуют лишь люди полуразвитые и круглые невежды, прикрывающие свою невежественность одними внешними формами. Такие люди действительно уступают на поприще практики людям просто невежественным, потому что, не обладая, наравне с последними, никаким реальным знанием, они, сверх того, пользуются еще общественным положением, которое освобождает их от применения даже грубой силы мышц. Но это все-таки нимало не свидетельствует в пользу невежественности, ибо отнюдь не следует упускать из виду, что невежественность обречена всякое дело начинать с начала и только путем долгих и разорительных опытов достигать тощих результатов. Даже в деле избияния людей услуги развитого человека являются гораздо более ценными, нежели услуги человека невежественного. Дайте ружье в руки мужику, ничего не знающему, кроме сохи, – и вы измучитесь в ожидании, пока он убьет хоть одного думкопфа; дайте то же ружье в руки «умнику» – вы не успеете оглянуться, как он уже пристрелил полдюжины думкопфов. Мужик колет зря, не зная, зачем и кого колет; «умник» не только сам колет с рассуждением, но даже может начальству дать недурной по сему предмету совет.

Итак, не может подлежать сомнению, что подлинными патриотами могут считаться только развитые люди; невежды же обязываются любить деревню, село, город, а патриотами могут делаться лишь с помощью дисциплины.

И эту истину пришлось несчастной Франции популяризировать своими боками, и ей же, а не Германии, достанется честь повсеместного ее распространения. До сих пор Франция жила лихорадочною, перемежающеюся жизнью: то освещала мир лучами, то погружала его в тьму. Это происходило, по-видимому, оттого, что действительную политическую и социальную жизнь жил только Париж и другие немногие центры, уровень же развития остального населения был весьма невысок. Теперь Франции предстоит такая задача: привить Париж к остальному национальному организму. И ежели она выполнит эту задачу, то мейнингенцам едва ли удастся еще раз топтать поля ее.

Зигмарингенцам и гессенцам, конечно, очень ловко говорить: мы образованные, а вы думкопфы; наши солдаты Еврипида читают, а ваши и азбуке обучались с грехом пополам. Они забывают, что и возможность наслаждаться Еврипидом все-таки до некоторой степени обеспечивается тою же Францией, то есть Парижем. Представьте себе такое положение: Франция обратилась в Испанию, Париж – в Мадрид. Что тогда будет? – А вот что: придут паразиты, соберут всех гессенцев и при громе пушек объявят: нет вам ни школ, ни университетов, ни Еврипида! живите без наук и литературы, как живут жители уездного города Пудожа!

Для нас, русских, это открытие не новость, хотя нельзя не сознаться, что с полною основательностью мы знаем только одну половину его. Нам известно, конечно, что невежды суть невежды, но здесь и прекращаются наши сведения по этой части. Вопрос о том, можно ли сделать из невежественных людей какое-нибудь употребление, остается открытым. Мы не думали об этом по недостатку элементов для сравнений, по невозможности определить, на что способна умственная развитость. Наше народное образование находится в зачаточном положении, наше высшее образование прогрессирует задним ходом. При таком положении дела весьма естественно, что не может существовать ни верного понятия о сущности вещей, ни твердых и ясных убеждений. Одно убеждение, по-видимому, сложилось прочно – это убеждение, что знание есть рассадник бунтов, но если мы взглянем в дело ближе, то увидим, что даже и это убеждение наносное. Хладные теоретики проповедают эту quasi-истину с чужих слов. Они слышали, что где-то, в тридевятиом царстве, Иван, получив просвещение, чуть было не ограбил Петра, и в ужасе за свои карманы вопиют: вот хваленое просвещение! научили человека грамоте, а он на большую дорогу пошел! Но и у этой теории нет твердого, реального основания, потому что, не обладая самым фактом просвещения, мы не можем даже судить, какая в нем заключается сила: разрушающая или зиждущая.

Такое положение могло бы, впрочем, иметь свои удобства, если отнести к нему откровенно, без предубеждений. Если нет просвещения, то надобно водворить его; если школы до того редки, что всякое известие об открытии нового рассадника первых четырех правил арифметики заставляет открывать удивленные глаза, то надобно устроить так, чтобы подобные известия не удивляли, а казались обыденными. Говорят, что этого трудно достигнуть по недостатку материальных средств; но возражение это в значительной степени утратит свою силу, ежели мы сообразим, сколько употребляется материальных средств на устранение тех недоразумений, которые приводит за собой отсутствие просвещения. В военном отношении просвещение наполовину заменяет шасспо; на поприще гражданских доблестей – оно делает почти ненужными так называемые расходы взимания. Стало быть, поднявши умственный уровень масс, можно, без вреда для воинственных упражнений, уменьшить наполовину комплект ружей и пушек, ибо оставшаяся половина будет палить целесообразнее. Затем можно будет также наполовину сократить армию чиновников, так как последним даже палить не будет предстоять надобности. Сколько получится экономии от этих сокращений, можно судить уже по тому, что если бы, например, уменьшить наполовину только число полицейских управлений (по росписи государственных расходов на этот предмет по всей империи, за исключением Финляндии, исчисляется около шести с половиной миллионов рублей), то получится круглая цифра с лишком в три миллиона рублей. Какую массу людей можно напитать просвещением на эту сумму! А там пойдут еще акцизные надзиратели, чиновники для составления, чиновники для пересоставления, смотрители, председатели и даже чуть-чуть не губернаторы! И всего этого мы лишимся, во всем этом не будем чувствовать надобности, как только нас коснется благодать просвещения! Какая

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) волшебная перспектива! Какая масса денег во всех карманах, какое довольство на всех лицах – и ни тени беспорядка.

Напротив, порядка будет еще больше, потому что пример Германии осязательно доказывает, что непосредственный результат просвещения совсем не бунты, а расположение читать греческих классиков в подлиннике.

Не попробовать ли?

Есть еще и третий вопрос, разрешение которого должно значительно подвинуться вперед вследствие откровений настоящей войны. Это вопрос об отношении к идее патриотизма людей, не принимающих участия в делах своей страны.

Наиболее распространенная из теорий, определяющих отношения отдельного человека к интересам страны, имеет девизом очень простое и краткое изречение – «не твое дело». Все, что ни видится кругом, все очерчено чертой, преступить за которую – значит обнаружить поползновение очень опасного свойства. В громадных перегородах, разделяющих вселенную, мечутся мириады единиц, из которых каждая для каждой составляет заповедную область. Чем меньше связи между людьми, тем меньше столкновений. Тем тише. Тишина внутри и неприступность извне – вот идеал страны сильной и благоденствующей. Под защиту этой тишины и неприступности делается какое-то дело, но делается как-то само собой, как будто над сонмищем разрозненных единиц, присвоивающим себе название обществу, парит совсем независимая сила, живущая собственной жизнью и не ведающая иных условий, кроме тех, которые заключены в ней самой. Это сила, которая устроит и дисциплинирует тишину. С изумительной настойчивостью преследует она свою цель и в конце концов действительно достигает того, что девиз «не твое дело» не только становится внешним правилом, определяющим человеческие действия, но входит в нравы. Задачи администрации упрощаются до бесконечности; наступает минута, когда начинает даже казаться, что нечем управлять; перед глазами волнуется море людей, и хотя эти люди не связаны между собой никакой общей идеей, но все их движения поражают точностью, все приливы и отливы совершаются с правильностью, которой может позавидовать бессознательная правильность стихии. Это чудо достигается дисциплиной.

Этим все сказано. Дисциплина творит тишину, тишина обеспечивает дисциплину. Это замкнутый круг, в который не входит иных элементов, кроме взаимного творчества дисциплины и тишины. Таковы требования теории, и они, без сомнения, достигали бы известных целей, если бы в практических применениях была возможна та же математическая точность, какая предполагается теорией. Но слабая сторона теории «не твое дело» именно в том и заключается, что практические ее применения не только не отвечают ожиданиям теоретиков, но на каждом шагу раскрывают такого рода опасности, к которым может остаться нечувствительным разве слепой и безусловный фанатизм.

Самый грубый практический способ устранения человека от деятельного участия в делах страны, к которому всего охотнее прибегают теоретики тишины, заключается в насильственном обречении массы в жертву невежественности и бедности. По наружности это средство действительно кажется неотразимым, потому что ведь и в самом деле трудно представить себе другую силу, которая могла бы так всецело гарантировать равнодушие к общественным интересам, как гарантируют невежественность и бедность. Но, в сущности, заключение это все-таки не больше, как отвлеченное построение. Начать с того, что даже при систематическом распространении невежества невозможно обезличить человека до такой степени, чтобы он сделался скотом весь, без остатка. Да и не всегда выгодно окончательно обезличить человека, ибо даже в сфере самой грубой исполнительности встречается множество случаев, когда необходимы услуги не скотов, а людей. Затем, идя далее, мы встречаемся еще с одной случайностью, которая тоже не свидетельствует в пользу невежественности, как гарантии общественной тишины. Не подлежит сомнению, что всякий умственный уровень, от высшего до низшего, имеет минуты, когда он выбивается из обычной колеи и предъявляет требования, выходящие из ряда обыкновенных, а потому и не легко предусматриваемые. Очень возможно, что эти уклонения нежелательны, что необходимо всячески их отвращать и отдалять, но так как все-таки факт существует, то было бы непростительным легкомыслием не принимать его в расчет. Спрашивается: в каком случае факт уклонения должен облекаться в формы более мягкие – в том ли, когда он исходит из среды, стоящей на высшем уровне, или в том, когда его создает среда, находящаяся под

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
исключительным давлением непосредственного чувства?

Это вопрос очень серьезный, и от разрешения его бесспорно зависят будущие судьбы теории, имеющей девизом «не твое дело». Что, ежели окажется, что соответствие между равнодушием к общественным интересам и тишиною, которым мы так охотно задаемся, есть только призрачное соответствие? Что, ежели для уничтожения этого призрака достаточно одного случайного движения невежественной массы, – движения тем менее отвратимого, чем больше мы возлагаем упований на невозможность его? Издали нам сдается, что невежественная и обнищавшая толпа занимается только равнодушием, а она между тем требует хлеба и зрелищ. И не справляется при этом ни с положением бюджета, ни с сведениями об урожаях, ибо все это «не ее дело». Непрерывный ряд внешних стеснений ограничил «ее дело» одними требованиями желудка; она приняла это ограничение, но зато ухватилась за оставленную ей сферу тем с большею цепкостью, чем больше сделано урезок и сокращений во всех других сферах ее жизни. Спрашивается: в каких формах она выразит то единственное требование, которое она успела выяснить себе, не выяснив при том никаких средств для удовлетворения?

Другую, менее резкую, но тоже очень решительную форму устранения от участия в общественных делах представляет так называемая административная централизация. Путем более сложным и искусственным она достигает тех же результатов, каких достигает и невежественность, то есть полнейшей безучастности ко всем интересам, кроме интересов желудка. В строгом смысле, централизация даже не может существовать, если рядом с нею не накоплена достаточная сумма невежественности, и пример стран, считающихся высокоцивилизованными, подобно Франции, нимало не опровергает этой истины.

Немыслимо, чтоб человек развитый добровольно отказался от права управлять своими действиями в пользу стороннего лица, потому что подобный отказ был бы равносителен низведению себя на степень низшего организма, а для такой прихоти не имеется никакого разумного объяснения. Существование крепкой централизации в странах цивилизованных ничего не доказывает в ее пользу, а убеждает лишь в том, к каким постыдным результатам может привести неравномерность в распределении благ, которые приносит с собой высокая степень умственного развития. Если центры настолько богаты просвещением, что могут, по справедливости, считать себя стоящими во главе человечества, и ежели и затем политическая и общественная жизнь страны томится под игом обезличивающих ее форм, то это значит, что тут существует глубокий перерыв, которого не может наполнить даже богатое содержание центров. Даже такие существенные выгоды, как, например, народное представительство, утрачивают все значение, благодаря изнуряющему влиянию централизации. Вопросы, разрабатываемые народным представительством, могут получать очень верное разрешение, но для масс это все-таки будут вопросы сторонние, нимало их не затрагивающие. Нет посредствующих живых звеньев, которые служили бы применителями и разъяснителями работы, совершающейся в центрах, – следовательно, не может быть и жизненного ее применения. Вместо этих живых звеньев посредником является армия чиновников, которая действует, конечно, не в смысле прилаживания общих вопросов к требованиям жизни, а совершенно наоборот, в смысле прилаживания жизни к требованиям общих вопросов. Отданная в жертву этим прилаживаниям, масса или загрубевает, или же протестует непрерывным рядом волнений и беспокойств. И таким образом равнодушие, на которое возлагалось так много надежд, не только перестает быть источником тишины, но становится творческою силой, производящею ее нарушения.

Но пусть будет так. Пускай высказанные выше доводы останутся неубедительными для теоретиков тишины во что бы то ни стало. При чем же тут, однако ж, патриотизм? каким образом вяжется он с общественным индифферентизмом? когда он требуется? в каких формах имеет возможность проявлять себя?

В том-то и дело, что тут нет и не может быть никакой связи, потому что нельзя ограничить индифферентизм исключительно одною сферою жизни и остановить его наплыв во все остальные сферы. Нельзя сказать человеку: «вот здесь, в сфере внутренних интересов, ты будешь индифферентен и скуден инициативой, а вот там, в сфере внешней безопасности, ты обязываешься быть пламенным и изобретать все, что нужно на страх врагам». Это невозможно, во-первых, потому, что внутренние интересы всегда ближе касаются человека, и, во-вторых, потому, что дух инициативы не с неба сваливается, а развивается воспитанием и практикою. Нельзя передвигать его из одной сферы в другую, смотря по надобности, особенно из такой сферы, где он встречается применение непрерывное, в такую, где предстоит

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) применять его только, так сказать, в табельные дни. Отсутствие повседневной работы ума мало-помалу доводит способности человека до нуля: с чем же он пойдет на защиту отечества, когда в этой защите встретится надобность? Где он найдет элементы для энтузиазма? Он наг снаружи и наг внутри; он ничего не знает; он игнорирует даже ту «вещь», во имя которой ему приводится расточать энтузиазм.

Но все эти соображения нимало не смущают теоретиков молчания, и причина тому очень простая. В глубине души патриотизм столько же противен им, как и вообще всякое проявление человеческой самодеятельности, и только свидетельство истории (и то в таких примерах, как Иоанна д'Арк, но отнюдь не в таких, как Вильгельм Телль) заставляет их признать в этом явлении некоторые небесполезные свойства. Поэтому выражения патриотизма хотя и допускаются, но при таких условиях, осуществление которых возможно только с помощью теории еще более искусственной, нежели изложенная выше теория повсеместного водворения безмолвия.

И тут бессознательность и врожденность служат исходным пунктом для дальнейших построений. Принятые однажды на веру, они облегчают дело настолько, что независимость патриотизма от практических применений кажется истиною вполне доказанною и неопровержимую. Патриотизм врожден, следовательно, он всегда налицо, следовательно, его можно вызвать на сцену во всякую минуту, когда в нем есть надобность. Вот краткий, но немудрый кодекс, которым руководятся теоретики народного обезличения. Все равно как графин с водкой. Покуда нет в водке надобности, графин стоит в шкапу; как только есть надобность, графин ставится на стол, наливается рюмка или две, а затем водка опять препровождается в шкаф, а рюмки выполаскиваются и вытираются, чтоб не воняли.

Такой взгляд представлял бы несомненные удобства, если б можно было отыскать в человеческом организме такой орган, который исключительно занимался бы пристанодержательством патриотизма. Тогда представлялась бы возможность действовать по усмотрению: нужен патриотизм – приподнял клапан и выпустил пары; не нужен – завернул кран и спи спокойно без патриотизма. Но такого органа до сих пор еще не открыто...

Настоящая война практически доказала, что патриотизм более, нежели всякое другое проявление человеческого духа, находится в зависимости от воспитания и навыка. До сих пор приходилось только догадываться в справедливости этой истины, и притом догадываться по фактам изолированным и недостаточно ясным. Понятно, что и результаты таких догадок были недостаточны. Нас не могло не поражать спокойствие и чувство собственного достоинства, которое приносит с собой, например, англичанин или американец всюду, где бы он ни появился, но мы приписывали эти свойства интимным особенностям расы и успокоивались на этом объяснении. Всякая раса, по принятому нами преданию, снабжена особою этикеткою, на выполнение которой она осуждена самою судьбой. Один народ должен быть от природы воспламенителен и хвастлив, другой – от природы туп и склонен к изобретению почтовых марок, третий – от природы смирен и не склонен ни к каким изобретениям. Но такая замкнутость расовых особенностей слишком противоречит идее человеческого прогресса, чтобы можно было примириться с нею. Только комедия, да и то плохая, может представить отверженную хвастливость, отверженное тупоумие или смиренность, в жизни же все эти качества точно так же подлежат законам разложения, как и всякое другое жизненное явление. Влияние расовых особенностей в известных случаях ослабевает и уступает место влиянию воспитания. Недостаток этого последнего объясняет все проявления дикого фанатизма с одной стороны и презренной приниженности с другой. И хвастливость, и приниженность одинаково свидетельствуют, что человек, обладающий одним из этих качеств, никогда не ощущал себя деятельным членом общества, а следовательно, никогда не мог возвыситься до идеи, что общество, независимо от своей развитости или неразвитости, есть организм настолько сильный, что выдержит всякую правду и с презрением отнесется к хвастливости и приниженности. Если этот субъект имеет способность раздражаться наносною идеей, то тем хуже для него. Это докажет только, что он во всякую минуту способен сделать себе убеждение, свободное от какой бы то ни было внутренней работы. Это паразит гораздо более опасного свойства, нежели даже другой паразит из смиренных, который доводит свое смиренномудрие до того, что охотнее назовет себя курицыным сыном, нежели признает свою национальность. Чтобы достичь этой степени смиренномудрия, нужно очень многое: быть может, нужна даже ненависть. Но, во всяком случае, ни тот, ни другой не могут называть себя патриотами по той простой причине, что ни у того, ни у другого нет органической связи с тем, что они называют своим отечеством, Франция первая сообщила силу достоверности этому факту, доселе имевшему только

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) характер догадки. Она практически доказала, на что была способна централизация конца XVIII столетия и на что она сделалась способною теперь, послужив двадцать лет послушным орудием в руках наезжих людей. В конце концов оказывается, что, как ни противоположно было действие этой силы в том и другом случае, все-таки оно не снимает с нее характера явления противообщественного, которое вредными результатами превосходит даже осадное положение. Осадное положение убивает жизнь общества временно, централизация отравляет самые корни этой жизни. Факты фанатизма и апатии, которые доносятся до нас с театра войны, – все это не что иное, как последствия того стройного административного механизма, которым гордилась Франция и которому удивлялся весь мир. Сегодня сжигают живьем человека и чуть-чуть не вздергивают на виселицу представителя страны за то, что он высказывает свободное мнение, завтра – уходят с арены военных действий толпы гурд-мобилей, объявляя, что им лучше дома, чем на войне. Ясно, что такого рода проявления могут исходить только из такой среды, которая не имеет ясного понятия ни об отечестве, ни о долге и способна подчиняться лишь паническим побуждениям преувеличенного страха и не менее преувеличенных надежд.

Но ежели Франция так неожиданно познала на себе все последствия деморализации, которую влечет за собой искусственное обезличение страны, то нет сомнения, что она вынесет из этого испытания урок, поучительный не только для нее, но для всех соединенных зигмарингенцев и мекленбуржцев. Положение Франции имеет ту выгоду, что ее неудачи слишком ярко бросаются в глаза, чтоб можно было скрыть их и упорствовать на ложном пути, впредь до новых неудач. Несмотря на свое обезличение, это все-таки народ, выработавший Париж, а в нем и ту арену политических и общественных вопросов, на которую один за другим выступают все члены человеческой семьи. Для такого народа устранение причин, породивших неудачи, обязательно, и притом не частное или измороченное, а коренное, немедленное. Мекленбуржцы не понимают этой обязанности; судя по прежним примерам, они думают, что и с неудачами можно жить спокойно, если имеются ретур-билеты, а на почте не вскрывают посылки. Их войска побивают в настоящую минуту думкопфов, и вот они спешат вывести из этого лестные для себя заключения. Мы, дескать, и образованнее, и чиновники у нас честнее, и свободы больше – а все это нам пожаловано! Очевидно, однако ж, что тут упускается из вида, что то положение вещей, которое во Франции было лишь плодом исключительного недоразумения, для многих стран, не столь взыскательных, есть положение хроническое, а для других даже желательное.

Во всяком случае, не может подлежать сомнению, что громадные события, совершающиеся на наших глазах, будут обильны не менее громадными результатами. И галльский петух, наверно, популяризирует эти результаты, и притом не суммарно, а во всей прискорбной их полноте.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

##### ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

В сборник «Признаки времени» входят очерки 1863–1871 гг. В первопечатных журнальных публикациях они появились в такой последовательности:

1. Сенечкин яд. – С, 1863, № 1–2.
2. Русские «гуляющие люди» за границей. – С, 1863, № 5.
3. Завещание моим детям. – С, 1866, № 1.
4. Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя. – ОЗ, 1868, № 1.
5. Проект современного балета. – ОЗ, 1868, № 3.
6. Литературное положение, – ОЗ, 1868, № 8.
7. Легковесные. – ОЗ, 1868, № 9.
8. Наш *savoir vivre*. – ОЗ, 1868, № 11.
9. Хищники, – ОЗ, 1869, № 1.
10. Сила событий, – ОЗ, 1870, № 10.
11. Самодовольная современность. – ОЗ, 1871, № 10.



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

№№ 3, 4, 7 были опубликованы за подписью: Н. Щедрин; №№ 10 и 11 – за подписью: М. М.; остальные – без подписи.

Очерки (или «фельетоны») №№ 6, 8, 9 были напечатаны в «Отеч. записках» под рубрикой «Признаки времени», которая и стала названием сборника. Мысль о новом (после «Нашей общественной жизни») цикле сатирико-публицистических обзоров современной жизни возникла у Салтыкова осенью 1867 г., в связи с переходом «Отеч. записок» в руки Некрасова. 26 ноября 1867 г. Салтыков в письме спрашивал его: «Не хотите ли, чтоб я писал вам что-нибудь, кроме рассказов, периодически...» Поддержанный Некрасовым в этих планах, Салтыков 6 декабря сообщает ему: «За фельетон я примусь немедленно, как только получу от вас достоверное известие, что журнал вам разрешен».

Работа над циклом, названным первоначально «Признаки жизни. Периодические заметки», началась в декабре 1867 г. «размышлениями о легковесных деятелях» (№ 7). [33] Но уже второй по времени создания (и первый появившийся в печати) «фельетон» (№ 6) был опубликован в «Отеч. записках» под окончательным, более конкретным цикловым названием – «Признаки времени. Периодические заметки». По поводу этого названия Салтыков писал впоследствии в статье «Человек, который смеется»: «В нашем журнале печатались и печатаются статьи под названием «Признаки времени», в которых слово «признак» с совершенною ясностью употреблено в смысле, указывающем на известные характеристические черты современности». [34]

Первый, заглавный фельетон цикла (№ 7 списка), в первоначальной редакции имевший подзаголовок «Вместо введения», открывался общей характеристикой натиска реакции, особенно усилившегося в связи с выстрелом Д. В. Каракозова 4 апреля 1866 г. Время ее жестокого «триумфа» не расценивалось Салтыковым, однако, как «исторический провал». Вопреки «безотрадному взгляду» «многих», он утверждал, что живые силы нации, силы демократии и прогресса, «не изгибли», что «история не останавливается», а торжество «крашенных гробов» эфемерно и преходяще.

При такой политической остроте зачина нового цикла его публикация встретила цензурные преграды, что привело к необходимости переработки и отодвинуло печатание «Легковесных» с начала 1868 г. до осени («фельетон» появился в № 9 уже вне рубрики «Признаки времени», с новым подзаголовком «Картины в натуральную величину» [35]). Когда в конце марта 1868 г. Салтыков убедился в невозможности начать печатание цикла с «Легковесных», он решил открыть цикл вторым из задуманных фельетонов (№ 6 списка), посвященным «литературному положению», отношениям общества и литературы в период разгула реакции, и перенес в него в переработанном виде размышления из первой редакции «Легковесных» об исторических перспективах гибели строя «живых могил». Однако цензурные затруднения отодвинули публикацию и этого «фельетона» до № 8 «Отеч. записок». При появлении в журнале «Литературное положение» (как след за тем новая редакция «Легковесных») вызвало раздраженный отклик Ф. М. Толстого, официально наблюдавшего за журналом (см. подробнее в комментариях к названным очеркам).

Цензурные препятствия не только отодвинули последовательное воплощение планов Салтыкова и вынуждали его перерабатывать текст, [36] но и, в конечном итоге, привели к прекращению серии обзоров – «фельетонов». Вслед за публикацией «Легковесных» и «Литературного положения», Салтыков написал специально для цикла лишь еще два «фельетона» – «Наш *savoir vivre*» и «Хищники», – посвященные торжеству «права силы», морали чистогана в пореформенных общественных отношениях (Оз, 1868, № 11, 1869, № 1, с соответствующей нумерацией II, III). На этом цикл как таковой оборвался, а напечатанные очерки (то есть №№ 6, 7, 8, 9 списка) составили основу сборника, изданного вместе с «Письмами о провинции» в январе 1869 г. В этом издании в цикл «Признаки времени» Салтыков включил также очерки, печатавшиеся первоначально вне этой рубрики, но дополняющие весьма существенными чертами картину «общих тонов» пореформенной эпохи: «Завещание моим детям», «Новый Нарцисс, или Влюбленный в себя», «Проект современного балета». По тем же соображениям в «Признаки времени» были введены также переработанные части хроник «Наша общественная жизнь» 1863–1864 гг.: «Сенечкин яд», «Русские «гулящие люди» за границей», «Новогодние размышления», «Картонные копья – картонные речи» (повторено в сб. 1872 г. – см. выше стр. 533; последние два очерка, с более частным полемическим адресом, исключены из изд. 1882, см. их текст в т. 6 наст. изд.).

И после выхода изд. 1869 Салтыков, возможно, не оставлял мысли о продолжении

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) цикла «Признаки времени». На это как будто бы указывает цитированное выше пояснение из статьи «Человек, который смеется», где об очерках «Признаки времени» говорится: «печатались и печатаются». Однако под этой рубрикой больше произведений Салтыкова не появилось, хотя круг проблем, связанных с духовной жизнью общества эпохи реакции, продолжал находиться в центре внимания сатирика. Посвященные их анализу в масштабах общеевропейской истории очерки «Сила событий» и «Самодовольная современность», первоначально напечатанные вне этой серии (ОЗ, 1870, № 10; 1871, № 10), [37] стали естественным теоретическим итогом «картин в натуральную величину», «заметок» и «размышлений» о «признаках времени». Они вводятся автором в изд. 1882 в качестве завершающих «Признаки времени». При подготовке издания Салтыков произвел стилистическую правку очерков и ряд сокращений (см. комментарии к отдельным очеркам).

В настоящем томе «Признаки времени» печатаются по составу и тексту изд. 1882.

Очерки «Признаков времени» обобщают «характеристические черты» политической, идеологической и нравственной жизни России первого пореформенного десятилетия. Это были годы отлива «волны общественного возбуждения», [38] временной стабилизации самодержавно-помещичьей власти, годы нарастания политической реакции в стране. Отмена крепостного права и другие реформы (земская, судебная, а также более частные административные и финансовые) дали некоторый выход развитию производительных сил страны, обеспечили правительству Александра II поддержку либеральных кругов дворянско-буржуазного общества, а ренегатство многих его представителей помогло самодержавию расправиться с революционным движением и постепенно ликвидировать большую часть тех «свобод», которые были вырваны у царизма демократическим натиском конца 50-х – начала 60-х годов. Современная жизненная ситуация, по мысли Салтыкова, давала материал для «сопоставлений <...> поразительных», достойных истинно общественной сатиры. [39]

Атмосфера торжествующей политической реакции воссоздается Салтыковым в первую очередь в собирательном образе новых деятелей правительственной администрации – «легковесных» «героев минуты» с особенным остервенением воюющих теперь против «мысли» (очерк «Легковесные»). В социальной практике привилегированных слоев общества определяющим лик времени выступает безудержное «хищничество» – устремления беззастенчивого грабежа, лишившиеся после реформы всяких патриархальных покровов и местных ограничений. Нормой ходячей нравственности становится «умение жить» («*savoir vivre*»). Как специфическую особенность идейной жизни, литературных отношений нового времени писатель выделяет коррупцию и ренегатство, переход части либеральной журналистики – «охочих птиц» – от мелкого обличительства к открытому восхвалению власти, к участию в травле демократических изданий и писателей. Трагизм положения передовой мысли усугубляется распространением безыдейности, равнодушия, общественного «индифферентизма» в широких слоях образованного общества («Сенечкин яд», «Литературное положение», «Самодовольная современность»). За этим первым планом изображения автор всегда дает почувствовать его «исходную точку». Это трагедия нужды и социального «бессилия» масс, осознаваемая им как последствие векового рабства, «обезличения страны» властью «паразитов» («Хищники», «Сила событий» и др.).

Поэтому определяющим в «тонах современной жизни» становится для Салтыкова живучесть крепостничества. Этот «тон», особенно отчетливо звучащий в полемике с официозными и либеральными апологетами «великих реформ»; объединяет очерки «Признаков времени» с «Письмами о провинции» и «Итогами». Черты крепостничества в «общем строе жизни», родство со старой, крепостнически-бюрократической Россией Давиловых и Дракиных писатель обнаруживает не только в политическом произволе верховной власти, в мыслененавистничестве, но и в крохоборческой деятельности земских «сеятелей» («Новый Нарцисс...»), и в политических притязаниях либеральных Пафнутьевых и Хлестаковых («Завещание моим детям», «Проект современного балета»), и в душах людей, в общественной психологии и морали – в том неписаном «праве силы», которым руководствуется не только «хищничество», но и покорно подчиняющееся ему «бессилие». Свообразие духа и приемов пореформенного крепостничества является в сатирическом освещении Салтыкова отражением новой стадии регресса прогнившего эксплуататорского миропорядка. Этой стадии соответствует старческое водевильно-балетное легкомыслие («Проект современного балета»), растленность нравов и вкусов («бельеленизм», – см. первую ред. «Легковесных» в отд. «Из других редакций»), распад всех идеологических и моральных основ.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) В связи с этим через многие очерки «Признаков времени» проходит образное понятие «торжествующее бесстыжество», мотив «пропал стыд». Постоянное внимание сатирика к этой теме – он посвящает ей в 1869 г. также сказку «Пропала совесть» и впоследствии разовьет ее в «Современной идиллии» – связано с тем, что во взглядах Салтыкова, моралиста-просветителя, с понятием «стыда», как существенной стороны общественного сознания, связывалась одна из возможностей пробуждения протеста, гражданских устремлений в обывательской массе.

Сатирик в очерках гневно обличает аморализм «хищников», и «гулящих людей», презрительно осмеивает ничтожество современных «триумфаторов» – «соломенных голов», и в то же время охвачен горьким, «мизантропическим настроением», в связи с фактом их торжества. Вместе с тем в сборнике «Признаки времени» уже отразилось преодоление в сознании писателя кризиса, вызванного поражением первого демократического натиска на самодержавие (проявлениями кризиса были, в частности, уход Салтыкова из редакции «Совр.», возвращение на государственную службу и отъезд в провинцию в 1865 г.). Опыт последней службы, наряду с уроками жестокой реакции после покушения Каракозова, окончательно убедили писателя в иллюзорности любых паллиативов и обходных путей к облегчению участи народа, любых отступлений от программы коренного демократического преобразования всего общественного строя.

В поисках конкретных путей к демократии и социализму Салтыков обращается в очерках также к новейшему историческому опыту Европы. В частности, он размышляет над процессом утверждения и распада во Франции империи Наполеона III, «цезаристской монархии в особенно гнусной форме», по определению В. И. Ленина. [40]

Исследуя механизм утверждения реакции и пришедшую с ней атмосферу «самодовольной ограниченности», выясняя место реакционных эпох в историческом процессе, Салтыков в преддверии нового подъема освободительного движения приходит к важнейшим для стратегии демократии выводам о вредности «сужения задач» и погружения в мелочи, о губительности идейного компромисса.

Сонмищу «легковесных», «брюхопоклонников», властвующих «паразитов», разоряющих отечество, и либеральному «молчалинству», с его «умеренностью и аккуратностью» идеалов и стремлений, противостоит в очерках Салтыкова мир «высшего и безукоризнейшего патриотизма»: «дети», «мальчишки», подлинно «развитые люди» – революционеры, политическая и общественная самоотверженность которых является истинным двигателем прогресса, даже если она и не увенчалась непосредственным успехом («Сенечкин яд», «Русские «гулящие люди» за границей», «Сила событий», «Самодовольная современность» и другие очерки).

Прозорливость салтыковской оценки исторических заслуг революционной демократии подтверждена историей. В 1911 г. В. И. Ленин писал о шестидесятниках: «Революционеры 61-го года остались одиночками и потерпели, по-видимому, полное поражение. На деле именно они были великими деятелями той эпохи, и, чем дальше мы отходим от нее, тем яснее нам их величие, тем очевиднее мизерность, убожество тогдашних либеральных реформистов». [41]

Прославляя подвиг революционеров, «борющихся с небом», подвиг Чернышевского и коммунаров, Салтыков утверждал в очерках «Признаков времени» мысль (шире она обосновывалась в «Письмах о провинции»), что непременное условие их победы – пробуждение к сознательному историческому деянию, к «действительной политической и социальной жизни» миллионов народных масс. [42]

Сборник «Признаки времени» включает в себя весьма разнородный по жанру материал. Здесь и рецензия-пародия («Проект современного балета»), и художественная сатира, где повествование ведется от лица рассказчика («Завещание моим детям», «Новый Нарцисс...», названный Салтыковым «рассказом»), и публицистический очерк-монолог, в котором развертывается строго логическая система доказательств (например, «Самодовольная современность»).

Однако преобладает в «Признаках времени» своеобразное художественно-публицистическое «исследование» (автор иногда называет его «фельетоном»), в котором логический анализ социально-политических «язв» современности, «морюх поветрий» [43] сочетается с их художественными зарисовками – в характерных диалогах, сценках. Салтыков развивает здесь

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) литературный опыт публицистических хроник «Наша общественная жизнь» (1863–1864), давая, однако, художественно более обобщенную и объемную картину времени. Это прослеживается, в частности, в очерках, явившихся результатом переработки хроник. При переработке часто убирались злободневные пассажи и отдельные выпады, связанные с текущей журнальной полемикой. Благодаря этому те части хроник, в которых рисовалась идейная жизнь, нравственно-психологическое состояние общественных групп в момент начала пореформенной реакции, приобретали новый, укрупненный масштаб обобщения (см., например, «Сенечкин яд» и комментарий к нему).

Еще в «Глуховском» цикле «Сатир в прозе» наметился один из характерных новаторских принципов сатирической типизации Салтыкова: создание не лично-индивидуализированных типов, а обобщенно-групповых, «стадных». Он развит в «Признаках времени». Эпизодическими образами бюрократов новой, пореформенной формации (Феденьки Козелкова, Швахкопфа и др.) лишь на мгновение выхватываются отдельные лица из общей характеризуемой однородной массы «хищников», «легковесных», «брюхопоклонников» и т. п. Для ее «стадной» художественной индивидуализации широко применяются зоологические уподобления («взбесившийся клоп», «прожорливая щука» и пр.) – то зерно, из которого впоследствии вырастут щедринские «Сказки». [44] А творческие принципы преломления политического «положения минуты» в психологии и действиях «стадных типов» вскоре получат классическое воплощение в групповых образах «Господ ташкентцев» и «Дневника провинциала в Петербурге».

Большинство очерков «Признаков времени» обратило на себя внимание цензуры, а часть их имела сложную цензурную историю. В общем отчете Главного управления по делам печати за 1868 г., в течение которого появилось в печати большинство очерков, отмечено, что «статьи» Салтыкова, в ряду других материалов «Отеч. записок», принадлежавших перу Некрасова, Г. Успенского, Елисеева и др., «придавали мрачный колорит содержанию журнала, обнажая печальные стороны нашей исторически сложившейся действительности». [45]

Обвинения в «мрачном колорите» предъявлялись Салтыкову и критикой. Так, В. П. Безобразов на материале «Признаков времени» (а также «Писем о провинции») пытался доказать, что «Отеч. записки» в своем недовольстве существующим смыкаются с «реакционной печатью» и «не имеют никакой политической программы». [46] В этом и подобных выступлениях [47] резко искаженно трактовался отказ Салтыкова от паллиативных мер «исправления» существующих учреждений и вынужденная необходимость для него вуалировать свой демократический и социалистический идеал.

Непонимание идейной глубины сатиры Салтыкова и его новаторских художественных исканий в создании широкоохватной сатирической концепции «времени» характерно и для той части либеральной критики, которая признавала удачными отдельные образы очерков – «легковесных», «хищников» и пр. Автор рецензии на первое издание книги «Признаки времени и Письма о провинции» А. С. Суворин («развязный малый», как назвал его по прочтении рецензии Салтыков в письме к Некрасову от 5 апреля 1869 г.) писал о слабости сатирика там, где «из области образов» он «переходит на почву размышлений». [48]

В полемике с либеральной критикой подлинное идейно-художественное значение очерков Салтыкова стремилась раскрыть демократическая «Искра» в статье «Щедрин и его критики». «В последние <...> пять лет, – писал в ней Скабичевский, имея в виду, таким образом, и «Признаки времени», – талант г. Щедрина развился до размеров, которые трудно было и предвидеть десять лет тому назад: из обличителя злоупотреблений станowych, исправников и судебных заседателей он возвысился до сатирика общественных нравов». «Сатира г. Щедрина, бесспорно, приобретает с каждым днем все большее общественное значение». [49]

Весьма примечательна оценка «Признаков времени» в среде русских революционеров последующих поколений. М. С. Ольминский, перечитывая «Признаки времени» и «Письма о провинции», писал из тюрьмы сестре, Л. С. Александровой, 14 апреля 1897 г.: «Сила и значение его, вся его душа не в смешных местах, а в длинных «скучных» строчках». 27 апреля он восхищенно отзывался об очерке «Самодовольная современность»: «Конечно, смешного в этом очерке ничего нет; он очень важен для понимания основного, руководящего мотива деятельности Щедрина – требования класть в основу жизни широкие идеалы и протест против мелочей жизни. Обрати

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru внимание на то, что он говорит о компромиссе. В другом месте он выражается еще короче: «Люди, деятельность которых основана на уступках, не уважаются». В этих восьми словах весь Щедрин». [50]

#### ЗАВЕЩАНИЕ МОИМ ДЕТЯМ

Впервые – С, 1866, № I, стр. 167–184 (ценз. разр. – 15 янв. и 7 февр.).

Сохранились: 1) Часть наборной рукописи (начало очерка) – копия рукой Е. А. Салтыковой с авторской правкой, обрывающаяся на словах «...откуда восприяли они начало?» (абзац «Вначале земля наша...», стр. 12 наст. тома). 2) Полная корректура текста очерка в гранках С.

Очерк написан, судя по содержанию, не ранее середины января 1865 г. Время окончания работы определяется пометой Некрасова на наборной рукописи: «Совр. № 3, цицера. Набирайте скорее и поместите в эту книжку. Некр.». Так как мартовская книжка «Совр.» прошла цензуру с большим опозданием – 22 марта и 21 апреля, – работа над первоначальной редакцией очерка могла продлиться до апреля месяца 1865 г.

Публикация очерка была отложена, очевидно, по цензурным причинам. И в 1866 г. Некрасов стремился уберечь его от цензурных искажений. 22 января он писал члену Совета Главного управления по делам печати В. Я. Фуксу, жалуясь на плохую подписку на «Совр.»: «...Хотелось бы поместить в 1 № рассказ Салтыкова. Г-н Мартынов <П. А., тоже член Совета Главного управления> нашел, что он может идти; только, очень уж много отметил фраз, требующих исключения или смягчения. Может, быть, вы взглянете снисходительнее. Будьте добры, просмотрите поскорее этот рассказ...» [51]

При сравнении наборной рукописи и корректуры с первопечатной публикацией обнаруживается вмешательство цензуры в текст С. Слова «ну и бунтовщик» были заменены на «ну и попался» (в С) и «ну и шабаш» (в изд. 1869); в настоящем издании восстановлен текст наборной рукописи и корректуры С (стр. 8 наст. тома). Соответственно слово «бунт» было заменено в С на «недовольство»; в изд. 1869 Салтыков восстановил «бунт» (стр. 8 наст. тома). Следы цензурного вмешательства заметны и в рассказе о штаб-офицере (стр. 16–17); в тексте С он именуется – «господин мужественной наружности» и «этот господин», а о службе его, вместо «командовал драгунским полком», сказано; «состоял... (пропускаю: где и чем)»; в изд. 1869 Салтыков восстановил доцензурный текст.

Также восстановлены были Салтыковым в изд. 1869 следующие места, изъятые в тексте С:

В абзаце «Пойдем ли еще далее?» – «увидишь, что знаменитые твои права <...> простая дыра!» (стр. 9 наст. тома; в С: «увидишь, чего стоят знаменитые твои права»).

В абзаце «Не думай, однако же...» – фраза «Я далек <...> для государства отяготительно» (стр. 11 наст. тома).

В абзаце «Когда служитель...» и след. – текст «Когда тебе нужно <...> козлиная борода!» (стр. 12 наст. тома).

Абзац «Оглядываясь кругом себя...» восстановлен в изд. 1869 с прибавлением только одной, последней фразы (стр. 14 наст. тома).

В абзаце «Заговорил ты, Пафнутьев...» – слова «о том, например <...> жемчужное зерно?» (та же стр. наст. тома).

В абзаце «Сейчас наведут это...» – три начальные фразы абзаца и текст «Ты скажешь <...>. Что ж бомбардиры-то наши?» (стр. 19 наст. тома).

В абзаце «Вторым обстоятельством...» – слова «не та дисциплина <...> я так вздумал» (та же стр. наст. тома).

Начиная с абзаца «И после таких-то поступков...» и кончая словами «А прав не было!!» (стр. 20–21 наст. тома). Последний отрывок в настоящем издании печатается с поправками по корректуре С: вместо «брат отца Порфирия, прихода нашего иерея» – «отец Порфирий, прихода нашего иерей», вместо «брат иерея» –

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «иерей» (стр. 20).

Кроме возвращения к доцензурному тексту, в изд. 1869 Салтыковым была проведена стилистическая правка. В изд. 1882 очерк перепечатан без существенных изменений.

Тема очерка «Завещание моим детям» – социально-политическое бессилие и фальшь олигархической и либеральной дворянской оппозиции 60-х годов, разные оттенки которой персонафицированы в групповом образе Пафнутьевых, «заговоривших о правах».

Одним из конкретных поводов к написанию очерка послужила, возможно, история с адресом Московского губернского дворянского собрания Александру II от 11 января 1865 г. После земской реформы 1864 г. лидеры консервативно-помещичьей оппозиции в этом собрании: Н. А. Безобразов (см. о нем в т. 5 наст. изд. по указателю имен), гр. В. П. Орлов-Давыдов и предводитель дворянства Звенигородского уезда Д. Д. Голохвастов – подняли вопрос о необходимости создания в противовес земству, формально считавшемуся всесословным, совещательного «общего собрания выборных людей от земли русской», где главенствующая роль гарантировалась бы дворянству. Об этом и был направлен адрес Александру II, одновременно обнародованный в газете «Весть» (1865, № 4, 14 января). Однако царь адреса не принял, «Весть» была приостановлена на восемь месяцев, а 29 января последовал «высочайший рескрипт» на имя министра внутренних дел П. А. Валуева, в котором Александр II заявил, что право «постепенного совершенствования» государственного устройства «принадлежит исключительно» ему и «неразрывно сопряжено с самодержавною властью». [52]

Салтыков высмеивает в очерке подобные дворянские претензии на особые «права» – привилегии по рождению, воспитанию и образованию и т. п., [53] показывая в то же время эфемерность этих «якобы прав» в условиях произвола абсолютистской власти – «начальства». Здесь также продолжена начатая Салтыковым в статьях 1863–1864 гг. критика выступлений либерально-консервативной публицистики о роли дворянства в «бессословном» земстве, о «сближении сословий».

Единая суть формально разных оппозиционных программ и требований дворянских идеологов обнажается в «Завещании» характерным для сатиры Салтыкова приемом. Они рассматриваются сквозь призму патриархально-помещичьего сознания. Очерк написан в форме моралистических поучений рассказчика-крепостника, выбитого из колеи реформой 1861 г., инвектив его против «затей Пафнутьевых», забывших о сословной солидарности и единомыслии, ссорящихся между собой, но в сущности «своих». Вместе с тем в сентенциях рассказчика, как это обычно у Салтыкова, звучит голос не только этого персонажа, но и самого писателя. Этот голос обличает крепостническую мораль «бабушки Татьяны Юрьевны» как мораль рабской покорности перед властью и неограниченного произвола над низшими, как мораль круговой поруки владельцев живых душ, лицемерную мораль «потихоньку».

Тридцатого апреля 1870 г. Салтыков читал «Завещание» на музыкально-литературном вечере в Артистическом клубе, о чем сообщалось в статье «Арабески общественной жизни» в газете «Новое время» (1870, № 121, 4 мая). Анонимный автор так характеризовал очерк «единственного у нас действительно талантливого сатирика»: «Это философская bouffonnerie, в которой бездна едких парадоксов, шалостей языка, простоты и серьезного современного смеха».

Стр. 7. Не вдруг – то есть постепенно, не революционным путем. Намек на выступления либеральных публицистов, обвинявших революционных демократов в желании перестроить общественный порядок в России «вдруг», «в одну минуту» (см. также стр. 51, 589 в т. 6 наст. изд.).

...говорила покойница все слогом госпожи Кохановской, почему даже лейб-кампанцы и те ее как огня боялись, <...> не молви ты слова, языка твоего наперед не прикусивши. – Высмеиваются стиль и «идеалы» близкой к славянофилам писательницы Н. Кохановской (Н. С. Соханской), о повестях которой Салтыков написал в 1863 г. большую рецензию (т. 5 наст. изд.). Сам образ бабушки – возможно, также пародия на многочисленных «прекрасных бабушек» с их «благородным простым сердцем» из ее произведений (см., например, «Из провинциальной галереи портретов» Кохановской). Видимо, Салтыков рассчитывал и на ассоциацию имени бабушки со старомосковской барыней Татьяной Юрьевной из «Горя от ума» Грибоедова. Лейб-кампанцы – гренадеры роты лейб-гвардии Преображенского полка, получившие это звание от императрицы Елизаветы Петровны за участие в дворцовом перевороте 25 ноября 1741 г.,

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru возведем ее на престол. В сатирическом словаре Салтыкова «лейб-кампанцы» – наиболее невежественные и грубые, уверенные в безнаказанности своих поступков представители дворянской привилегированности и кастовости.

В тридцатых годах строгий всем приказ был: картофель, вместо хлеба, на полях сеять <...>. В 1849 году велено было бочки с водой на домах держать... – В 1835, 1840 и 1842 гг. в связи с неурожаем и голодом правительством делались распоряжения об обязательных посевах картофеля казенными крестьянами и о поощрении «дворян, отличившихся в разведении картофеля» (см.: Н. В. Пономарев. Исторический обзор правительственных мероприятий к развитию сельского хозяйства в России..., СПб. 1888, стр. 98–100), что вызвало в 1841–1843 гг. «картофельные бунты» крестьян. Распоряжение держать на домах бочки с водой было дано в связи с резким увеличением в 1847–1849 гг. числа пожаров в Европейской части России (см.: И. Вильсон. Статистические сведения о пожарах в России, СПб. 1865, стр. 5).

Стр. 9. ...смущаемый врагами внешними – другими подобными тебе Пафнутьевыми... – Намек на заграничные издания дворянско-олигархической и либеральной публицистики – книги и журналы П. В. Долгорукова, брошюры Н. А. Безобразова, А. И. Кошелева, К. Д. Кавелина и др.

Стр. 11. ...по нынешнему состоянию финансов... – Намек на крайнее расстройство финансовой системы России. В опубликованной впервые в 1862 г. государственной росписи доходов и расходов дефицит составил более 1,5 млрд. руб. Проведенные министром финансов М. Х. Рейтерном в 1862–1863 гг. для упрочения валюты меры: размен кредитных билетов на звонкую монету, искусственная поддержка вексельного курса и т. п. – истощили разменный фонд казны, а долги банка и государственного казначейства продолжали возрастать (к 1870 г. они достигли 2,5 млрд. руб. – см.: А. А. Головачев. Десять лет реформ, СПб. 1872, стр. 52).

Стр. 12. Вначале земля наша была пуста <...>. Не было ни общественного здравия, ни общественного благоустройства, <...> откуда все это явилось? – В этом рассуждении пародийно заострены идеи так называемой «государственной школы» в русской исторической науке, которую возглавлял Чичерин и идеи которой разделяли Кавелин; Соловьев и др. «Гос. школа» видела в монархии решающую организующую силу истории, создававшую сверху и общество, и национальный коллектив (Б. Н. Чичерин. Опыты по истории русского права, М. 1858, стр. 376). См. также стр. 599–600 в т. в наст. изд.

«А кто тебе помог сплутовать <...> козлиная борода!» – Из «Ревизора» Гоголя (действ. V, явл. 2).

Стр. 14. Пафнутьев прямо говорит, что он не Пафнутьев <...> и что ему надобно с кем-то покумиться! – Полемический пассаж против призывов либеральной и славянофильской печати 60-х годов к сближению сословий, призывов, часто отличавшихся покаянно-сентиментальным тоном. Подробнее см. на стр. 618 наст. тома.

В одном журнале некоторый птенец <...> печатно высказался: никогда не прощу моей родительнице, <...> что заставляла ребенком сосать грудь свою! – Полемическая стрела в адрес. «Русск. слова» и его публициста В. Зайцева (см. в т. 6 наст. изд. вариант к «Литературным мелочам» на стр. 698).

Стр. 14–15. Каких же еще тебе якобы прав нужно? или ты подлинно захотел тех, которыми пользовался меньший твой брат? – Меньший брат – крестьянин, по фразеологии либеральной публицистики. В годы крестьянской реформы некоторые представители либерального дворянства высказывались за упразднение сословных привилегий. В таком духе был составлен, например, адрес Тверского дворянского собрания Александру II от 2 февраля 1862 г. Салтыков, иронизирует по поводу нестойкости подобных настроений (так, тверское выступление не получило дальнейшего развития и осталось изолированным фактом – см. прим. к стр. 69 в т. 6 наст. изд.).

Стр. 15. Один Пафнутьев говорит: я лыком шит <...>. Другой Пафнутьев повествует: предки мои в крестовых походах не были, а всё тарелки подавали! – Сатирический отклик на основные темы послереформенной дворянской публицистики: самообличения дворянства в корпоративном бессилии и бездеятельности (см., например: А. И. Кошелев. Что такое русское дворянство и чем оно быть должно? – в его книге

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «Какой исход для России из нынешнего ее положения?», Лейпциг, 1862, стр. 54; передовые И. Аксакова в «Дне»; 1862, № 1, 6 января; 1864, № 44, 31 октября; 1865, № 3, 6, 16 января и 6 февраля), рассуждения о служилом происхождении большинства русских дворянских родов и т. п. Возможно, имеются в виду, в частности, и памфлеты кн. П. В. Долгорукова, разоблачавшие многие фальсификации в генеалогиях русской аристократии – «привилегированных рабов», например, «Notice sur les principales familles de la Russie» (Paris, 1843) и «La vérité sur la Russie» (Paris, 1860, русск. изд. – Париж, 1861; см., в частности, стр. 182–183). С иных, демократических позиций ливрейное прошлое российской «аристократической дворни» обличал в эти годы Герцен (см., например, «С точки зрения ливреи и запяток», К, 1863, л. 171, 1 октября. – Герцен, т. XVII, стр. 276–278).

...третий Пафнутьев продолжает: черт ли в том, что я Пафнутьев, коль скоро никаких дел мне решать не предоставлено! – Отклик на выступление московской олигархической оппозиции (см. выше).

...одна доблесть: смирение, но и та досталась как бы исключительно в предел господину Аксакову, который хотя и старается, но успеет... вряд ли! – Возможно, Салтыков иронизирует здесь по поводу восхвалений Аксаковым в «Дне» самодержавия как истинно народной власти и его утверждений о совместимости самодержавия со свободой мысли и слова, что было связано с иллюзорными надеждами Аксакова убедить «свободную власть», что свобода мнений есть ее «надежнейшая опора», ибо «в союзе этих двух свобод заключается обоюдная крепость земли и государства» (передовая «Дня» от 2 октября 1865 г.).

Стр. 16. Ферлакурство – ухаживание (от франц. faire la cour).

Стр. 17...приведете их к одному знаменателю... – Устойчивая эзоповская формула в сатире Салтыкова для обозначения авторитарности самодержавной власти и ее государственного аппарата, подавления в обществе любых свободолюбивых стремлений, насильственного водворения покорности и верноподданнического единомыслия.

Стр. 18–19. Хлобыстовские родня Дракиным, Дракины в свойстве с Расплюевыми, а Расплюевы чуть ли не приходится внучатными самому Гвоздилову. <...> Что ж бомбардиры-то наши? – Эти фамилии с этимологией, характеризующей зубров-крепостников, будут развернуты в групповые сатирические образы в позднейших произведениях Салтыкова – например, в «Дневнике провинциала в Петербурге», «Письмах к тетеньке», «Пестрых письмах». Образ Расплюева из комедии Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского» (1855) получит самостоятельное развитие в «Письмах к тетеньке».

Когда по наиболее вопиющим преступлениям Дракиных представители власти – бомбардиры – возбуждали уголовное преследование, оно, как правило, парализовалось непреодолимой помещичьей круговой порукой

Стр. 20. Идет, это, стриженная <...> и под мышкой книгу-Бокль держит. <...> Встречаю Пафнутьева сына <...> совсем как козел лохматый. – Стриженная и козел лохматый – представители разночинной молодежи 60-х годов, демократические вкусы которой вызвали особенное раздражение как у крепостников, так и у либералов. Книга-Бокль – «История цивилизации в Англии» Г. Бокля (1860–1861). В переводе К. Бестужева-Рюмина она вышла отдельным изданием в Петербурге в 2-х томах (1863–1864) и пользовалась в 60–70-е годы большой популярностью в среде русской демократии. 9 января 1865 г. гр. В. П. Орлов-Давыдов в речи в Московском дворянском собрании, сетуя на «попытки с разных сторон потрясти все нравственные основы», назвал в качестве примера таких «попыток» перевод «книг вроде Бокля, отвергающего всякое участие провидения в человеческих делах» («Весть», 1865, № 4, 14 января).

Топка – попойка.

Стр. 21. Станешь ли ты служительские должности исполнять? – В этих словах и следующем за ними тексте речь идет о дебатах в либеральной прессе (вызванных подготовкой военной и земской реформ) о необходимости введения всеобщей воинской повинности и о равной раскладке земских повинностей на лиц всех сословий. Салтыков вскрывает подоплеку «демократических» поползновений дворянских либералов: обеспечить «направляющую» роль помещиков в только что народившемся



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru местном самоуправлении.

...мелких денег не было <...> крупных денег не было. – См. прим. к стр. 11.

вдруг целая масса людей оказалась ни на что негодною, кроме раскладыванья гранпасьянса. – Речь идет о большинстве помещиков, которое в новых, пореформенных условиях хозяйствования оказалось способным лишь «проедать» свои выкупные свидетельства.

Стр. 22. Личарда – слуга (из русской редакции рукописной повести «Бова-королевич», появившейся в XVII в. и затем получившей распространение в виде лубочной сказки). Здесь – бывший дворовый, а затем вольнонаемный лакей.

Не стерпел... На другой день следствие. – То есть избил слугу. Дела о рукоприкладстве помещиков, оскорблении ими бывших крепостных рассматривались в первые пореформенные годы мировыми посредниками.

Стр. 23...не ропщем, а ждем помилованья. <...> Читал я повесть о многострадальном Иове... – Намек на то, что крепостники не оставляли надежду на реставрацию крепостного права. Содержание библейской «Книги Иова» составляет легенда о праведнике, у которого сначала были отняты стада, рабы, здоровье и которому потом за веру, терпенье и безропотность бог вернул здоровье и умножил богатство.

собрались милые люди вкупе <...> ты, говорит, получи жалованья тысячу рублей <...> и ему тысячу рублей... – Об окладах земцам см. прим. к стр. 30

НОВЫЙ НАРЦИСС, или ВЛЮБЛЕННЫЙ В СЕБЯ  
Впервые – ОЗ, 1868, № 1, стр. 131–146 (вып. в свет 23 янв.).

Сохранился черновой автограф первоначальной редакции очерка, где он озаглавлен: «Новый Нарцисс, или Пагубная страсть к самовосхвалению».

Первоначально очерк предназначался, видимо, для одного из литературных сборников, план которых возник у Некрасова летом 1867 г. [54] Работа над «Новым Нарциссом...» началась в сентябре или октябре: в ноябре очерк уже перерабатывался. «...«Нового Нарцисса» <...> я значительно сократил и переделал, – писал Салтыков Некрасову из Рязани 19 ноября, высылая ему очерк. – Я полагаю, что нет причин, которые могли бы воспрепятствовать печатанию этой статьи, ибо для всех ясно, в чем заключается делаемый мною упрек». Переделка очерка была произведена, возможно, по совету Некрасова, который мог познакомиться с ним во время пребывания Салтыкова в Петербурге еще в октябре 1867 г. В пользу последнего предположения говорит письмо Салтыкова от 6 декабря 1867 г. Беспokoясь о том, получены ли Некрасовым «два рассказа», он пояснял: «Один из них «Новый Нарцисс», вам известный, несколько переделан».

Приводим один из вариантов чернового автографа.

К стр. 39. Кончался очерк в черновом автографе следующим обращением к «Нарциссу» после абзаца «Сторож, свидетель этого противоестественного сходбища, убегает в смятении...»:

Итак, вот порок, который со временем погубит тебя. Так молод и уж без ума от самого себя; так неопытен – и так самоуверен; так косноязычен – и так болтлив; так мало сделал – и так много нахвастал!

Даже теперь, в эту минуту, когда, по-видимому, весь воздух должен еще быть напоен звуками твоего голоса, вокруг тебя уже царствует полное и обидное равнодушие. Вот здесь, на самом этом месте ты еще вчера трещал, заливался, натуживался и хвастал, а нынче никто не помнит о тебе, никто даже не думает о тебе. Ты – «мрак времен», ты – допотопный остаток, ты – диковина, но такая диковина, до которой никому дела нет, по поводу которой всякий говорит себе: поди <?> ты! ведь уродилась же такая диковина!

Это равнодушие, это общее забвение должны предостеречь тебя. Видал ли ты когда-нибудь воробья, как он работает около обглоданной корки, которую не в силах сразу поднять и унести? Он серьезно принимается за свое дело; он то с одной стороны подскочит к лакомой корке, то с другой присоседится к ней; он несколько раз попробует, несколько раз прицелится, и когда уже действительно

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru овладеет предметом своего сластолюбия, то начинает во всю мочь чирикать и трепыхать крылышками. И бывает тогда радость и торжество великое во всем воробьином царстве.

В этом случае воробьиное чириканье вполне законно. Он добросовестно потрудился над своей задачей, он победил обглоданную корку и, стало быть, имеет полное право поведать миру о своей славе. Но этого мало; его торжеству имеют право радоваться и ликовать и прочие воробьи. В победе своего почтенного согражданина и соворобья они приобретают известный признак, известный принцип, в признании которого глубоко заинтересовано все воробьиное царство. От одной обглоданной корки они делают посылку ко всем прочим обглоданным коркам, от одного воробья – ко всем прочим воробьям. Теперь нам хоть целый ворох обглоданных корок подавай, рассуждают они: «Все мигом растащим!» И, основываясь на таком рассуждении, чирикают, трепещут крыльями и устраивают друг другу овации.

Сеятель! сравни теперь твое легкомысленное поведение с повеленьем этого благоразумного воробья! Ты начирикался и натрепыхался прежде, нежели даже приступил к своей корке; ты насулил, налгал и нахвастал прежде, нежели даже сообразил, в чем состоит предмет твоего вожделения. Понятно, что ты изнемог. Имел ли ты право поведать миру о твоей славе... нет, не имел, ибо ничего достославного не совершил. Имели ли право твои соворобьи радоваться твоему торжеству? – нет, не имели, ибо торжества никакого не было.

Отсюда – гробовое молчание; отсюда – забвение. Даже смеха нет, веселого, светлого русского смеха...

Нет! да ты миф! не может быть! не может быть! И это комариное жужжанье, которое дондось остается в ушах, и эти игрушечные отсыревшие хлопущки, негодные даже для потехи детей, и эта бесконечно глупая сказка о белом и черном быке – все это сон, не правда ли? сон?

Сон... да! Но крысы! Ведь научил же их кто-нибудь? Откуда ж'нибудь да переняли они эту скверную манеру сходиться и хвастать? Не своим же умом додумались они до мысли о величии крысиного подвига и о необходимости его прославления... откуда? как? почему... Нет! ты не миф! Крыс-то, крыс-то за что же ты развратил?

В изд. 1869 очерк был перепечатан с незначительными изменениями. При подготовке очерка к изд. 1882 Салтыков несколько сократил и исправил текст, имя Порфирия Петровича заменил на Терентья Силыча (стр. 32 наст. тома.).

Тема очерка – первые шаги земства, введенного реформой 1864 г. Образование нового самоуправления делами местного хозяйства имело целью приспособить самодержавно-полицейский строй России к потребностям капиталистического развития, сохраняя его классовую дворянско-помещичью сущность. Но и эту половинчатую программу правительство проводило в урезанном виде и с таким расчетом, чтобы не дать осуществиться главной мечте либералов об ограничении бюрократического всевластия в пользу «общества» и о подготовке почвы для перехода к буржуазно-конституционному правопорядку.

Сатира в очерке Салтыкова направлена против либеральных иллюзий в земстве и связанных с ними самовосхвалений, которым предавались «сеятели и деятели» новых учреждений. Либеральные земцы с их претензиями на созидание «великого будущего» России и апологетическая по отношению к ним печать уподобляются Нарциссу – герою греческого мифа, влюбившемуся в собственное отражение в воде.

Реалистические обобщения очерка обличали политическое бессилие земства, ограниченность его деятельности хозяйственным крохоборчеством («вопрос о лужении рукойников») и фикцию провозглашенной независимости его от государственной власти («бюрократии») В рассуждениях рассказчика – не лишеного пронизательности старого чиновника – устанавливалась близость, «родство» приемов, навыков, целей земства и бюрократии, автор делал вывод о неспособности земских «сеятелей» изменить бедственное положение «сеемых» – народа. Сатирическая критика земства Салтыковым очень близка будущей ленинской характеристике этого учреждения, «с самого начала» осужденного «быть пятым колесом в телеге русского государственного управления, колесом, допускаемым бюрократией лишь постольку, поскольку ее всевластие не нарушалось». [55]

«Новый Нарцисс...» вызвал многочисленные отзывы в критике, но не нашел в ней

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) верно истолкования. Часть авторов расценила сатиру Салтыкова на земство как недопустимое нападение на «неокрепшее еще учреждение», как «удар по своим», обрадовавший крепостников. Наиболее отчетливо этот взгляд был выражен в «СПб. ведомостях», в обзоре писем с мест в № 80 от 22 марта 1868 г., где говорилось, что «Новый Нарцисс...» «произвел на общество самое неприятное, тяжелое впечатление» и что, с другой стороны, «в одном уездном городе <...> исправник хотел было устроить обед в честь <...> Щедрина». В связи с этим Салтыков писал Некрасову 25 марта: «Отвечать «СПб. вед.» значило бы только раздувать глупейшую историю, которая, несомненно, упадет сама собою. Да и на что отвечать? На каком основании утвердиться? Основание эго есть, но оно нецензурное. В этом-то вся и беда, что мы не можем высказать всей своей мысли». «Косвенный ответ» подобным вздорным истолкованиям «Нарцисса» [56] все же был дан автором в статье «Лит. положение». Однако нападки такого рода на Салтыкова (в связи с «Нарциссом») продолжались и в последующей критике. [57]

Другие критики хотя и положительно оценивали «Нового Нарцисса...», но истолковывали эту сатиру узко, в смысле порицания «слабостей зарождающегося самоуправления» с целью его укрепления, как писал либерал-земец бар. Н. Корф в статье «По поводу карикатуры г. Щедрина на земских деятелей». [58]

Однако демократический «читатель-друг» понимал «нецензурное основание» очерка – мысль о необходимости для России коренных изменений существующего «порядка вещей». В свете этой главной задачи, стоящей на историческом череду страны, земство представлялось Салтыкову «силой комариной».

Групповой образ самовлюбленных болтунов Нарциссов в его, салтыковском политическом наполнении был развит В. И. Лениным в характеристике «мещанских Нарциссов – меньшевиков, эсеров, беспартийных...». [59]

Стр. 25. Целый месяц город в волнении... – Сатирическое изображение ежегодной сессии губернского земского собрания основано на личных наблюдениях Салтыкова в Пензе и Туле, где он служил в 1865–1867 гг. председателем казенных палат и был свидетелем начала деятельности земства. Однако эта картина земского «широковещательного красноречия» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 36) обладала, как всегда у Салтыкова, широтой типического обобщения (ср. свидетельство мемуариста – Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Земство и Московская дума, М. 1934, стр. 30).

Один говорит о полах, другой – о мостах, третий – о «всеобщем и неслыханном распространении пьянства», четвертый – о наидешевейшем способе изготовления нижнего белья <...> в местной больнице... – В упомянутой выше статье «По поводу карикатуры...» бар. Н. Корф неосновательно адресовал эти насмешки над «болтовней о всевозможных вопросах без знания дела» лишь ретроградной части («партии») земства. Толки в помещичьей среде и публицистике о «распространении пьянства» как причине пореформенного оскудения деревни Салтыков осмеял в шестом «Письме о провинции».

Лица так называемого «постороннего ведомства» – чиновники государственных учреждений.

Редактор местных ведомостей... – то есть редактор «Губернских ведомостей», официальной газеты, издававшейся в каждой губернии России.

Стр. 26...«комиссию» <...> предлагали назвать <...> иностранным словом «ревизионная», но <...> вы забываете тысяча восемьсот шестьдесят четвертый год! – вмешивается другая дамочка. <...> Она не чужда «Московских ведомостей». – Намек на кампанию за «чистоту» русского языка, против всяких варваризмов, развернутую «Моск. ведомостями» в шовинистическом угаре 1863–1864 гг., связанном с польским восстанием.

Стр. 29. Какой-нибудь алармист, взирая, как у иного сеятеля пена из уст клубится, готов воскликнуть: «Пожар!» Я же <...> восклицаю: «Плоть от плоти...» – Салтыков обличает бессилие земского либерализма («пена») и высмеивает страхи охранителей и реакционной прессы («алармистов», то есть паникеров – от франц. *alarme*) в связи с имевшими место случаями пререканий между земствами и правительственной администрацией. Так, повелением Александра II от 16 января 1867 г. были временно закрыты петербургские земские учреждения с отрешением их членов от должностей. Поводом послужил доклад губернской управы от 3 января,

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) «порицавший» управление земским хозяйством со стороны губернской администрации, и вызванные этим докладом «неуместные прения» в земском собрании. В. И. Ленин упоминал впоследствии в связи с этим эпизодом (Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 37) о характерной передовой «Северной почты», пытавшейся оправдать «карательную меру» тем, что земцы якобы «непрерывно обнаруживали стремление» «неправильным толкованием законов возбуждать чувства недоверия и неуважения к правительству». Крепостническая газета «Весть» вновь заявила по этому случаю о «возбуждении ненависти между сословиями» в земстве и пророчила разорение «поземельной собственности» (передовые статьи от 25, 27 и 30 января 1867 г. №№ 11, 12, 13).

Стр. 30. ...якобы предстоящей «ликвидации»! – То есть ликвидации при помощи земства правительственно-бюрократического всевластия, во что Салтыков не верил.

Какой вопрос прежде всего занял умы сеятелей? – Вопрос о снабжении друг друга фондами. – Председатели и члены земских управ получали жалованье, назначавшееся земским собранием. Вокруг вопроса о размере этого жалованья шло немало споров, часто своекорыстного характера. Либеральные деятели земства выступали за «достаточное содержание» (путем сборов с населения), чтобы привлечь на службу «компетентных лиц, а не довольствоваться деятельностью богатых помещиков» (СПб. вед., 1868, № 46, 17 февраля, письмо кн. В. И. Васильчикова).

... сходить в карман своего ближнего... – то есть увеличить налоги.

Стр. 31. Вот, наконец, и последний акт драмы. – Далее сатирически изображается заключительное заседание сессии земского собрания, посвященное выборам членов губернской земской управы.

Стр. 32...«смутить веселость их»... – Из стихотворения Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...».

известная «катастрофа»... – отмена крепостного права.

Стр. 34...«воспоминание баталии при Гангеуде». – Торжественные молебствия, салют в 21 залп на военных кораблях и другие церемонии, которыми ежегодно отмечался день первой победы флота Петра I над шведским при мысе Гангеуд (Гангут) 27 июля 1714 г.

Стр. 37. Если древние римляне даже гусям... – В Риме были учреждены праздники в честь тех легендарных гусей, которые своим гоготаньем предупредили жителей города о приближении врагов.

#### ЛЕГКОВЕСНЫЕ

Впервые – 03, 1868, № 9, отд. II, стр. 283–300 (вып. в свет 7 сентября). Под заглавием: «Легковесные. Картины в натуральную величину».

Сохранилась рукопись первоначальной редакции очерка (см. отд. «Из других редакций»).

Первая стадия работы над «фельетоном», как называл «Легковесных» Салтыков (см. ниже), относится к декабрю 1867 – началу января 1868 г. и связана с возникновением в ноябре 1867 г. общего замысла серии фельетонов «Признаки жизни» (см. выше, стр. 535–536).

Первоначально фельетон предназначался для январского номера журнала, но в письме к Некрасову от 20 декабря 1867 г. Салтыков высказал сомнение в возможности успеть к «назначенному» сроку и советовал: «Думаю, что лучше отложить до второй книжки. Содержанием его будут размышления о легковесных деятелях». В письме от 25 декабря он обещал: «К будущей февральской книжке пришлю фельетон непременно». 9 января 1868 г. он уже извещал Некрасова о посылке «фельетона под названием «Признаки жизни» и писал ему: «Есть слабая надежда, что еще поспею. Но, во всяком случае, прошу вас предварительно рассмотреть его». Так как январская книжка опаздывала (вышла в свет 23 числа), Некрасов, получив фельетон, также рассчитывал вначале успеть поместить его в эту книжку. Об этом свидетельствует помета карандашом в правом верхнем углу рукописи: «Отеч. зап. № 1, отд. 2–е». Но какие-то причины, скорее всего цензурного характера, помешали этому намерению, и рукопись, прочитанная Некрасовым (и, вероятно, одним из «домашних цензоров»), была отослана автору для переделки. 27 января, получив рукопись, Салтыков писал

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) ему: «2-я часть фельетона дурно расположена <...> а потому и неудовлетворительна. Сверх того, есть неполноты и неясности; все это я переделываю...» 18 февраля «переделанный фельетон» был отправлен Некрасову с просьбой «поместить его в апрельской книжке». Но публикация фельетона вновь была отложена, что встревожило автора, ибо мешало последовательной реализации замысла серии фельетонов о «признаках времени». В письме от 21 марта 1868 г. он спрашивал Некрасова: «Отчего вы не печатаете фельетон? Оттого ли, что он не хорош, или оттого, что печатать его не время теперь? Скажите, пожалуйста, прямо, ибо это необходимо для моих соображений». Убедившись в цензурном характере затруднений с «переделанными» «легковесными», он перешел к работе над продолжающим их проблематику «фельетоном» «Лит. положение» (см. комментарий к нему и письмо к Некрасову от 25 марта 1868 г.), куда включил часть текста первоначальной редакции «Легковесных» (подробнее см. в комментарии к ней).

При подготовке очерка для изд. 1869 текст его подвергся сокращению, затем он вновь был сокращен при подготовке изд. 1882. Приводим один из вариантов ОЗ, частично совпадающий с вариантом изд. 1869.

К стр. 51, после абзаца «Само собой разумеется...»:

Хорошо: будем подтягивать, поддавать, ежоворукавичничать – но до каких пор и над чем, наконец, мы станем производить наши опыты? и когда же наступит для нас эпоха сеяния, развития и жатвы?

Тщетно вы будете предлагать эти вопросы «легковесным» – они примут их с нетерпением и увидят в них выражение беспокойного утопизма. «Легковесный» – от рождения виртуоз подтягивания и потому в целом мире не может подметить ничего иного, кроме того же подтягивания. Он принял орудие за цель, он позабыл мудрую русскую пословицу: «на кнуте недалеко уедешь» – и помахивает да помахивает себе кнутиком...

Второй абзац приведенного текста был снят Салтыковым при подготовке изд. 1869, первый – при подготовке изд. 1882.

Очерк «Легковесные» посвящен сатирической характеристике новых «героев современного общества», его «триумфаторов», вызванных; к жизни спадом освободительного движения и натиском, реакции во второй половине 60-х годов, – с началом ее открытого похода против «пагубных лжеучений» [60] – революционных и демократических идей. Основные признаки «легковесных» – их, внутренняя пустота и ничтожество, отсутствие идеалов, ненависть к мысли и убеждению, готовность браться за любое дело, «подтянуть» все и вся исключительно во имя «животненных» интересов «куска» и цинических стремлений к карьере. Главное внимание сатирика сосредоточено на «легковесных» в сфере деятельности пореформенной государственной администрации и политики. В типе «легковесного» Салтыков развивает и политически конкретизирует тип «шалуна» из ноябрьской хроники «Наша общественная жизнь» за 1863 г. (т. 6 наст. изд.). Черты политического поведения, обобщенные в «легковесных», получили, затем развитие в «ташкентцах», что было отмечено еще современной критикой, [61] и других салтыковских образах реакционных идеологов, и политиков русской пореформенной действительности.

Политическое содержание очерка «Легковесные» встревожило члена Совета Главного управления по делам печати Ф. М. Толстого, официально наблюдавшего за «Отеч. записками», а неофициально находившегося в деловом контакте с Некрасовым и информировавшего его о возможных цензурных опасностях для журнала. Прочитав сентябрьскую книжку, где были напечатаны «Легковесные» и четвертое и пятое «Письма о провинции», он писал Некрасову около 8–10 сентября 1868 г., что увидел здесь Щедрину «во всеоружии прежней иносказательной и ядовитой своей речи». «Не нужно большой проницательности, чтобы догадаться, что под эпитетом «фразистые каплуны» подразумеваются Виляевы, сошедшие с политической арены <то есть либеральные администраторы, подобные министру внутренних дел П. А. Валуеву, уволенному 9 марта 1868 г. в отставку>, – и, следовательно, «легковесные, фофаны и губернские историографы» суть не что иное, как новейшие административные и политические деятели... Отговориться тем, что тут речь идет о пустозвонах бомонда и всякого рода безвредных шалопах, невозможно – потому, что автор сам называет их «современными властителями наших дум» и приписывает им громадное, неотразимое, так сказать, значение, выражающееся реакционным восклицанием: «поддавай! натягивай! подбирай!» Ведь не излеровские же шалопаи придумали подобный лозунг?» «...желчный сатирик бьет именно на то, чтобы читатели уразумели,

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) что все руководители общественного и государственного строя суть не что иное, как «легковесные и фоганы». Цензор не требовал частных изменений в тексте – «это ни к чему не поведет», – но предупреждал, что «статьи Щедрина-Гурина» будут «заявлены Совету» как свидетельство продолжения революционных традиций «Современника». [62]

На заседании Совета 10 сентября 1868 г. Ф. Толстой действительно заявил, что в девятой книжке «Отеч. записок», и в частности в очерках Салтыкова, он усматривает «отрицание авторитетов <...> и глумление, направленное против лиц, заведывающих администрацией», и предлагал сделать «словесное внушение» редактору. [63] Но в результате возникшего обмена мнений было постановлено лишь «принять к сведению вышеозначенные статьи» (очерки Салтыкова, статью Скабичевского «Русское недомыслие» и поэму Некрасова «Медвежья охота»), «как представляющие признаки» «не вполне одобрительного» направления журнала. [64]

Стр. 40. ...убеждения наши теряют свою призрачность... – Здесь: теряют идейную высоту и перспективность.

Стр. 41. Кусок – чисто утилитарный «идеал» практического, житейского благополучия.

Неизвестное – мир анализа, размышлений, общечеловеческих идеалов.

Каплуны мысли. – См. в т. 4 наст. изд. очерк «Каплуны» (1862) и комментарий к нему.

Эпоха нашего возрождения – период демократического подъема и правительственного либерализма после кризиса Крымской войны.

Стр. 42. Где вы, воспетые некогда мною литераторы-обыватели? – См. в т. 3 наст. изд. очерк 1860 г. «Литераторы-обыватели».

Лансады и курбеты – названия шагов и прыжков лошади в высшей школе верховой езды.

Стр. 44...я видел взбесившегося клопа. – Гротескный образ, примененный для обозначения неистовств, необузданности реакции, – этой «взбесившейся благонамеренности», проникшей в конце 60-х годов во все поры власти и общества.

Стр. 46. ...властителем моих дум был <...> Феденька Кротиков. – Этот сатирический образ молодого администратора послереформенно-либеральной формации, мгновенно приспособляющегося к любым «веяниям» в политике высшей власти, проходит через многие произведения Салтыкова 60-х – начала 70-х годов. В рукописной редакции настоящего очерка он назван Феденькой Козелковым, так же как в очерках «К читателю», «Клевета» из «Сатир в прозе» (т. 3 наст. изд.), в январской хронике «Наша общественная жизнь» 1864 г. (т. 6 наст. изд.), в «Наш *savoir vivre*», «Жищниках» и «Итогах» (наст. том). Как Феденька Кротиков он фигурирует в очерке «Помпадур борьбы, или Проказы будущего» (1873) из цикла «Помпадуры и помпадурши» (т. 8 наст. изд.). В том же цикле действует Митенька Козелков.

Стр. 49. ...по фамилии Швахкопф... – По-немецки значение этой фамилии: слабоумный (Schwachkopf).

Стр. 53. Призовите «легковесного» и велите ему написать курс астрономии на тему: «Пускай астрономы доказывают»... – Выпад против официальной религиозно-идеалистической, авторитарной идеологии, готовой ради охранительных целей пренебречь любыми показаниями науки и разума. Фраза «Пускай астрономы доказывают» восходит к речи белорусского архиепископа Г. Конисского, которой он приветствовал Екатерину II в Мстиславле 19 января 1787 г. Речь начиналась словами: «Пресветлейшая императрица! Оставим астрономам доказывать, что Земля вкруг Солнца обращается: наше Солнце вкруг нас ходит, <...> да мы в благополучии почиваем!» (Георгий Конисский. Собр. соч., изд. 2, ч. 1, СПб. 1861, стр.275).

Стр. 53–54...во время представления «La Belle Héloïse» – как они стонут <...>, как визжат при малейшем неосторожном движении, обнажающем корпус г-жи Девериа! – С 1866 г. на сцене петербургского Михайловского театра в главной роли в оперетте Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» («La Belle Héloïse») с большим успехом выступала французская актриса Огюстина Девериа. Роль Елены она вела с «беззастенчивостью,

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](mailto:saltykov-shchedrin.ru) свойственной чистокровной парижской кокотке», – писали «Отеч. записки» (1868, № 12, отд. II, «Муз. обозрение», стр. 343).

#### ЛИТЕРАТУРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Впервые – ОЗ, 1868, № 8, отд. II, стр. 190–208 (вып. в свет 7 авг.). Напечатано под рубрикой «Признаки времени. Периодические заметки», с подзаголовком: «Литература и общество. – Литература не оправдала доверия. – Высшие интересы. – Цезари и Катоны. – Заключение».

Рукописи и корректуры неизвестны.

Салтыков работал над «фельетоном» о «литературе и обществе» в конце марта – начале апреля 1868 г. В ходе работы замысел его был расширен в связи с новой неудачей в публикации «Легковесных», а также с полемикой, развернувшейся в печати вокруг «Нового Нарцисса...» (см. комментарий к этим очеркам). Об этой связи свидетельствуют письма Салтыкова к Некрасову тех дней. Так, 21 марта он, прося прямого ответа о причинах заминки в печатании «Легковесных», пояснял: «...Это необходимо для моих соображений. Я было собрался другой фельетон писать». А уже 25 марта, очевидно получив такой ответ и запрос Некрасова, как он будет реагировать на клевету «СПб. ведомостей» по поводу «Нового Нарцисса...», Салтыков писал: «В этом-то вся и беда, что мы не можем высказать всей своей мысли. Я намеревался писать о священных отечественных нужниках и каплунах – статья эта могла бы быть косвенным ответом на вздорные нападки по поводу «Нарцисса», но отложил это писание до напечатания первого посланного вам фельетона. Теперь я вижу, что фельетон мой, по обстоятельствам, едва ли может быть напечатан, и на святой [65] пришлю вам другой фельетон, который будет служить ответом СПб. ведомостям». «Первый фельетон» – «Легковесные». «Другой фельетон», несомненно, «Лит. положение»: об этом свидетельствует его текст в ОЗ и изд. 1869, содержащий прямой развернутый отклик на «вздорные нападки» СПб. вед. (см. ниже вариант к стр. 68).

В связи с цензурной неудачей «Легковесных», «Лит. положение» становилось первым очерком цикла, и в него автор счел необходимым хотя бы частично перенести ту общую характеристику «признаков времени», которой открывались первоначально «Легковесные» (см. отд. «Из других редакций»). Однако, по-видимому вновь из-за цензурных затруднений, публикация «Лит. положения» была также отложена.

Затем, при напечатании в № 8 ОЗ, в тексте очерка были сделаны некоторые изменения, вызванные замечаниями негласного советника Некрасова, члена Совета Главного управления по делам печати Ф. М. Толстого. Неофициально просмотрев книжку журнала до выпуска в свет, Толстой нашел «тон» очерка Салтыкова «весьма задорным» и в письме к Некрасову от 4 августа 1868 г. особо выделил фрагмент, воспринятый им, видимо, как прямой намек на деятельность Муравьева (Вешателя) – главного организатора правительственного террора после покушения Д. В. Каракозова 4 апреля 1866 г. на Александра II. «Бестолковая, прожорливая щука, при виде которой брызгают во все стороны резвящиеся вкуче пискари и сцена наполняется клянущимися, отплевывающимися и пр. и пр., не может же быть «Весть» или подобные ей соглядатаи», – писал Толстой Некрасову. Выражая надежду, что его самого не причислят «к разряду крашенных гробов, величающих себя столпами мира», Толстой предупреждал, что «если статья появится без изменений, то есть со щуками и пр., то заявить ее Совету будет необходимо» (ЛН, т. 51/52, стр. 587–588).

Публикатор письма в «Лит. наследстве» К. И. Чуковский высказал предположение, что отсутствие в печатном тексте очерка (см. стр. 70 и 72 наст. изд.) некоторых выражений, которые приводил в своем письме Толстой и против которых возражал (они выделены нами разрядкой), свидетельствует о сделанных по совету Толстого купюрах. Это предположение подтверждается тем, что в фрагменте первой редакции «Легковесных», использованном в «Лит. положении», за словами о «крашенных гробах» также следовали слова «громко величающих себя столпами мира» (см. отд. «Из других редакций», стр. 500), отсутствующие в печатном тексте «Лит. положения». Возможно, именно в связи с предупреждением Толстого фраза о щуке (см. стр. 70 наст. тома) была дополнена в ОЗ после слов «Она идет на вас...» маскирующим истинный адрес выпада пояснением – «из среды самого общества», снятым в изд. 1869.

В изд. 1869 очерк был перепечатан с этими и другими – незначительными – поправками. При подготовке очерка к изд. 1882 Салтыков внес в текст много мелких исправлений и несколько сократил его. Приводим один из вариантов ОЗ,

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) отличающийся от варианта изд. 1869 двумя несущественными разночтениями.

К стр. 68, после абзаца «Теперь понятно...»:

Никто охотнее нас не устроивает всякого рода капищ, в которых удобно лежать на соломе (лавры-то нам, покамест, еще не ко двору) от утомительных подвигов ничегонеделания. Организовавши такое прочное лежание, мы огрызаемся на каждого проходящего и издали кричим ему: «не прикасайся! ибо здесь пахнет». Припомните, читатель, тревогу, которую наделала одна статья, помещенная в начале нынешнего года, в «Отеч. записках» и имевшая в виду подвиги новых сеятелей русской земли. Одна добродетельная газета «СПб. ведомости» решилась даже напечатать, что какой-то исправник, по поводу ее появления, лихо пообедал с приятелями. Вот, мол, до чего может довести бестактное прикосновение к капищам! Но что же делать, милостивые государи! ведь и к исправникам нельзя не быть снисходительными! И они, бедные, не все же мертвые тела поднимают, не все мужицкие прически поправляют, но, по временам, и обедают. Конечно, обедающий исправник – картина довольно поразительная, но, сознаемся откровенно, нам не раз случалось быть очевидцами такого зрелища, и мы выносили его без особенного потрясения. Да и не в исправнике совсем тут дело, а в том капище, которое вы желаете во что бы ни стало возвести па степень всероссийского пантеона и которое никак в пантеоны попасть не может. Вы полагаете, что к этому капищу уже по тому одному не следует прикасаться, что оно новое, неокрепшее, со всех сторон окруженное опасностями. Прекрасно! Но укажите же, ради бога, хоть на одно такое капище, которое бы окрепло и не было окружено опасностями! А между тем, нельзя сказать, чтобы у нас чувствовался недостаток в капищах вообще; напротив, они устроиваются довольно исправно, и периодически, да все-как-то постоят, постоят, да и развалятся сами собою. Не оттого ли это происходит, что прежде, нежели капище dokonчено, мы уже спешим оградить его существование не достоинством потраченного на постройку его материала, а разными детскими надписями, вроде «не прикасайся!».

После всего сказанного выше, полагаем, не представляется даже надобности возвращаться к вопросу, почему участие литературы в деле, касающемся общественной организации, считается излишним и даже вредным. Да просто потому: не прикасайся!

«Фельетон» «Лит. положение» посвящен отношениям между литературой и обществом в период резкого усиления реакции после выстрела Каракозова 4 апреля 1866 г. Оно привело, с одной стороны, к дальнейшему наступлению власти на литературу (об этом прямо говорилось в «программе», предложенной М. Н. Муравьевым Александру II; во исполнение ее были разгромлены «Совр.» и «Русск. слово», арестованы многие передовые литераторы: Благосветлов, Зайцев, Н. и В. Курочкины, Елисеев, В. Слепцов, П. Лавров и др.), а с другой, к дальнейшему разброду, усилению безыдейности в обществе.

Как важнейшие «признаки времени» Салтыков выделяет здесь распространение «общественного индифферентизма» и торжество «брюхопоклонников» – проводников реакционного правительственного курса, поборников идеала растительной жизни, «извозчиков по убеждениям» (сатирический тип «брюхопоклонника» близок к типу «легковесного»).

«Повальное равнодушие», «мыслебоязнь», овладевающие обывательской «толпой» в годы реакции, [66] делают трагичными отношения демократического писателя и читателя: отсутствует главное условие деятельности трибуна-просветителя – «простая понимающая среда», он оказывается «в пустоте». Эта проблема волновала автора на протяжении многих лет вплоть до «Приключения с Крамольниковым» и очерка «Имярек» из «Мелочей жизни», она неизбежно выступала на первый план в тот период освободительного движения, когда, по определению В. И. Ленина, «целые десятилетия отделяли посев от жатвы». [67] Драматизм положения литературы в период триумфа «брюхопоклонников» усугубляется процессами резкого политического размежевания в ней самой, размена моральных и идейно-эстетических ценностей на «двугривенные» (ср. январско-февральскую хронику «Наша общественная жизнь» 1863 г. в т. 6 наст. изд. и очерк «Сенечкин яд» в наст. теме).

Салтыков уподобляет мир искусства царству пернатых. Уподобление журнальных противников различным породам птиц – «стрижам», «снегирям» – было обычным приемом в публицистике Салтыкова уже в годы работы в «Совр.» (см. тт. 4, 5, 6 наст. изд.; нити от подобных параллелей тянутся к образам «Сказок» 80-х годов).



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) в «Лит. положении» эти уподобления приобретают более широкий эзоповский смысл. Вся русская либерально-консервативная публицистика 60-х годов – «птицелитературный хор». Поворот самодержавия от курса правительственного либерализма к реакции – конец «скоротечного торжества» литературных пернатых, превращение их в птиц «ощипанных». Ренегаты и литературные охранители, подобные Каткову, П. М. Леонтьеву, Н. Ф. Павлову, В. Д. Скарятину, – «охочие птицы» и начальстволюбивые «зяблики-гимнослагатели». Сатирик прослеживает процесс их превращения в активных идеологических защитников «краеугольных камней» – официальной нравственности, патриотизма, собственности. Эти «основы» в практике господствующих слоев играют роль «узды» для «простого класса», «бульжника» против идеологов демократии (зародыш проблематики «Благонамеренных речей»).

Мысли о современном положении и назначении литературы формулируются в очерке, по-видимому, в скрытой полемике с утверждениями Скабичевского, что эпоха, когда отсутствует в жизни «широкий простор», благоприятна для расцвета литературы и искусства. В то же время Салтыков открыто спорит с либеральной публицистикой, которая отрицала право литературы на активное вмешательство в дело жизнестроительства, на критику новых «неокрепших» учреждений, введенных реформами 60-х годов, в частности, земства (см. комментарий к «Новому Нарциссу...»), а с другой стороны, оправдывала индифферентизм общества бюрократическим характером реформ («старые порядки слишком туго поступаются»).

Для Салтыкова же, даже в обстановке «повального равнодушия» обывателей и засилья «охочих птиц», передовая литература остается великой общественной силой, способной противостоять проповедникам самодовольного успокоения, «нищим духом, исполняющим на время должность мудрецов». Как на пример такого идейного могущества Салтыков постоянно указывает на литературу 40-х годов (то же сопоставление в анализе «литературного положения» характерно для публицистики Герцена). Задача литературы – выработать высокие освободительные и гуманистические идеалы («общую руководящую мысль»), проводить их в общественное сознание, звать к мужественной гражданской активности в «деле организации жизни», активности, единственно способной привести к изменению социально-политического устройства («шапки») по новому росту русского общества («Сеньки»).

В этой неустанной проповеди сатирик-просветитель видит единственное средство преодолеть трагизм изолированности литературы. Финал очерка утверждает грядущее торжество «правды и жизни» – разумного общественного строя, идей демократии и социализма.

С салтыковской оценкой отношений литературы и общества солидаризировался демократический журнал «Неделя» (1868, № 36, 8 сентября, «Новости русской журналистики», без подписи).

Стр. 56. Вспомним <...> и других, которых имена еще так недавно сошли со сцены... – Намек на «властителей дум» поколения 60-х годов Чернышевского и Добролюбова.

Справочные цены – обязательные для руководства при производстве хозяйственных расчетов казенными учреждениями; составлялись городскими и земскими управами и полицейскими управлениями на основе средних рыночных цен.

Стр. 57. Лизета – чудо в белом свете... – Из «Триолета Лизете» Карамзина.

...учреждение губернских правлений... – Административный институт этот, учрежденный в России Екатериной II в 1775 г., просуществовал вплоть до Октябрьской революции.

«Физик голландский» – трубочист.

Стр. 58–59...птицы начинают изрекать человеческие глаголы <...> о, сладкие минуты птичьих надежд! – Салтыков иронизирует над бурной активностью либеральной публицистики в годы подготовки и проведения крестьянской реформы.

Стр. 59. Случая, простого случая достаточно толпе, чтобы по-прежнему занять те позиции, с которых она была временно сбита. – Случай – Очевидно, намек на майские пожары в Петербурге в 1862 г. Они были использованы полицией для распространения слухов о «студентах-поджигателях» (подробнее см. в прим. к стр. 19 в т. 6 наст. изд.). Герцен разоблачал провокационный характер этих слухов,

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru спрашивая в «запросах» от редакции «Колокола», обнаружены ли «зажигатели», а в четвертом запросе прямо говорил, что их «вне полиции не нашли – а в полиции не искали» (К, 1862, л. 149, 1 ноября. – Герцен, т. XVI, стр. 262). В. И. Ленин позднее писал в связи с пожарами 1862 г. о «гнуснейшем эксплуатировании народной темноты для клеветы на революционеров и протестантов» и указывал, что «есть очень веское основание думать, что слухи о студентах-поджигателях распускала полиция» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 29).

Стр. 61. Подвиги благоустройства и благочиния – нападки и доносы в печати на свободомыслящих и оппозиционно настроенных.

...некоторые провинности литературы <...> могут дать пищу свойства несомненно уголовного. – Речь идет о проводимых в завуалированной форме революционно-демократической печати идеях отрицания существующего самодержавно-помещичьего государственного строя, а также о фактах участия литераторов в печатании и распространении революционных прокламаций, в герценовских изданиях, об их поездках в Лондон к редактору «Колокола». Связи с «лондонскими пропагандистами» послужили официальной причиной ареста Чернышевского, Н. Серно-Соловьевича и всего так называемого «дела 32-х», сфабрикованного следственной комиссией А. Ф. Голицына летом 1862 г. Намеки на близость демократической печати к Герцену и его идеям постоянны в русской реакционной прессе, как и обвинения в безверии, анархизме и т. д.

Стр. 62...знаменитое изречение Подколесина: «да, брат, жениться – это не то, что: эй! Иван! снимь сапоги!» – в комедии Гоголя «Женитьба» Подколесин говорит: «А ты думаешь, небось, что женитьба все равно, что «эй, Степан, подай сапоги!» (действ. I, явл. 8).

«Матрос» – водевиль французских драматургов Соважа и Делюрье.

...A tous les coeurs bien nés que la patrie est chère! (Как дорого отечество всякому благородному сердцу!) – цитата из трагедии Вольтера «Танкред» (действ. III, явл. 1). Салтыков запомнил этот стих еще со школьной скамьи и позднее превратил его в своего рода формулу сатирического разоблачения «патриотизма» правящих классов (см. С. Макашин. Салтыков-Щедрин. Биография, т. 1, М. 1951, стр. 106).

...как нельзя более кстати обвинить литературу в пропаганде космополитизма? – См. «Наши космополиты» П. Щербальского (МВ, 1863, № 51, 7 марта) и другие выступления в изданиях Каткова, а также комментарий к очерку «Русские «гулящие люди» за границей».

Стр. 63...обвинение в неуважении к собственности и в распространении пагубного коммунизма. – Обвинения в коммунизме и социализме предъявлялись, в частности, крепостнической газетой «Весть» не только «Совр.», но даже таким изданиям, как либеральные «СПб. ведомости», славянофильские «День», «Москва» (см. передовые статьи «Вести», 1864, №№ 2, 10, 16 от 12 января, 8 марта, 17 апреля; 1868, № 41, 10 апреля).

...эпоха приведения литературы к одному знаменателю <...> и составляет наш золотой век наук и искусств. – Возможно, полемический отклик на статью Скабичевского «Новое время и старые боги», в которой он писал: «В революционные века является поэтов гораздо менее, чем в века сурового деспотизма, которые в истории называются часто золотыми веками литературы». «Тогда все внимание людей сосредоточивается на искусствах...» (ОЗ, 1868, № 1, отд. II, стр. 3).

Стр. 64...теория приведения к одному знаменателю, подкрепляемая <...> теорией ежовых рукавиц, теорией макаров, где-то телят не гоняющх, и ворон, куда-то костей не заносящих... – Эзоповские формулы сатиры Салтыкова, характеризующие цензурную политику самодержавия, «подкрепляемую» политикой административно-полицейских репрессий для литераторов революционно-демократического лагеря.

...в настоящее беспутно-просвещенное и бесцензурное время. – Салтыков пародирует фразеологию либеральной печати, восхвалявшей «наше просвещенное время» – эпоху реформ 60-х годов. По закону о печати 6 апреля 1865 г. периодические издания были освобождены от предупредительной цензуры (до выхода в свет) и подвергались цензуре карательной – арест и уничтожение номера журнала, предостережение, суд, прекращение издания.

Стр. 68–69...цивилизованная толпа не всегда умеет определить физиономию писателя <...>. Тут прежде всего не понимается мысль... – Общие размышления об одиночестве «убежденного писателя» в «цивилизованной толпе» включают также горькие мысли о ложных истолкованиях его, Салтыкова, произведений, в частности, о недостатке пронизательности критики в определении идейной направленности очерка «Новый Нарцисс...» (см. комментарий к нему). Последующие рассуждения о писателе, настигнутом «невзгодой» и легко поддающемся «опале общества», возможно, отражают и нападки со стороны «друзей и недругов», которым подвергся Некрасов весной 1866 г., когда, пытаясь любой ценой спасти «Совр.», выступил со стихами «Осипу Ивановичу Комиссарову» (по официальной версии – спаситель царя от пули Каракозова).

Стр. 69. ...блеск и шум, которыми <...> сопровождаются всякие потоптания <...>. Труба трубит, штандарт скачет, а затем Гарибальди или Франциск въезжает в Неаполь – толпа одинаково зевает... – Труба трубит, штандарт скачет – перефразировка слов почтмейстера Шпекина из «Ревизора» Гоголя: «Музыка играет, штандарт скачет» (действ. I, явл. 2). Армия Гарибальди разгромила войска короля Обеих Сицилий Франциска и вступила в Неаполь 7 сентября 1860 г., восторженно встреченная жителями. Но Салтыков здесь намекает на торжество иного характера – на торжество реакции в России и политическую беспринципность широких кругов образованного «общества», солидаризировавшихся с победителем. Блеск и шум – по-видимому, в частности, намек на шумиху торжественных молебнов, обедов, парадов в обеих столицах и провинции по случаю «чудесного избавления» Александра II от смерти 4 апреля 1866 г., шумиху, происходившую одновременно с массовыми арестами и преследованиями – потоптаниями, подавлениями и поруганиями (см.: Б. Бухштаб. После выстрела Каракозова. – «Каторга и ссылка», 1931, № 5, стр. 53–54). Комментируемый текст перекликается со стихотворной пародией Добролюбова «Свисток» ad se ipsum» («Свисток», № 8. – С, 1862, № 1), где «австрийский поэт» Яков Хам заявлял, что, «воспев Гарибальди, воспел и Франческо». В майской хронике «Наша общественная жизнь» 1863 г. этими строками характеризовались русские «гуляющие люди» (см. стр. 102–103 в т. 6 наст. изд. и прим. к ним).

Стр. 69–70. И что нам Древний Рим с его Сципионами, Цезарями, Катонами? <...> На лоне управы благочиния <...> Катонов, клянущихся гибелью новому Карфагену – литературе, развелось ныне даже более, нежели указывает потребность... – Управа благочиния – полиция; в сатире Салтыкова – это эзоповское определение полицейской сущности всей самодержавной государственной системы. Выпад Салтыкова направлен против высших представителей и проводников реакции из правительственных кругов, таких, как председатель верховной следственной комиссии по делу Каракозова Муравьев (Вешатель), председатель Государственного совета кн. П. П. Гагарин, министр народного просвещения гр. Д. А. Толстой и др. Победам Цезаря и походам Сципиона Африканского писатель саркастически уподобляет «подвиги» «столпов» России в преследовании передовой журналистики и вообще свободомыслия, а речи Катона Старшего в римском сенате времен Пунических войн (они, по преданию, всегда оканчивались призывом: «Карфаген должен быть разрушен») сравнивает с угрозами Муравьева и Гагарина найти «корень зла» в среде «отрицателей и обличителей», с их требованиями защитить от «пагубных лжеучений» «права собственности», «начала общественного порядка и общественной безопасности, <...> государственного единства и прочного благоустройства, начала нравственности и священные истины веры» (см. речь Муравьева на обеде 10 апреля 1866 г. в честь предводителей дворянства и представителей земства Московской губ. – СПб. вед., 1866, № 96, 11 апреля; рескрипт Александра II на имя кн. Гагарина от 13 мая 1866 г., написанный, по мнению Герцена, самим Гагариным, – К., 1866, л. 222, 15 июня. – Герцен, т. XIX, стр. 95–97).

Стр. 70. Местность <...> делается <...> неспособною для произрастания иных злаков, кроме волчцов и крапивы. – Волчец – вид колючей сорной травы; специально выращенные изгороди из нее ограждали посевы. Здесь «волчцы и крапива» – охранительная рептильная пресса, пользовавшаяся субсидиями правительства и цензурным «режимом благоприветствования» в борьбе с передовой печатью.

Стр. 72. ...уже найдены некоторые рамки для более правильного течения жизни <...>. Необходимость ограничивать свои желания желаниями других <...> великая школа, которой суждено в будущем покорить вредную секту брюхопоклонников. – В этих строках, весьма существенных для Салтыкова, заметны следы вынужденной цензуры неясности. Данный текст мог восприниматься как относящийся к тем «рамкам законности», которые прокламировались реформами 60-х годов. Однако нарочитая

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) обобщенность, с какой формулировались мысли о «более правильном течении жизни», «лучшем порядке вещей», позволяла «читателю-другу» понимать их более широко – как выражение веры просветителя в будущее утверждение строя демократии и социализма.

#### СЕНЕЧКИН ЯД

Впервые – С, 1863, № 1–2, в составе январско-февральской хроники «Наша общественная жизнь». Полный текст публикации в С и комментарий см. в т. 6 наст. изд., стр. 7–25 и 566–579.

При переработке январско-февральской хроники в самостоятельный очерк для изд. 1869 Салтыков исключил из текста общее вступление, намечавшее проблематику предпринятых им в «Совр.» с начала 1863 г. публицистических хроник, итоговые абзацы, которыми перебрасывался «мостик» к последующим хроникам, а также те намеки и полемические выпады, которые к концу 60-х годов уже утратили свою актуальность. Были сняты иронические упоминания о «фельетонисте Заочном», Илье Арсеньеве, Гончарове, Лебедкине, отдельные полемические пассажи против писаний Каткова, Чичерина, журнала «Время», часть критических суждений о Тургеневе как авторе романа «Отцы и дети» (см. т. 6 наст. изд., стр. 10–20).

В изд. 1882 очерк был перепечатан с незначительными изменениями.

#### РУССКИЕ «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ» ЗА ГРАНИЦЕЙ

Впервые – С, 1863, № 5, в составе майской хроники «Наша общественная жизнь». Полный текст публикации в С, цензурную историю и постраничные примечания см. в т. 6 наст. изд. стр. 99–111, 596–598 и 601–603.

При переработке майской хроники – ее последней трети, посвященной русским «гулящим людям», – в самостоятельный очерк для изд. 1869 Салтыков устранил из текста отдельные замечания и намеки, утратившие свою злободневность (например, упоминание о стихах «Якова Хама», о Тургеневе как авторе «Отцов и детей», полемический выпад против Н. Ф. Павлова – см. стр. 103, 106–107 в т. 6 наст. изд.), и ввел несколько новых замечаний, придавших более широкий, обобщающий смысл полемике с либералами и славянофилами, пронизывающей очерк. Была также проведена стилистическая правка.

В изд. 1882 очерк был перепечатан с незначительными изменениями.

Настоящий очерк посвящен проблеме патриотизма подлинного и мнимого, разоблачению антипатриотизма правящих сословий России. В момент написания (конец апреля или первая половина мая 1863 г.) и публикации в составе журнальной хроники это был боевой ответ Салтыкова на казенно-патриотическую кампанию в официозной и либеральной прессе по случаю польского восстания 1863 г., на обвинения в космополитизме, предъявлявшиеся охранительной публицистикой демократическим кругам России, русской политической эмиграции (в частности, Герцену) в связи с их защитой свободы Польши. Выдвинутые этой публицистикой по адресу «детей» (революционеров и демократической интеллигенции) обвинения он переадресовывает «отцам» (помещичьему классу и правящей верхушке России). Употребленный И. Аксаковым («Из Парижа», – «День», 1863, №№ 12 и 16, 23 марта и 20 апреля) по отношению ко всем находящимся за границей русским юридический термин допетровской Руси «гулящие люди» (часть населения, не приписанная ни к какому сословию и свободная от повинностей и податей) Салтыков социально уточнил и превратил в устойчивое сатирическое понятие: это «отцы», безнадежно развращенные крепостным правом, не способные ни к какому общественно полезному делу и потому навсегда утратившие кровную связь с родиной. Космополитизму «отцов» Салтыков противопоставляет любовь к родине трудового народа – «русского мужика», и революционный патриотизм «детей», не восхваляющих слепо отечество, а «рационально» объясняющих «все хорошее и дурное в нем» и отдающих жизнь его социальному освобождению.

Глубина истолкования Салтыковым тургеневских образов «отцов» и «детей» в ходе полемики с либеральными и славянофильскими изданиями сделала возможным восприятие «Русских «гулящих людей» за границей», при их включении в изд. 1869 и изд. 1882, и как отповеди памфлетному изображению революционной эмиграции в тургеневском же «Дыме» (1867).

В связи с созданием группового сатирического образа «русского гулящего человека» в очерке высказан взгляд Салтыкова на объект, цель и метод

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) социально-политической сатиры вообще. Смысл этой истинной сатиры – «энергического, беспощадного остроумия», свойственного «великим сатирикам» (в частности, Гоголю), заключается в отрицании «предмета во имя целого строя понятий и представлений, противоположного описываемым». Задача сатирика, «задача величественная», состоит в творческом исследовании наружно «целого, стройного мирозерцания» и выявлении его глубокой внутренней противоречивости («носит на себе человеческий образ, но мысль имеет нечеловеческую»).

НАШ SAVOIR VIVRE

Впервые – ОЗ, 1868, № 11, отд. 11, стр. 175–188 (вып в свет 11 нояб.). Напечатано под рубрикой «Признаки времени. Периодические заметки», с нумерацией «II» и под заглавием «Несколько слов о нашем savoir vivre и о мерах к постепенному распространению его».

Рукописи и корректуры неизвестны.

При подготовке изд. 1869 Салтыков внес в текст очерка несколько поправок и небольших дополнений. В изд. 1882 очерк перепечатан с незначительными изменениями.

«Признак времени», публицистически и сатирически исследуемый в очерке «Наш savoir vivre», – «жажда стяжания», охватившая русское общество в условиях бурного развития отечественного капитализма в первые же послереформенные годы. Характеризуя это время, Никитенко писал в своем дневнике: «Подделка бумаг, подлоги всякого рода, кражи казенных и общественных денег, огромнейшие плутовства по железным дорогам, которыми приобретаются из ничего громадные капиталы, – все это сделалось самыми обыкновенными явлениями наших дней. А между тем эти капиталы только и пользуются уважением общества, почетом, и владельцы их занимают высокие места». [68]

Запечатлевая эти новые «нравственные» нормы и устремления «голового чистогана», Салтыков пока не расценивает их как симптом наступления новой общественной формации. Социально-психологический облик «героя времени» – «развязного дармоеда», вполне освободившегося от всяких нравственных обязательств, является, по мысли писателя, наследием помещичье-паразитического бытия (ср. также «Хищники» в наст. томе и историю Порфиши Велентьева в «Господах ташкентцах» – т. 10 наст. изд.).

Салтыков противопоставляет хищнической морали стяжателей – «умелых людей» – народные представления о нравственности и разъясняет, «почему savoir vivre так мало развит между меньшею братьею»: мошенничество, умение ловко вырвать кусок изо рта ближнего, – это сфера эксплуататорской морали и практики. В то же время в очерке отмечено проникновение стремлений к наживе в крестьянскую среду, намечен эскизно тот процесс образования новых, буржуазных «столпов», который будет развернуто изображен писателем в истории возвышения Дерунова в «Благонамеренных речах» и в ряде других произведений 70–80-х годов.

«Умение жить» и его приемы трактуются Салтыковым широко, как основа не только социально-экономической практики, «умственного и нравственного обихода» господствующих классов, но и политического поведения служащих им «партий» («затеи современных либералов» – «все это один savoir vivre») и деятельности современного эксплуататорского государства, возведшего хищничество, аморализм и беспринципность на уровень государственной политики. Примером такого государства в очерке служит империя Наполеона III (подробнее об отношении Салтыкова к бонапартизму см. в очерке «Сила событий»).

Герцен 7 декабря 1868 г. писал Огареву, что в одиннадцатой книжке «Отеч. записок» (где был напечатан «Наш savoir vivre») нашел «много хорошего» (Герцен, т. XXIX, стр. 519). В России «злой и полный юмора фельетон» Салтыкова встретил одобрительный отзыв Буренина в «СПб. ведомостях» (1868, № 317, 19 ноября).

Стр. 100. Варнавин – глухой уездный город Костромской губернии, на реке Ветлуге; одно из мест, куда высылались из столиц «неблагонадежные» в 60–70-е годы.

...стянул целую железную дорогу... – Речь идет о «железнодорожной горячке», охватившей Россию во второй половине 60-х годов. Законы 1865 и 1868 гг. о порядке выдачи концессий на постройку дорог гарантировали железнодорожным компаниям огромные доходы и предусматривали ряд поощрительных мер, в частности

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) приобретение правительством акций, выпуск облигаций. В железнодорожном грюндерстве и связанных с ним махинациях участвовали не только предприниматели и финансисты, но и земцы, и высшее государственное чиновничество, и столичная аристократия, и царская семья (см.: Б. Н. Чичерин. Воспоминания. Земство и Московская дума, М. 1934, стр. 45–47; И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. 6, М. – Л. 1963, стр. 212).

...Вот человек, который, продавая мне имение, показывал чужой лес за свой собственный! – Салтыков сам оказался жертвой подобного обмана при покупке в конце 1861 г. у помещика Василенина подмосковного имения Витенево (см. «Салтыков в воспоминаниях», стр. 651, и комментарий там же, стр. 693–694, 835).

Стр. 103...что скажет Катков? <...> Разрешил! – «Моск. ведомости» Каткова в 1867–1868 гг. часто печатали статьи о перспективах развития железнодорожного дела, концессиях и т. п. Вероятно, Салтыков намекает здесь и на закулисное влияние Каткова в решениях официальных инстанций о предоставлении акционерным обществам тех или иных льгот или о составе подобных обществ (см.: А. И. Дельви́г. Полвека русской жизни, т. II, М. 1930, стр. 565; Е. М. Феоктистов. За кулисами политики и литературы, М. 1929, стр. 262–263).

...Res nullius cedit primo occupanti (Ничья вещь принадлежит тому, кто первый ее захватит). – Одно из положений римского права.

Стр. 105. «Петушком!» – В явл. 4 действ. I гоголевского «Ревизора» Бобчинский говорит городничему: «Я так: петушком, петушком побегу за дрожками».

...Уметь эскамотировать шары... – подтасовывать в свою пользу голосование (шарами) на выборах (от франц. *escamoter* – незаметно скрыть, подменить).

Стр. 109. ...друг мой, Феденька Козелков! – См. прим. к стр. 46.

...Заманиловка. – Так назвал Чичиков деревню Манилова Маниловку (Гоголь. Мертвые души, т. I, гл. 2).

Стр. 110. ...мужичок-финансист... – Материал для сатирического обобщения его махинаций дали, по-видимому, в числе других «проектов ко всеобщему ободрению», акционерные и иные операции В. А. Кокорева, служившие постоянно предметом насмешек Салтыкова (см. в наст. томе «Русские «гуляющие люди»...» и по указателям имен в предыдущих томах).

...я читал книгу Тено «Paris en Décembre 1851»... – В этой книге французского буржуазного республиканца Э. Тено (Paris, 1868) разоблачались мошенничества и интриги, приведшие Наполеона III к власти. См. также прим. к стр. 391.

Стр. 112...истинно умными людьми называются только люди умелые. Их одних ценят, одними ими дорожат. – В какой мере эти сатирические обобщения восходили к реальному быту времени и среды, показывает, например, следующая запись в дневнике Никитенко от 11 июня 1863 г. о знакомстве с В. А. Кокоревым у М. П. Погодина: «...Кокорев очень умный человек, приобретший огромное состояние. Как он должен смеяться, увидев, например, такого человека, как я, который слывет тоже не дураком и который, однако, целую жизнь свою проводит за учеными пустяками, бесполезными для него самого и для других. Погодин большой приятель Кокорева; но это совсем другой человек. Он с наукою соединил и искусство добывания денег. Одно уже то, что музей свой, стоящий тысяч двадцать, он продал казне за сто пятьдесят тысяч рублей, делает ему величайшую честь. Вот настоящие сильные умы русского государства» (А. В. Никитенко. Дневник, т. 2, л. 1955, стр. 342).

Стр. 114 ...станем добре. – Здесь: станем крепкими, сильными (церковнославянск. и народн.).

...посредством водворения...в известных границах... – Намек на правительственную политику репрессий.

#### ПРОЕКТ СОВРЕМЕННОГО БАЛЕТА

Впервые – ОЗ, 1868, № 3, отд. II, стр. 91–106 (вып. в свет 14 марта), под рубрикой «Петербургские театры», с подзаголовком в скобках: «Золотая рыбка». Балет в трех актах и семи картинах. Соч. Сен-Леона. Сюжет заимствован из сказки Пушкина. Музыка Минкуса».

«Проект совр. балета» – третья редакция статьи, первоначально предназначавшейся для «Совр.». В двух предыдущих редакциях, 1864 и 1866 гг., статья связывалась с «рецензированием» сначала балета «Наяда и рыбак» в постановке А. Сен-Леона, затем – его же «Фиаметты», и в обоих случаях также содержала пародийное балетное либретто «Мнимые враги, или Ври и не опасайся» (подробнее см. т. 5 наст. изд., стр. 199–215, 591–595, и ЛН, т. 67, стр. 401–402).

В третий раз Салтыков обратился к «рецензии» в декабре 1867 г. 20 декабря он писал Некрасову из Рязани: «Балет я непременно окончу и доставлю вам к 1-му числу. Надо было его почти весь переделать». Полной переработке подверглась первая, статейная часть сатиры – общая характеристика современного балета и отзыв о спектакле: теперь предметом сатирического «рецензирования» был избран новый балет, «Золотая рыбка», поставленный в петербургском Большом театре А. Сен-леоном 26 сентября 1867 г. Вторая часть сатиры – пародийное либретто (из которой еще в 1866 г. были изъяты прямые полемические выпады против Ф. Достоевского и его журнала «Эпоха», прекратившегося в 1865 г.) теперь почти не изменяется.

Двадцать пятого декабря 1867 г. неизвестная нам рукопись третьей редакции – «программа балета» – была послана Некрасову с просьбой «сообразить его построже» и держать корректуру лично. При этом Салтыков выражал надежду, что «предпосланное балету предисловие» не будет «противно» адресату. Справляясь 9 января 1868 г. о получении рукописи, Салтыков вновь обращал внимание Некрасова на «предисловие», которое, по его мнению, «вышло довольно удачно», и просил внести изменение в текст второго акта: «Когда Гале предлагают корону, то слова «бумажный колпак» следует заменить словами «балетный колпак». Хотя у меня и не было никакой задней мысли насчет короны вообще, но все-таки лучше, чтобы не было и повода к толкованиям». (В тексте ОЗ – «бумажная корона», в тексте изд. 1869 восстановлено «бумажный колпак»; стр. 119 наст. тома.) 18 февраля 1868 г. в письме к Некрасову предлагается новая правка: «везде, где написано «московские публицисты», «Москов. ведомости», заменить словом «русские публицисты». Такая правка проводилась в ОЗ и изд. 1869 и была продиктована не только цензурными соображениями, но и стремлением придать сатире более обобщающий характер.

При перепечатке в изд. 1869, кроме указанных замен, в тексте очерка были произведены некоторые другие несущественные изменения. В изд. 1882 очерк был перепечатан почти без изменений.

Выбор Салтыковым для сатирического «рецензирования» балетов Сен-Леона не был случайным. Критика 60-х годов не раз отмечала бессодержательность, сюжетную нелепость многочисленных балетов этого предприимчивого либреттиста и постановщика (см. статьи «Конек-горбунок, или Царь-девица» в журн. «Русск. сцена», 1864, № II; «Дебют г-жи Кеммерер» в газ. «Антракт», 1867, № 4, 26 января, и др.).

В балете Сен-Леона «Золотая рыбка» (вскоре снятом со сцены в связи с явным провалом) сарказм сатирика-демократа вызывает прежде всего претензия балетмейстера на «национальность», профанация им трагической народной темы в искусстве изображением «пляшущих поселян». Здесь очерк Салтыкова перекликается со стихотворением Некрасова «Балет» (1866):

Так танцуй же ты «Деву Дуная»,  
Но в покое оставь мужика!

В «Проекте совр. балета» Салтыков углубляет общую резко отрицательную характеристику балетного театра 60-х годов, данную в первых редакциях (см. подробнее на стр. 592–593 в т. 5 наст. изд.). Балетная «галиматья» теперь выступает в сатире Салтыкова концентрированным воплощением всей официально-спиритуалистической идеологии, основанной на «вере в провидение», в чудеса, во всемогущество самодержавного «балетмейстера». Этот нравственно-идеологический комплекс писатель осмеивает с помощью эзоповской формулы «дух долины», в которой обыграно название балета того же Сен-Леона «Сирота Теолinda, или Дух долины» (музыка Ц. Пуни; премьера 6 декабря 1862 г.).

Развивая проблематику неопубликованной статьи 1863 г. «Современные призраки» (т. 6 наст. изд.), Салтыков уподобляет балету всю «систему» – общественно-политический строй России, призрачно-нелепый, «неестественный», противоречащий законам разума. Балетное действие воплощает стиль общественного

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) поведения господствующих классов и правящей верхушки страны: консервативно-деспотические силы режима и общества персонифицированы в партии Давилова, «лганье» и «вранье» либерализма, правительственного и журнально-общественного, – в партии Хлестакова. Единение же и апофеоз Хлестакова-Давилова и Взятки-Постепенной означает торжество политических устремлений «консерваторов»-охранителей и капитуляцию перед ними «постепеновцев»-либералов.

Исторически изжившему себя призрачно-балетному строю и его идеологии Салтыков противопоставляет «новых Галилеев» – русское революционное просветительство, освобождающее общественное сознание от «призраков».

Стр. 115...балет <...> продолжает возглашать: «Vive Henri IV!», в то время как Наполеониды... – В петербургском Большом театре в 60-е годы еще шел балет «Генрих IV, или Награда добродетели» (либретто Г. Вальбаха, музыка разных авторов, премьера – СПб. 1816). Сатирик подчеркивает здесь отгороженность балетного искусства от животрепещущих интересов современности: в эпоху Наполеонидов во Франции (в частности, Наполеона III) он живет еще идеалами времен Генриха IV.

«Пускай астрономы доказывают, что Земля вокруг Солнца обращается»... – См. прим. к стр. 53.

Стр. 116...«пламя любви» есть не более как балетный предрассудок... – Обыгрывается название балета «Фияметта, или Пламя любви», музыка Л. Минкуса, постановка А. Сен-Леона, премьера 13 мая 1864 г. Отклик Салтыкова на него см. во второй редакции наст. очерка (ЛН, т. 67, стр. 401–402).

...География Арсеньева. – Речь идет об учебнике К. И. Арсеньева «Краткая всеобщая география», с 1818 г. на протяжении тридцати лет единственным официально одобренным учебнике географии, выдержавшем двадцать изданий. Салтыкову он был памятен по годам пребывания в Царскосельском лицее и часто служил объектом его насмешек.

...История Смараглова – «Краткое начертание всеобщей истории для первоначальных училищ» (СПб. 1845, 6-е изд. – 1855) С. Н. Смараглова. Как и упомянутые ниже учебники И. К. Кайданова по всеобщей и русской истории (изд. 1814–1833 гг.; см. о них на стр. 362 и 617 в т. 3 наст. изд.), труды Смараглова содержали хронику царей и полководцев, сдобренную казенным патриотизмом.

Стр. 117. Менажировать – щадить (от франц. *ménager*).

...Река Стикс – в древнегреческой мифологии одна из рек подземного царства, обиталище душ умерших, воплощение мрака и ужаса.

Стр. 119... г. де Персиньи (до сих пор не могущий позабыть, что он <...> Fialin) или г. де Лавалетт <...> приняли бы эту сцену на свой счет. – Имена бонапартистских министров В. Фиалена (вначале принял титул виконта, который носили когда-то его предки, титул герцога получил от Луи Бонапарта) и маркиза Ф. де Лавалетта входят здесь в сложное эпопеевое построение, с помощью которого балету уподобляется не только империя Наполеона III, но и монархическая форма правления вообще (ср. очерк «Наш *savoir vivre*» и комментарий к нему). Ироническое замечание в скобках по адресу Персиньи появилось в тексте очерка в изд. 1869.

...министры <...> будут в состоянии и *couronner l'édifice* («увенчать здание» – франц.). – Так Наполеон III высокопарно называл свои реформы. В русских либеральных кругах это выражение употреблялось как синоним «конституции», перспективу которой для России прямо обсуждать не дозволялось.

Стр. 120...Сен-леон <...> непременно заставил бы их говорить по-гречески или по-латыни, все в видах достижения тех же консервативно-мифологических целей. – Намек на развернутую Катковым с 1864 г. кампанию за усиление преподавания древних языков в гимназиях (см. передовые МВ, 1864, №№ 108, 110, 115 от 16, 19, 24 мая. О последовавшей в 1871 г. реформе среднего образования в духе Каткова см. в прим. к стр. 448 наст. тома).

Стр. 121. Я сам питаю несокрушимую веру в «духа долины» и в «дочь фараона»... – «Дух долины» – балет «Сирота Теолинда, или Дух долины» (см. выше). «Дочь фараона» – балет М. Петипа на муз. Ц. Пуни, поставлен 18 января 1862 г. в



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) петербургском Большом театре. Названия этих балетов нарочито подобраны Салтыковым для эзоповского осмеяния религиозного и верноподданнического сознания. Ранее они с той же целью использовались им в «Моск. письмах» и «Совр. призраках» 1863 г. (см. в т. 5 и т. 6 наст. изд.).

...я не ленился, как «раб лукавый»... – Ссылка на евангельскую притчу о рабе, зарывшем в землю «талант» (монету, данную господином), вместо того чтобы приумножить ее своими стараниями (Матф., XXV, 26).

...«Добродушный Гостомysl и варяги» <...> сюжет этот <...> обрабатывается газетой «Москва». – Салтыков иронизирует над апологетическими экскурсами газеты «Москва» в историю Древней Руси. Сам Салтыков в сатирических целях многократно использует в своих произведениях летописное предание о призвании Гостомyslем варягов на Русь, начиная с очерка «Гегемониев» (см. т. 3 наст. изд., стр. 11–12, 559–560) и далее в «Истории одного города», «Убежище Монрепо» и «Современной идиллии».

...Дантист. – Ироническое употребление этого слова в смысле «зубодробитель», «герой зубосокрушающей силы», частое у Салтыкова, восходит к Гоголю («Мертвые души», т. I, гл. 10).

Стр. 124. Пустынное местоположение, отданное в надел крестьянам. – Намек на тяжелое положение, в которое крестьян поставила реформа 1861 г., когда помещики старались забрать себе плодороднейшие земли, расположенные близко к их усадьбам, а крестьянам отводили худшие и дальние.

Стр. 130. Ах, когда же с поля чести... – Начало «рассказа» Собинина в опере Глинки «Жизнь за царя» (акт I, либретто бар. Е. Ф. Розена). Салтыков высмеивает здесь казенно-патриотические излияния официальной прессы, восхвалявшей «подвиги» царских войск при подавлении польского восстания 1863–1864 гг.

...Трапп – люк.

...Тихо всюду! глухо всюду... – Из второй части поэмы А. Мицкевича «Дзяды». Об эзоповском образе «тишины» см. на стр. 577, 661 наст. тома.

Стр. 131. Римский огурец – образ беспардонного лганья из басни Крылова «Лжец».

#### ХИЩНИКИ

Впервые – ОЗ, 1869, № 1, отд. II, стр. 204–219 (вып. в свет 12 янв.). Напечатано под рубрикой «Признаки времени. Периодические размышления», под заглавием «Практические последствия крепостного права. – Учение о хищничестве. – Затруднения в будущем» и с порядковым номером «III».

Рукописи и корректуры неизвестны.

В изд. 1869, вышедшем также в январе, текст «Хищников» несколько сокращен и дополнен. В изд. 1882 очерк перепечатан с незначительными сокращениями и изменениями.

В «Хищниках» Салтыков продолжает и развивает тему очерка «Наш *savoir vivre*» (см. выше). Он сосредоточивает внимание на социально-исторических истоках и «нравственной сущности» послереформенного «хищничества», заполонившего «всю общественную ниву», на отношениях хищничества и его жертв, «силы» и «бессилия».

В связи с этим одна из главнейших тем очерка, связывающая его с магистральным течением всего творчества писателя, – обличением пассивности масс и психологии «неизбежности» подчинения силе, как одного из вреднейших пережитков крепостничества. С этой мыслью связана двусмысленность первой строки очерка, как бы его эпиграфа. В форме, пародирующей зачин классических поэм, Салтыков иронически «поет» «похвалу силе» хищников, но со всей горькой серьезностью заявляет «презрение к слабости» их жертв и так же серьезно хотел бы «петь» похвалу силе народной, силе Ивана. Однако ему приходится констатировать, что самому Ивану (крестьянству) «никогда не разрешить» вопрос, отчего он слаб, а Петр и Павел, его эксплуататоры, «сильны».

Существо современных общественных отношений, где торжествует право силы, звериная мораль взаимопожирания, где новые способы «обдиранья» Ивана по-прежнему дополняются прямым произволом, полицейским принуждением, издевательством над

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) личностью угнетенного, – передано сатириком в емкой формуле: «дарвинизм, только переложенный на русские нравы и прикрытый российским вицмундиром». Выводы Салтыкова – крепостное право «живет в нашем темпераменте, в нашем образе мыслей, в наших обычаях, в наших поступках» (они перекликаются с заключениями шестого и седьмого «Писем о провинции», сделанными тогда же на другом материале) – полемически заострены против утверждений либеральной печати о полном устранении крепостничества реформой 19 февраля 1861 г., а также отчасти и против суждений внутри демократического лагеря о неактуальности обличений этого векового зла.

В анализе Салтыкова еще не акцентируется, таким образом, принципиально новое, буржуазное существо пореформенного хищничества. Внимание сатирика-демократа и утопического социалиста приковано к общей эксплуататорской природе социальных отношений и морали в мире хищников и крепостников, к тому политическому и идеологическому крепостничеству, которое и после реформы продолжало составлять важнейшую сторону российского общественного строя, придавая хищничеству социальному гнету черты особенного паразитизма.

Собирательный образ «хищников» олицетворяет величайшую безнравственность эксплуататоров («пропал стыд»). Однако Салтыков снимает вопрос о личной вменяемости, переносит центр тяжести обличения на «неестественность», ненормальность самого «исторического положения», «всего общего строя современной жизни», в котором насилие, угнетение, попрание человека человеком – «триумфаторство» – приобрело права закона.

Финальные строки очерка отражают веру революционного просветителя в наступление «жизни правильной, нормальной», в победу «естественных» отношений между людьми – то есть социализма – и грядущую гибель хищничества.

Огарев в письме к Герцену от 15 февраля 1869 г., непосредственно после прочтения январской книжки «Отеч. записок», отметил: «...Замечательны статьи Щедрина, но «Признаки времени» мне все же лучше нравятся, чем «История одного города».[69] Таким образом, Огарев поставил «Хищников» выше первых шести глав «Истории...».

Стр. 134 ...не формализуемся... – не смущаемся, (от франц. *se formaliser*).

Стр. 135. Те, которые говорят: зачем напоминать о крепостном праве, которого уже нет? <...> – говорят это единственно по легкомыслию. – О суждениях либеральной и славянофильской печати относительно «полной» ликвидации крепостничества см. прим. к стр. 239. (Упреки Салтыкову в том, что «все внимание сатирика направлено на вчерашний день», высказывались и ранее, например в статье Писарева 1864 г. «Цветы невинного юмора». – Д. И. Писарев. Собр. соч. в 4-х томах, т. 2, М. 1955, стр. 357–358.)

Стр. 137...не резонировать... – не рассуждать (от франц. *raisonner*).

...применению теории *laissez faire, laissez passer* к такому щекотливому делу, как вольное обращение. – Сатирически используется известная формула французских экономистов XVIII в. – требование невмешательства государства в частную экономическую деятельность: «предоставление полной свободы действий».

Стр. 141...нераскаянных отдавали в пудретное заведение. – Пудрет (франц. *roudrette*) – удобрительный порошок. Сырьем для него служили нечистоты. Технология их переработки в «пудрет» была антисанитарна и крайне тяжела. По этой причине установилась практика направления помещичьих крестьян на работы в «пудретные заведения» преимущественно в порядке наказания.

...нераскаянных толпами приводили в губернские правления и рекрутские присутствия... – Строки эти восходят к личным воспоминаниям Салтыкова. В канун крестьянской реформы он был рязанским, а затем тверским вице-губернатором, и в его непосредственном ведении находились губернские правления этих городов.

Стр. 142. ...да величит душа твоя. – Приспособленная к цензуре ироническая перифраза из «Псалтири» (XXIX, 13: «Да величит душа моя господу»).

Стр. 143. Феденька Козелков. – См. прим. к стр. 46.

Стр. 144...даже сепаратистов! – В феврале 1868 г. был обнародован приговор по делу о «сибирских сепаратистах» – членах кружка демократической молодежи Г. Н.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Потанине, Н. М. Ядринцеве, С. С. Шашкове, Н. И. Наумове и др., которые летом 1865 г. были арестованы по обвинению в «злонамеренных действиях», направленных к «ниспровержению существующего в Сибири порядка управления и к отделению ее от империи», в общении с «изобличенными агитаторами Бакуниным, Щаповым, Чернышевским и др.». Потанин приговаривался к каторге, остальные – к ссылке (А. Шилов. Общество «Независимости Сибири» 1865 г. – «Вольная Сибирь», 1918, №№ 4, 6, 10; 17 февраля, 3 и 23 марта). Обвинения в «сепаратизме» выдвигались также «Моск. ведомостями» Каткова в 60-е годы, в частности, против деятелей украинского национально-освободительного движения – Н. И. Костомарова и др. (См., например, МВ, 1864, № 13.)

Стр. 146. Менажировать. – См. прим. к стр. 117.

Стр. 148. Fins de non recevoir – французский юридический термин, означающий отказ дать иску законный ход по мотивам, внешним по отношению к самому иску. Салтыков употребляет этот термин в значении: отказ от признания.

...Я не раз выражал мнение, что жизнь правильная, нормальная не терпит триумфов... – См., например, в наст. томе очерки «Легковесные», «Лит. положение», а также в XI, XII хрониках «Нашей общественной жизни» и статье «Совр. призраки» (т. 6 наст. изд.).

#### САМОДОВОЛЬНАЯ СОВРЕМЕННОСТЬ

Впервые – ОЗ, 1871, № 10, стр. 485–504 (вып. в свет 16 нояб.), с цифрой «I» после заглавия.

Рукописи и корректуры неизвестны.

В очерке, писавшемся, очевидно, в конце августа или в сентябре 1871 г., то есть после запрещения V главы «Итогов», использованы в переработанном виде отдельные фрагменты ее текста (ср. стр. 158 и 513, абзацы о «глумлениях», поспрашивании авторитетов).

Восемнадцатого октября 1871 г. Салтыков писал А. Н. Энгельгардту: «В Петербурге нового мало; жизнь как будто замолкла. Общество скучает, а вы сами знаете, на что может быть способно скучающее общество? На увлечение кафешантанами, цирками и т. п. Все это и выполняется здесь буквально, то есть без всякой окраски какими-нибудь действительными интересами. Рекомендую вам мою статью «Самодовольная современность», помещенную в октябрьской книжке «Отеч. записок», которая именно посвящена этой теме. Это только вступление; затем будет применение изложенного в первой статье к нашей современности, и статьи будут появляться от времени до времени».

В публикации ОЗ цифра «I» также указывала на авторское намерение создать цикл; это намерение не осуществилось, и Салтыков включил очерк в сборник «Признаки времени» в изд. 1882. При этом он переработал и значительно сократил текст очерка. Приводим два варианта ОЗ.

К стр. 153, в середине абзаца «Трагическая сторона...», после фразы «...вне ограниченности не может быть спасения»:

Подобно тому как в стране, переходящей из низшего фазиса общественности в высший, бывает спрос на людей талантливых, убежденных и энергических, которые обыкновенно и являются на призыв, – так точно и в стране, мечтающей о блаженстве неподвижности, бывает спрос на людей ограниченных, которые также не упускают откликнуться без замедления. А как скоро есть спрос, то, значит, есть нужда в таких людях, нужда же, в свою очередь, приносит за собой силу, авторитетность, почет.

К стр. 159, в середине абзаца «Что такое скука...», после слов «...нет прочного и продолжительного наслаждения...»:

...а следовательно, нет и действительного обеспечения от наплыва скуки. Все другие виды органической деятельности человека прежде всего отличаются сравнительно малосложностью своих составных стихий, которая исключает всякую мысль о

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) возможности бесконечно разнообразных комбинаций. А в этом-то разнообразии комбинаций и заключается то условие, которое обеспечивает прочность наслаждения. И ежели за всем тем некоторые из упомянутых выше низших видов деятельности все-таки достигают значительной степени разнообразия и утонченности, то этот факт свидетельствует не о богатом содержании самого явления, а только о вторжении в его сферу чуждого ему элемента умственности. Благодаря этому вторжению наслаждение даже невысокого достоинства получает некоторое освежение, но освежение только временное, потому что продолжительное смешение двух разнородных стихий никогда не остается безнаказанным и в конце концов приводит не к освежению, а к взаимному искажению.

Главная тема очерка – характеристика духовной жизни общества, находящегося в полосе реакции, анализ причин, условий и перспектив распространения «самодовольной ограниченности» в сфере идей. Это сатирическое понятие выделяет в охранительной идеологии разнообразных оттенков общую черту: стремление навязать «мировой жизни» идеалы «домашние», своекорыстные, групповые, «уездные», подменить ими высшие жизненные идеалы общечеловеческого значения.

Героями дня становятся «азбучные мудрецы», проповедники философии житейского здравого смысла. Их идеал – «тишина для тишины», то есть приостановка социального прогресса и развития общественной жизни. Однообразие и бедность воззрений, насаждаемых «самодовольной ограниченностью, сознавшей себя мудростью», приводит к «умственной одичалости» и скуке, общественному бессилию, распушенности нравов, падению искусства до «зрелищ, возбуждающих чувственность», засилью пошлости в литературе.

В либеральной публицистике 60-х годов неоднократно утверждалось, что причиной поражения «партии прогресса» и наступления реакции в России явилась будто бы чрезмерность требований и нетерпимость к либералам «строптивых нигилистов» – революционных демократов. Исследуя в «Самодов. современности» механизм смены «особенно энергических усилий общества, направленных к пересозданию самых существенных его основ», «господством ограниченных людей», писатель на опыте отечественной и западноевропейской истории показывает пагубность политических и идейных компромиссов для общественного прогресса.

«Шиш» – ничтожные результаты реформ 60-х годов в России – «есть лишь естественное последствие тех деморализующих компромиссов», которыми были подорваны «недавние усилия» русского общества. Салтыков отвергает теорию «фаталистического исхода всех реформаторских усилий вообще» и утверждает историческую необходимость и плодотворность бескомпромиссной борьбы за новые, «широкие основания» жизни, то есть за демократическое переустройство общества, в основе которого лежало бы «первое условие всякой общечеловечности», всякого дальнейшего прогресса – «возможность свободного обмена мыслей, возможность спора, возражений и даже заблуждений». Все симпатии писателя на стороне «убежденных, самоотверженных и страстных людей», которые одни могут быть подлинными руководителями общества. В этих словах «читатель-друг» улавливал ясный намек на Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Михайлова и других «властителей дум» радикально настроенных кругов 60-х годов.

В истории Западной Европы Салтыков обращается за примерами к французской Директории, к империям Наполеона I и Наполеона III, пришедшим на смену революциям 1789–1793 и 1848 гг., и в особенности к недавней «борьбе с небом» – к Парижской коммуне. (Сочувствие коммунарам выражалось им ранее в «Итогах», см. также комментарий к ним.) Осенью 1871 г., когда создавалась «Самодов. современность», Салтыков безуспешно пытался напечатать в «Отеч. записках» статью В. И. Танеева в защиту I Интернационала и Парижской коммуны «Международное общество рабочих, исторический рассказ по подлинным источникам...», основанную на документах Интернационала и работе К. Маркса «Гражданская война во Франции». [70] Характерна близость эзоповского выражения Салтыкова «борьба с небом» к оценке Парижской коммуны К. Марксом в письме к Л. Кугельману от 12 апреля 1871 г., где говорится о «славнейшем подвиге» «готовых штурмовать небо парижан». [71]

В докладе о 10-й книжке «Отеч. записок» за 1871 г. цензор Лебедев назвал очерк «предосудительным». [72] Совет Главного управления по делам печати 19 октября 1871 г. большинством голосов под председательством М. Р. Шидловского принял решение об объявлении «Отеч. запискам» предостережения за эту книжку. Вследствие протеста Некрасова, который вынужден был поддержать и официозный советник

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) редактора журнала Ф. М. Толстой, пропустивший «Самодов. современность», предостережение не было утверждено министром внутренних дел А. Е. Тимашевым. Но сам Толстой за допущенную «оплошность» поплатился отставкой. Главную роль во всей этой истории сыграло отношение к статье Шидловского, одного из самых ограниченных и тупых представителей царской администрации, бывшего тульского губернатора, послужившего Салтыкову моделью для гротескного образа градоначальника с «органчиком» в голове. В письме к Краевскому от 27 декабря Толстой писал, что именно «Самодов. современность» «была причиной (хотя тайной) озлобленного взрыва неукротимого арх[ангела] Михаила <Шидловского>». Нет сомнения, что Шидловский почувствовал себя лично задетым ядовитой сатирой на «ограниченность, сознавшую себя мудростью». [73]

Стр. 149. Крыле – крылья (церковнославянск.).

Стр. 151...«Крестецкий уезд счастлив <...> в нем существует банк», или «город Скопин счастлив <...> в нем имеется деятельный городской голова Рыков». – С конца 50-х, особенно в 60-е годы в России возникло множество банков, в том числе в уездных городах Крестцы Новгородской губ. и Скопин Рязанской губ.; основателем и руководителем последнего был городской голова И. Г. Рыков. В бытность рязанским вице-губернатором (1858–1860) Салтыков обнаружил злоупотребления в деятельности правления скопинского банка и предал его членов суду, но закулисами «хлопотами» Рыкова дело было прекращено сенатом. В 60–70-е годы скопинский банк «развивал свои операции до размеров, приводивших публику в изумление и восторг, пока не лопнул» («Салтыков в воспоминаниях», стр. 450–451). Насмешки Салтыкова над деятельностью этого банка вызваны восторгами либеральной прессы по поводу роста подобных предприятий и попытками представить распространение банковского кредита гарантией всеобщего преуспеяния.

Стр. 154...времена Директории и Первой империи... – Директория – высший орган власти во Франции в 1795–1799 гг., действовавший в интересах крупной буржуазии, был избран контрреволюционным Конвентом, уничтожившим в результате переворота 9 термидора (1794) власть якобинцев и казнившим их вождей: Робеспьера, Сен-Жюста и др. Директория расчистила дорогу диктатуре Наполеона Бонапарта, осуществлявшейся с 1799 г. в форме консульства, а с 1804 г. в форме империи (существовала до 1814 г.), – Первой империи, как стали ее называть позднее, после того как в 1852 г. возникла Вторая империя – Наполеона III.

Стр. 154–155...по дороге задалась мыслью, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, – и вышло нечто совсем неожиданное. – Речь идет о крестьянской реформе 1861 г., отменившей крепостное право, но сохранившей много его остатков. Реформа осуществлялась, исходя из руководящих указаний, сформулированных Александром II: «а) чтобы крестьянин немедленно почувствовал, что быт его улучшен; б) чтобы помещик немедленно успокоился, что интересы его ограждены...»

Стр. 157...«возлюбленная тишина, градов и весей отрада», о которой вздыхают поэты... – Перефразированное начало оды Ломоносова «На день восшествия на престол имп. Елисаветы Петровны 1847 года». У Ломоносова:

Царей и царств земных отрада,  
Возлюбленная тишина,  
Блаженство сел, градов отрада...  
...кодекс низменного свойства аксиом, который нельзя обойти под опасением  
ввергнуться в бездну и на дне ее встретить классическую гидру. – «Гидрой» революции, «бездной» анархии и всеобщего разрушения запугивали общество «пустопорожние мудрецы» реакции, связывая эти пугала с самостоятельностью мысли и слова и выдвигая в качестве противоядия куцые прописи житейской мудрости, верноподданнического единомыслия. Такие мотивы, в частности, превалировали в оценках событий Парижской коммуны в русской официозной прессе (см. комментарий к «Итогам»).

Стр. 158. Оставьте мечтательность и займитесь делом, то есть вытаскиванием бирюлек <...> не заглядывайте вперед... – Такие призывы и нападки на «юношей, уносящихся в сферы заоблачные», наполняли консервативную и либеральную публицистику на рубеже 70-х годов (см., например, анонимную рецензию на «Исторические письма» П. Л. Миртова (Лаврова). – РВ, 1871, № 2, стр. 834; статью Суворина «В гостях и дома». – ВЕ, 1870, № 9, стр. 308–309, подпись: А. С–н). О вытаскивании бирюлек см. прим. к стр. 403.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
СИЛА СОБЫТИЙ

Впервые – ОЗ, 1870, № 10, стр. 447–470 (вып. в свет 16 окт.).

Рукописи и корректуры неизвестны.

Двадцать пятого ноября 1870 г., отвечая на вопрос А. М. Жемчужникова об авторе очерка, Салтыков писал: «Сила событий» действительно принадлежит мне; я не подписался, чтоб не давать поводов к толкованию».

Работа над очерком протекала, очевидно, в сентябре: в авторском примечании (см. стр. 162) упоминается «развязка французско-прусской войны», то есть поражение армии Наполеона III под Седаном 21 августа / 2 сентября и падение империи во Франции 23 августа / 4 сентября. Кроме того, в «Силе событий» Салтыков полемизирует со статьей Суворина «В гостях и дома» в сентябрьской книжке «Вестн. Европы», номера которого обычно выходили первого числа каждого месяца.

В изд. 1882 очерк был перепечатан с незначительными поправками и некоторыми сокращениями. Приводим два варианта ОЗ.

К стр. 171, в середине абзаца – «Исполнитель глупый...», после слов «являлась бы неотразимой»:

...но такого положения еще не существовало, и когда оно наступит, можно было только догадываться, а не утверждать.

К стр. 174, после абзаца «Зигмарингенцам и гессенцам...»:

Но нет, они даже и этого не скажут, потому что им, в сущности, нет никакого дела до Еврипида. Что такое Еврипид? какое имеет он отношение к общему ходу жизни человечества? Что может принести его чтение, кроме удовлетворения личных вкусов того или другого индивидуума? Помилуйте! да они сами с величайшею охотой готовы восторгаться Еврипидом в часы, свободные от обязанностей паразитства...

Итак, сидите смиренно, сражайтесь храбро, уважайте начальников, а там читайте себе Эсхилов, Еврипидов, Аристофанов – хоть Поль де Кока!

«Сила событий» – одно из главных выступлений Салтыкова, посвященных разработке темы патриотизма. Раскрытию содержания этого понятия и выяснению отношения к идее патриотизма разных социальных и политических групп много содействовали, по мнению Салтыкова, «откровения настоящей войны», то есть франко-прусской войны. В свете ее драматических событий, а также отношения к ним русской печати, и ведется в статье, с одной стороны, критика всех видов и форм лжепатриотизма, а с другой – пропаганда демократического и социалистического понимания патриотизма как «идеи общего блага» (подробнее о понимании Салтыковым патриотизма см.: С. Макашин. Великий патриот. – «Правда», 1939, № 128, 10 мая).

Реакционные и либеральные публицисты усматривали причины поражения Франции в ее бурной политической истории, не обеспечившей стране устойчивого «порядка», обвиняли французский народ в отсутствии патриотизма и превозносили как образец государственности, любви к родине и вообще «цивилизации» Германию, объединенную под эгидой Пруссии. Так, П. К. Щербальский в статье «Глава из современной истории» писал, что слабость Франции явилась «наследием революционной эпохи». [74] Торжеством «истинной цивилизации» над «цивилизацией канкана» объявлял победу Германии некий «земский деятель К. А. В.» на страницах «СПб. ведомостей». [75]

Особенно усердствовал в преклонении перед прусским «постоянным, прочным укладом жизни» Суворин. Его статья «В гостях и дома» [76] наполнена призывами «скромно работать и идти по пятам» соседей.

Свое понимание патриотизма и трактовку причин краха империи Наполеона III Салтыков развертывает в полемике с этими публицистами, в первую очередь с Сувориным (см. ниже, в постраничн. примеч.). Ответственность за поражение Франции он целиком возлагает на ее правящую бонапартистскую группу – воплощенное «бесстыжество», и вместе с тем решительно отвергает в качестве образца прусское государство, сатирически дискредитирует его «просвещение», его «порядок». Все свои симпатии писатель отдает французскому народу, противопоставляя его как самодовольно-ограниченному победителю, так и власти «паразитов».

Образное салтыковское понятие «паразиты» в настоящем очерке приобрело наиболее обобщенный смысл. Им охватываются и любые виды хищничества, ослабляющие отечество перед лицом внешнего врага, и главное направление деятельности правящих слоев и государственного аппарата – «насильственное обречение массы в жертву невежественности и обеднению». В этом смысле Салтыков не видит разницы между общественным строем европейских государств. Развал наполеоновской империи является для писателя историческим аналогом будущих судеб подвластной отечественным «паразитам» России. К этой аналогии сатирик постоянно возвращает читателя разными эзоповскими приемами: употреблением русских географических названий в рассуждениях о Франции и Германии, частными сравнениями тамошних порядков с русскими и т. д.

«Патриотизму», охраняющему интересы правящих классов, «патриотизму», насаждаемому насильем «дисциплины», бессознательному в своей апатии или, напротив того, в своем стихийном фанатизме, «патриотизму» угнетенных и неразвитых масс Салтыков противопоставляет сознательный и самоотверженный патриотизм «действительно развитого человека». Такой патриотизм демократичен и чужд национальной исключительности и шовинизма; это «школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве».

Проявления сознательного патриотизма, несущего миру идеи свободы, писатель усматривает в «действительной политической и социальной жизни» Парижа, в славной истории французского народа, в борющихся демократических силах нынешней Франции, воспрянувшей в момент национального несчастья и готовой пригвоздить к позорному столбу его виновников. С судьбой передовой Франции – Франции революций, «светоча» идей утопического социализма – Салтыков связывает судьбу всех передовых идеалов человечества, судьбу международного освободительного движения и европейского прогресса, что было характерно для русской революционной демократии. [77] Писатель формулирует первейшее условие ее победы над «паразитами»: «привить Париж к остальному национальному организму». Заключительные слова очерка о «громких результатах», которыми чреват «совершающиеся события», звучат пророчеством грядущей Парижской коммуны.

Знаменательна весьма близкая перекличка этих прогнозов и оценок Салтыкова в канун Парижской коммуны с мыслями Маркса из письма к Л. Кугельману от 12 апреля 1871 г., в частности, с его противопоставлением героев-парижан «холопам германо-прусской Священной Римской империи». [78]

В «Силе событий» Салтыков доказывает, что деспотия и политика административного произвола не обеспечивают не только «внешней безопасности» любого государства, но и вождельной внутренней «тишины». Писатель утверждает единственную возможность спасения, возрождения родины – самоотверженную борьбу за материальное и духовное возрождение народа.

С «превосходной статьей» Салтыкова «Сила событий» солидаризировалась демократическая «Искра» (1871, № 2. – «Вестнику Европы» первое предостережение).

Стр. 163...вместо ружей шаспо простые ударные, или кремневые, или <...> вместо кремня <...> чурка... – Прусская армия была вооружена игольчатым ружьем Дрейзе, что предопределило в значительной степени ее победу над Австрией в войне 1866 г. В том же году французский рабочий Шаспо усовершенствовал игольчатое ружье, но перевооружению французской армии мешали злоупотребления и коррупция генералитета и правящей верхушки. Салтыков намекает, что армия Франции перед войной с Германией была вооружена так же плохо, как армия России перед Крымской войной, когда в результате афер поставщиков, больше всех заявлявших о своем «патриотизме», войска подчас получали кремневые ружья с чурками вместо кремней (см. очерк «Тяжелый год» из «Благонамеренных речей» в т. 11 наст. изд.).

...Могут ли именоваться патриотами проходимцы вроде папских швейцарцев, или туркосов, или гулящих немцев... – В Римской области до 1870 г. светская власть принадлежала папе; ее охраняла наемная армия, состоявшая большей частью из швейцарцев. «Туркосы» – алжирские наемники во французской армии; «гулящие немцы» – обилие немецкого и остзейского дворянства в рядах высшего командного состава царской армии. Обличение верхушки «русских немцев», сравнение их с швейцарцами-наемниками было также одной из излюбленных тем Герцена в «Колоколе».

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Стр. 164...самый нахальный народ в мире, до того нахальный, что считает свои  
давние заслуги перед человечеством настолько существующими, что перед ними  
бледнеют даже те язвы, которые наложило двадцатилетнее недоразумение... – Эпитеты  
«самый нахальный», «до того нахальный» передают здесь отношение к французскому  
народу противников демократической, революционной и социалистической Франции.  
«Двадцатилетнее недоразумение» – 1851–1870, с государственного переворота  
Луи-Наполеона Бонапарта в 1851 г., провозглашения его в 1852 г. императором  
Наполеоном III, и до краха Второй империи.

...Бедная Франция! <...> Тебя <...> каждый мекленбург-стрелицкий обыватель <...>  
называет собранием «думкопфов»! (глупцов – нем. Dummkopf). – Отсюда в разработку  
темы вводится материал статьи Суворина «В гостях и дома» (ВЕ, 1870, № 9) и  
сатирическая полемика с этим материалом и позицией автора. В статье Суворина  
приводились слова некоего патриота-немца: «Мы готовы <...> и много побьем  
французских думкопфов!» (стр. 314). Издаваясь над карликовыми обывательскими  
«патриотизмами», Салтыков упоминает жителей мелких немецких княжеств и  
герцогств: Мекленбург-Стрелиц, Гогенцоллерн-Зигмаринген, Гессен, Липпе-Детмольд,  
Шаумбург, Лихтенштейн, Саксен-Мейнинген, Нассау и др. В 1866 г. часть их  
захватила Пруссия, другие вошли под ее эгидой в Северо-Германский союз, а в 1871  
г. в Германскую империю.

...в 1848 году ты дала ему позыв к осуществлению идеи о «великом отечестве». – То  
есть революция 1848 г. во Франции явилась толчком к развертыванию движения за  
национальное объединение Германии.

Стр. 164–165. Ты виновата тем, что не сумела создать «порядка»; тем, что твои  
почты и железнодорожные поезда лишены правильности отчетливого механизма; тем,  
что ты не выдумала ретур-билетов; тем, что ты даже по части почтовых марок  
оказалась недостаточно твердою. – В статье «В гостях и дома» Суворин восторгался  
немецким «порядком», честностью и исполнительностью чиновников, «недосягаемым  
совершенством» почт и железных дорог, удобством ретур-билетов (билетов в оба  
конца), почтовыми марками Германии (там же, стр. 298–299, 303–305, 311 и др.).

Стр. 165. Покуда ты выдумывала свободу <...>, мекленбуржец <...> предпочитал  
«некоторую узость взглядов ширине их» <...>. Он уверен <...>, что каждый чиновник  
<...> в совершенстве знает географию и не зашлет в Кронштадт письма, адресованного  
в Капштадт... – Новая насмешка над Сувориным в связи с его выпадами против  
революционно-социалистической пропаганды Чернышевского и его соратников. В  
вышеупомянутой статье Суворин писал: «...Для нашего общества немало принесли вреда  
те, которые весьма даровито смеялись над парламентаризмом и успели опозлить его  
в глазах даже просвещенного меньшинства. <...> Все более юное унеслось в сферы  
заоблачные и стало бредить о вещах неосуществимых <...>. Лично я предпочел бы  
некоторую узость взглядов ширине их...» Там же, в качестве примера незнания  
географии русскими почтовыми чиновниками, Суворин приводил случай засылки одним  
из них письма в Кронштадт вместо Капштадта – ныне Кейптаун (ВЕ, 1870, № 9, стр.  
308–309, 311).

«Wacht am Rhein» – «Стража на Рейне», шовинистическая немецкая песня.

...изнемогайте без <...> писем от родных, как изнемогают обыватели какого-нибудь  
Боброва... – В статье «В гостях и дома» Суворин жаловался, что отправил из  
Пирмонта (город в Северной Германии, близ Ганновера) письмо к родственникам в  
гор. Бобров Воронежской губ., но не получил ответа: бобровский «почтовый  
чиновник не слышал о Пирмонте» (ВЕ 1870, № 9, стр. 310).

Стр. 166. ...немецкие публицисты <...> упоминают о галльском петухе... – О «галльском  
петухе» – аллегории Франции, – «вызывающем нас на бой», писал, например, Д.-Ф.  
Штраус в открытых письмах к Э. Ренану в газ. «Allgemeine Zeitung» в 1870 г.

Стр. 168. «Посмотрите, – говорит мейнингенец, – <...> десятки лет волнуются, <...> а  
следующие десятки лет выносят постыднейшее иго из всех иг!» – «Allgemeine  
Zeitung», например, в редакционной статье «Die französische Kriegserklärung und  
Europa» («Объявление войны Францией и Европа») писала: «После того как <этот  
народ> свергал династию за династией, конституцию за конституцией, <он> впал в  
порабощение к пришлому императору-солдату...» (№ 207, 26 июля, стр. 3301).  
Немецкой вторила русская либеральная печать (см., например, анонимное «Письмо в  
редакцию» в № 233 СПб. вед., 25 августа 1870 г.).



Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
...Сорти-де-баль – вечерняя женская накидка; здесь: бытовое название  
«накидок-плащей» французских полицейских (франц. *sortie de bal*).

Стр. 169. ...административных ссылок в Ламбессу и Кайенну... – В Ламбессу (местечко в Алжире, в то время французской колонии) и Кайенну (город во французской Гвиане в Южной Америке), отличавшиеся изнурительным тропическим климатом, Наполеон III ссылал политических противников.

Стр. 171...издали может показаться, что в массах таится неистощимый источник всевозможных дисциплин. – В ОЗ эти весьма важные строки имели более развернутую редакцию, передающую полнее отдельные звенья и нюансы в горьких, но отнюдь не безнадежных размышлениях Салтыкова о возможностях пробуждения в массах гражданского самосознания:

Одна из таких истинно замечательных в истории человечества минут наступила теперь. – Речь идет о трагической для Франции «развязке» франко-прусской войны (катастрофа при Седане), послужившей толчком к провозглашению республики во Франции 4 сентября 1870 г., а впоследствии и к событиям Парижской коммуны. Такого рода глубокие общенациональные кризисы, по мысли Салтыкова, могут резко поднимать уровень политического сознания массы общества и народа.

...восторги публицистов, повествующие о немцах-пастухах, читающих в подлиннике Еврипида, и о немцах-офицерах, пишущих с театра войны родным грамотки на санскритском языке... – Суворин в упомянутой выше статье рассказывал о встрече с немецким пастухом-солдатом, читавшим книгу «на греческом диалекте» и оказавшимся доцентом одного из прусских университетов (цит. статья, стр. 315). Интеллигентность прусских вояк превозносил Боборыкин в своих корреспонденциях с Рейна (СПб. вед., 1870, № 217, 9 августа, стр. 2).

Стр. 172. «Как до звезды небесной далеко» – из стихотворения «Утешение в слезах» Жуковского.

Бунтуют поляки, а его ушлют задавать страх уездному городу Соликамску. – Намек на использование кризисных ситуаций на «окраинах» империи для устрашения сил внутреннего сопротивления. В период польского восстания 1863 г. большие войсковые соединения были сосредоточены в Поволжье и на Урале, в связи с ожидавшимися крестьянскими волнениями.

...Бендеры <...>, Свенцяны <...> Таммерфорс, Лодзь, Ахалцых, Ахалкалаки, Вольмар <...> вот сколько неизвестных величин он обязан любить. – Названные города находились на угнетенных национальных «окраинах» Российской империи – в Бессарабии, Литве, Финляндии, Польше, Закавказье, Латвии.

Стр. 173. Бывают минуты, когда борьба против ложного общественного настроения считается признаком высшего и безукоризнейшего патриотизма... – В частности, намек на борьбу русской революционной демократии с шовинистическим угаром, раздутым официальной пропагандой в связи с польским восстанием 1863 г.

Стр. 174. Представьте себе такое положение: Франция обратилась в Испанию, Париж – в Мадрид <...> живите без наук и литературы, как живут жители уездного города Пудожа! – Страна абсолютистско-католической реакции и застоя Испания и ее столица Мадрид – здесь – эзоповское обозначение царской России. На смысл иносказания намекает упоминание русского города Пудожа.

Стр. 175. Расходы взимания – расходы по содержанию огромной администрации и полиции, обеспечивавших регулярность поступления или принудительного взыскания налогов и всевозможных сборов с населения.

Стр. 178. Административная централизация – система управления, при которой местное управление по всем вопросам подчинено центральным учреждениям и действует по указаниям последних. Салтыков был противником административной централизации как системы, сковывающей развитие общественно-политического самосознания и активности масс (см. также в наст. томе седьмое из «Писем о провинции»).

Стр. 180...применять его только, так сказать, в табельные дни. – То есть в исключительных случаях: табельные дни – дни церковных праздников и «царские дни», помеченные в календаре неприсутственными, нерабочими.

...теоретиков молчания <...> только свидетельство истории (и то в таких примерах, как Иоанна д'Арк, но отнюдь не в таких, как Вильгельм Телль) заставляет <...> признать <...> небесполезные свойства <патриотизма>. – Салтыков имеет в виду попытки проводников авторитарной идеологии (теоретиков молчания) в Европе и России вычеркнуть из мировой истории страницы, отмеченные самостоятельным историческим творчеством социальных низов, или фальсифицировать их. В этом смысл противопоставления Салтыковым имен Жанны д'Арк и Вильгельма Телля. «Реабилитация» французской аристократией и духовенством Жанны д'Арк (1456), ранее объявленной еретичкой, колдуньей и сожженной на костре, превратила ее из народной героини в мученицу за веру и короля. Имя же Вильгельма Телля как вожака восставших швейцарцев (XIV в.) было нежелательным для царской власти и изымалось ею из публичного обращения (см. прим. к стр. 253 в т. I наст. изд.).

Стр. 181...паразит из смиренных <...> охотнее назовет себя курицыным сыном, нежели признает свою национальность. – Такой эпизод см. в очерке «Русские «гулящие люди» за границей».

Стр. 182...в руках наезжих людей. – Став императором Франции, Наполеон III вернул из эмиграции и поставил у власти ряд своих друзей по изгнанию, в котором он находился до 1848 г., ведя жизнь политического авантюриста.

Сегодня сжигают живьем человека и чуть-чуть не вздергивают на виселицу представителя страны за то, что он высказывает свободное мнение, завтра – уходят с арены военных действий толпы гард-мобилей... – Французская печать сообщала о «сожжении крестьянами в Дордони землевладельца за то, что он не хотел крикнуть «Vive l'Empereur!»», Об этом рассказывалось также в корреспонденции Боборыкина (СПб. вед., 1870, № 228, 20 августа, стр. 2) и в «Иностр. обозрении» «Вестн. Европы» (№ 9, стр. 395). Там также описывался случай в Сомском департаменте: «Когда представитель его в Законодательном корпусе, граф д'Эстурмель, объявил крестьянам, что он считает нужным низложить императора, толпа <...> бросилась на него и хотела его повесить...» Гард-мобили – солдаты «подвижной гвардии» (франц. garde mobile), то есть гражданской милиции, которая была создана в 1848 г. из буржуа и люмпенов, использовалась для подавления революции, затем была распущена Наполеоном III и вновь учреждена в 1868 г. в качестве армейского резерва. К началу франко-прусской войны ее не успели обучить и вооружить, и она оказалась небоеспособной.

Массы так мало чувствительны для разложения, что издали может казаться, что в них таится неистощимый источник всевозможных дисциплин. Опровержение такого мнения почти всегда является внезапно, в форме откровения. (О значении термина «разложение» см. в прим. к стр. 473 наст. тома.)

Примечания

1  
дорогой мой.

2  
Обещайте им и то и се.

3  
От согласия малые дела растут.

4  
очаровательно!

5  
неподражаемо!

6  
моя милая!

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru  
7  
потусторонними идеями!

8  
золотой молодежи.

9  
только и всего!

10  
дикарей.

11  
Милый мой! кто же говорит об этом!

12  
Вы, сударь, русский?

13  
Не хотите ли шампанского?

14  
здесь бьется гессен-филиппшталь-баркфельдское сердце.

15  
всегда столь либеральная, столь великодушная.

16  
изыди, сатана!

17  
уменье жить.

18  
подвиги.

19  
Едва заговорят о солнце, уж видны его лучи.

20  
мы поговорим об этом позже, мой милый!

21  
Не правда ли, это приводит многое в порядок?

22  
Каждому свое.

23  
«Париж в декабре 1851».

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
24  
пустых голов.

25  
младшие дети цивилизации.

26  
Да здравствует Генрих IV!

27  
министр юстиции.

28  
танец пятерых.

29  
Писано в 1870 году, вслед за развязкою французско-прусской войны (Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

30  
Да здравствует Франция!

31  
тем самым.

32  
патриотизм своей колокольни.

33  
Из письма Салтыкова к Некрасову от 20 декабря 1867 г.

34  
ОЗ, 1869, № 12, стр. 260. См. т. 9 наст. изд. Это пояснение потребовалось в связи с тем, что в статье В. П. Безобразова «Наши охранители и наши прогрессисты» самому названию цикла Салтыкова был придан смысл «предзнаменательный и предсказательный». Безобразов пытался доказать, что «подобно охранителям <...> «новые люди» повествуют о знамениях, «признаках времени», в которых видят как бы предвестников еще жесточайших бедствий, угрожающих со дня на день нашему отечеству» (РВ, 1869, № 10, стр. 425).

35  
Салтыков, видимо, надеялся, что нейтральный, нравоописательный подзаголовок очерка менее привлечет внимание цензуры, чем уже вызвавшая ее настороженность политико-публицистическая рубрика.

36  
О цензурных исправлениях в «Лит. положении» см. на стр. 558–559. Цензурное вмешательство привело к ослаблению политической остроты очерка «Легковесные» по сравнению с первоначальной редакцией (в наст. томе она помещена в отд. «Из других редакций», так как часть ее текста Салтыков использовал затем в других произведениях).

37  
Второй из них был задуман как введение в новый (неосуществленный) цикл – о «самодовольной современности», который непосредственно продолжал бы «Признаки

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru) времени».

38

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 33.

39

См. в т. 9 наст. изд. его рецензию «В сумерках. Сатиры и песни Д. Д. Минаева» (1868).

40

В И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 32, стр. 344.

41

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 179.

42

См об этом также: Е. И. Покусаев. После крушения революционной ситуации. – Сб. «Н. Г. Чернышевский. Статьи, исследования и материалы», т. 3, Саратов, 1962, стр. 151–180.

43

См. рецензию Салтыкова «Смешные песни» Александра Иволгина (Чижик)». – ОЗ, 1868, № 9; т. 9 наст. изд.

44

См. об этом подробнее: А. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, М. – Л. 1959, стр. 69–70.

45

Цит. по изд.: М. В. Теплинский. «Отечественные записки» (1868–1884). История журнала. Литературная критика, Южно Сахалинск, 1966, стр. 77.

46

«Наши охранители и наши прогрессисты». – РВ, 1869, № 10, стр. 482–483. (Салтыков отвечал на это выступление в статье «Человек, который смеется» – т. 9 наст. изд., в двенадцатом «Письме о провинции» и «Итогах» – наст. том, и в других произведениях.)

47

Критик «Бирж. ведомостей» Ч. П. (А. П. Чебышев-Дмитриев), например, рассматривал брюзжание рассказчика в «Завещании моим детям» против «нигилистов» как выражение позиции сатирика (1873, № 53, 28 февраля, стр. 1). См. также ниже отзывы о «Новом Нарциссе...» в комментариях к нему.

48

ВЕ, 1869, № 4, стр. 984.

49

«Искра», 1873, № 12, 14 марта, стр. 1.

50

«Вопросы литературы», 1960, № 2, стр. 168.

51

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)  
Н. А. Некрасов. Полн. собр. соч. и писем, т. XI, М. 1952, стр. 61–62.

52

«Государственные преступления в России в XIX веке», т. 1, СПб. 1906, стр. 127.

53

Реакционную кастово-политическую подоплеку этих выступлений разоблачал в те же дни Герцен в статьях «Прививка конституционной оспы», «Поправки и дополнения» (К, 1865, лл. 195, 196, 1 марта и 1 апреля. – Герцен, т. XVIII, стр. 317–324, 327–331).

54

См. об этом: Б. Папковский и С. Макашин. Некрасов и литературная политика самодержавия. – ЛН, т. 49/50, стр. 441; см. также письмо Салтыкова к Некрасову от 26 ноября 1867 г.

55

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 35.

56

См. также: М. Загуляев. Г-н Салтыков и русское земство. – «Всемирн. труд», 1868, № 2, стр. 131–136. Ср. письмо Достоевского к А. Майкову от 1 марта 1868 г. – Ф. М. Достоевский. Письма, т. II, М. – Л. 1930, стр. 79.

57

См., например, в ч. 9 «Сочинений Д. И. Писарева» (СПб. 1868, вышла после его смерти) примечание издателя Ф. Ф. Павленкова на стр. 200; рецензию Суворина на изд. 1869. – ВЕ, 1869, № 4; анонимную статью «Г-н Щедрин, побиваемый собственными друзьями». – Русск. мир», 1871. № 109, 22 декабря; «Обзор журналов» в «Петерб. листке», 1873, № 76, 19 апреля, принадлежащий М. М. Стопановскому.

58

СПб. вед., 1868, № 111, 25 апреля.

59

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 43, стр. 238–239.

60

Из рескрипта Александра II на имя председателя комитета министров кн. П. П. Гагарина от 13 мая 1866 г. (после покушения Каракозова 4 апреля). – «Северн. почта», 1866, № 102, 14 мая.

61

О. Миллер. Щедрин. Публичные лекции, СПб. 1874, стр. 177.

62

ЛН, т. 51/52, стр. 593–594.

63

«Русск. богатство», 1918, № 1–3, стр. 127–128.

64

М. В. Теплинский. «Отечественные записки» (1868–1884). История журнала. Литературная критика, Южно-Сахалинск, 1966, стр. 75–76.

65

Пасхальная неделя приходилась в 1868 г. на 31 марта – 6 апреля.

66

Салтыков здесь почти постоянно ведет речь о «неустойчивости», раболепии перед силой «цивилизованной толпы», но отдельные ассоциации и сопоставления с «нецивилизованной толпой» приоткрывают и более общий фон раздумий писателя – о выявившейся в ходе разгрома революционных сил политической незрелости и инертности русского крестьянства (см. подробнее в шестом из «Писем о провинции» и в комментарии к нему).

67

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 261.

68

А. В. Никитенко. Дневник в трех томах, т. 3, л. 1956, стр. 336.

69

ЛН, т. 39/40, стр. 518.

70

См. воспоминания Танеева в «Салтыков в воспоминаниях», стр. 568, и примечания С. А. Макашина – там же, стр. 556, 812.

71

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 33, стр. 172.

72

В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М. – Л. 1926, стр. 39–40.

73

См... Б. Папковский и С. Макашин. Некрасов и литературная политика самодержавия, – ЛН, т. 49/50, стр. 486. См. также: М. В. Теплинский. «Отечественные записки» (1868–1884). История журнала. Литературная критика, Южно-Сахалинск, 1966, стр. 46–50.

74

РВ, 1870, № 9, стр. 148.

75

№ 230, 22 августа 1870 г., стр. 1. Ср. там же, № 217, 9 августа, «Недельные очерки и картинки» А. Суворина (подпись: Незнакомец).

76

ВЕ, 1870, № 9, стр. 296–318 (подпись: А. С. – н).

77

В той же книжке ОЗ, где была напечатана «Сила событий», Елисеев в «Беседах по поводу прусско-французской войны» писал: «Стоит только угаснуть пламеннику идей, горящему во Франции и освещающему Европу, тогда и плошки этих идей в других странах <...> или совсем погаснут, или будут мерцать очень слабо, и в Европе вспомнятся времена блаженной памяти Меттерниха» (отд. II, стр. 303).

78 К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2, т. 33, стр. 172.

Признаки времени. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин [saltykov-shchedrin.ru](http://saltykov-shchedrin.ru)

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!